текст

Ёран Тунстрём



Рождественская оратория

Роман

текст
Ёран Тунстрём РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ

Рождественская оратория
Ёран Тунстрём

Аннотация
Ёран Тунстрём
Рождественская оратория
- I
- II
- III
- IV
- Сиднер Нурденссон. «О ласках»
- VI
- VII

Аннотация

Впервые в России издается получивший всемирное признание роман Ёрана Тунстрёма — самого яркого писателя Швеции последних десятилетий. В книге рассказывается о судьбе нескольких поколений шведской семьи. Лейтмотивом романа служит мечта героини — исполнить Рождественскую оратторию Баха.

Ёран Тунстрём

Ёран Тунстрём (1937–2000) — самая яркая фигура в шведской литературе последних десятилетий. Его знаменитый роман «Рождественская оратория», переведенный на множество языков и получивший всемирное признание, теперь издается и в России.

> Это великолепный роман со множеством удивительных и ярких событий. «Рождественская оратория» Тунстрёма, как и Рождественская оратория Баха, поет хвалу вечному.
>
> ***«Вашингтон таймс»***

Рождественская оратория

I

Из гостиницы я первым делом позвонил домой, сообщил, что добрался до места. В детском голосе сына появились трещинки, и в них сквозят басовые ноты.

— У тебя в номере есть телевизор, папа?

— Нет, — сказал я, глядя на снег, тающий вокруг ботинок, — да и недосуг мне сидеть перед телевизором.

— А кино там есть? — Провинциальный городок не внушает ему доверия.

— Раньше было, ну, в моем детстве.

— И охота тебе ехать в такую дыру.

— Это мой долг, — сказал я и пообещал заглянуть на Главную улицу. Он обожает киношную рекламу. «Если этот фильм не напугает тебя до смерти, значит, ты уже мертвец». «In space no one will hear you scream. And if someone could it would even be worse»[1]. Сегодня вечером шел «Туман»[2],

---

[1] Примечания: 1

«В космическом пространстве никто не услышит, как ты кричишь. А если и услышит, будет только хуже» *(англ.). (Здесь и далее примеч. переводчика).*

[2] Примечания: 2

Фильм ужасов по роману Стивена Кинга.

и реклама провозглашала: «What you can't see won't hurt you. It will kill you»[3].

У магазина Эстерберга «Часы и оптика» я задержался, и надолго: на рождественской мишуре и синтетическом снегу, среди гномиков, живо напомнивших мне детство, красовалось несметное количество часов — будильники, наручные, изящные стенные часы с маятником, даже одни старомодные ходики, часы карманные и крохотные дамские, на которых ничего не разберешь. Я насчитал двадцать семь разных хронометров, и все они исправно шли.

Только вот все показывали разное время. Четверть третьего, и двадцать минут пятого, и ровно полночь или полдень. Все неутомимо тикали, в своем собственном времени, не замечая друг друга. Шли не фальшиво и не правильно, не спешили и не отставали. Все были обращены внутрь себя, внутрь собственного механизма.

И вне витрины было так же. В густой пелене снегопада люди скользили, натыкались друг на друга, толком не совпадая во времени. Когда один пробуждался от кошмаров, другой замирал в воспоминании о летнем дне.

---

[3] Примечания: 3

«Незримое тебе не навредит. Оно тебя убьет» *(англ.).*

Снег заставил меня зажмурить глаза, плотнее запахнуть лацканы пальто, и вот, устроив за пазухой тихую гавань, я, погруженный в путаный лабиринт моего времени, зашагал дальше по этой улице, где когда-то столь многому нарек имена. Меж тем как мои ноги отмеряли взрослые шаги, в какой-то части моего существа я был трехлетним ребенком. Ладонь, сжимающая портфель, одновременно цеплялась за руку матери, показывала на фунтик с мороженым, вырывалась на свободу из битвы в Греции, следила за прелестными пассажами партитуры. В каждом некогда совершённом поступке таились тысячи иных возможностей, тонкими ручейками текли навстречу собственным будущим. Они все еще там, их не счесть в дебрях сознания, этих призраков, что преследуют нас и сами подвергаются преследованиям. Там нет покоя, нет тишины.

Я пересек Рыночную площадь, прошел по мосту (вода в узкой протоке все та же, до ужаса черная — сколько же снов о Падении разыгрывалось именно здесь!), миновал сумрачный дом, где когда-то жил, оскальзываясь, поднялся в гору — к церкви. Лиственницы и тисы стояли белые, торжественные, готовые поведать свои сказки. В церкви уже горел свет, но я остановился в снегу,

глядя на огни городка, а видел среди деревьев себя самого: я бегу на лыжах и вдруг падаю, и снег забивается меж носками и кальсонами. Вон там внизу — балкон. А там — гостиница. Столько лет прошло, и все-таки: то же самое мгновение, та же самая жизнь. Та же неотвратимость.

Созидательная смерть…

* * *

Когда я повернулся, намереваясь пройти к могилам, за моей спиной стоял Эгиль Эспинг с деревянной лопатой в руках, смотрел на меня. Был он в черном пальто, в темных брюках. Голова не покрыта, сальные волосы зачесаны назад, по давней привычке.

— Никак ты, Виктор? Вернулся, значит. Я читал в газете.

— Угу.

— Н-да, в люди вышел. Я и по телевизору тебя как-то раз видал. Жизнь, она с людьми по-разному обходится. Много лет прошло с тех пор, как мы вместе работали.

Я сглотнул, чувствуя себя предателем.

— Да лет тридцать, не меньше.

— Тридцать один, — сказал Эгиль Эспинг. — Ты уволился в августе. Я ведь ненароком пришел

сюда аккурат в одно время с тобой. Но для меня все тем и кончилось. Кофейку хочешь?

— Да не знаю.

— Время-то у тебя пока есть. Муторная штука — управлять этакой прорвой народу, а? Хотя это небось в роду. Кажись, папаша твой все и затеял? Он ведь был твой папаша, верно?

— Угу.

— Надо маленько снег разгрести. Через двадцать минут аккурат и начнете. Незачем людям полы в церкви гваздать.

Лето в тот год выдалось хмурое, мы присматривали за могилами, подстригали кусты, расчищали и рыхлили граблями дорожки и, сидя в сарайчике, от которого теперь и следа не осталось, судачили о покойниках, несякнущим потоком прибывавших в морг. Это было последнее лето перед нашим отъездом. Эспинг провел меня к новому приходскому дому и отворил дверь подвала.

— В старом-то сарайчике получше было, как считаешь? Тут окошки эвон как высоко, хошь не хошь на стул полезай — иначе наружу не выглянешь. Правда, и смотреть не на что. Народ завсегда один и тот же. Понятно, кроме случаев, когда ты приезжаешь. Видал, какая у нас теперь

шикарная кофеварка, завсегда под парами.

Эгиль Эспинг сел на стул, расстегнул пальто, облокотился о колено, закурил сигарету. Глаза у него были усталые, нервные пальцы то и дело стряхивали пепел. Он долго размышлял о чем-то важном.

— Слышь… каково это — быть на виду?

— В каком смысле?

— Ну когда по телевизору сымают. Заправляешься маленько, а? Стопаря пропускаешь?

— Ты имеешь в виду, выпиваю ли… Нет.

— Даже для храбрости ни грамма?! — Он долго мозговал по этому поводу, потом пожал плечами, с облегчением. — Н-да, другому нипочем бы не выбиться на вид. Хотя дело-то наверняка муторное. Камеры кругом, и вообще. Небось и голышом тоже показывают, да?

— Дело муторное, это верно. Ну а у вас тут что творится?

— Работяге навроде меня рассказать нечего, сам понимаешь. Уйма народу, поди, глазеет? Ну когда голышом-то кажут?

— Наверняка. А ты теперь не иначе как до директора кладбища дослужился?

— Да нет, что ты. В отъезде начальник. Вот и приходится замещать. Может, сигаретку? Хотя ты

небось не куришь?

— Увы, курю.

Снег, который мы натащили, таял на полу. Эгиль смотрел вниз, на башмаки, и словно бы еще дальше, в мрачные глубины.

— Прежде все было куда лучше. Теперь каждый шаг, считай, под надзором. Прежде я тут велосипед держал неподалеку. И никто внимания не обращал, что я в магазин за бутылочкой ездил. Сейчас этак нельзя. Последние пять-шесть годов и этого нету. Ну то есть когда при работе состоишь.

— Ты женат?

— Нет, не довелось. Но дитенок у меня есть, тут, в городе. Шесть лет ему уже. Мальчонка. — Он поднял глаза, будто из вырытой могилы. — Пил я много, видишь ли. Она и не выдержала. Бертиля помнишь? Помер он.

— Да что ты! Впрочем, он наверняка был старый.

— Из дробовика. Прямо в глотку. Вон там лежит, на Новом кладбище, аккурат у самой стены. Может, будет охота поглядеть, как говорится.

— Так он что же, застрелился, да?

— Старуха от него ушла. Ну и водка опять же. Один в лесу. В понедельник его тут не было, а ведь за двадцать лет он ни дня не пропустил,

знаешь ли. Ни единого дня, сколько б ни пил. Ну, мы позвонили — никто не ответил. И под вечер поехали туда. Полголовы у мужика снесло.

— Помню, он все мечтал полежать денек дома, послушать, как дождь барабанит по крыше скотного двора. Полежать на сене, с кружечкой пивка.

— Не-ет, это не он, это Густав.

— Твоя правда, Густав.

— Он тоже помер. Возьми сигаретку-то!

Эгилю Эспингу всегда хотелось быть людям в помощь. А не в тягость.

Ему было шесть лет, когда мать привела его на мост и сказала, что сейчас они оба утопятся, ведь он разбил ей жизнь, сделал ее позором семьи.

— Сигареты у меня есть. Я без них никак не могу. Значит, Баха будешь играть. Папаша твой, он ведь скрылся?..

— Угу.

— Обычно я тишком пробираюсь внутрь и сажусь в уголку, когда играют. Ты… верующий?

— Сам не знаю.

— Распрекрасное дело, когда он из Библии читает, священник то есть. — Эгиль поднял голову. — Ты уж не говори никому. Что мне тут нравится. Оно конечно, проповеди я не очень-то

понимаю, но… На душе делается спокойно. Ну, вроде как… Да ты сам знаешь. Я вот читал одну книжку. Про переселение душ. Хотя ты небось… не веришь в такие вещи.

— Да, не верю.

— Ну и ладно, в общем, это так, пустяки.

Он отвернулся, устремил взгляд в окно. В снежной пелене уличные фонари казались крупинками золота.

— Ох и муторно рыть могилы в этакий снегопад. К примеру, как вчерась, для Евы Бергквист. Ты вроде знал ее, а?

— Наверно, — нерешительно сказал я, потому что лица почти сплошь оставались в тумане, но пусть он лучше думает, что в своем одиночестве может рассчитывать на толику моего зрения.

— Точно знал. Она от рака померла. В больнице, когда у ней спросили про родню, она в слезы ударилась. Никогошеньки, мол, у нее нету. А знакомцы? Друзья какие-никакие? Тоже нету. Тогда они уразумели, до чего ж она одинокая, и сделался этот грудной рак для нее сущей благодатью. Она сама сказывала, когда после облучения ее домой отпустили, на побывку, опухоль-то у ней большая была, ровно помидор. После Еву в Карлстад послали, в пансионат для пациентов.

И кормили там бутербродами с печеночным паштетом и огурцом, представляешь, разрежут огурец вдоль и цельную половинку на бутерброд кладут! На похоронах, кроме меня, почитай что никого и не было, я да священник. Поди, вот так же будет и когда я сам… никого… даже мальчонка не придет.

Я наведался к могилам. Снег высокими сугробами лежал вдоль дорожек, ветер бушевал по-прежнему, памятники замело. Имен не прочтешь, разве только:

> How fit a place for contemplation is the dead of night among the dwellings of the dead…[4]

* * *

«Из трепетного воздуха Иоганн Себастьян Бах творил объемлющее весь мир, незримое Божие государство и еще при жизни вступил туда, подобно тому как легендарный китайский художник вступил в свою картину», — пишет Оскар

---

[4] Примечания: 4

Сколь отрадно предаваться думам в полночный час среди обителей усопших… *(англ.).*

Лёрке[5].

Вот таков Бах. А кто же те, что сумели сохранить живыми «категории радости»? Кто хранит этот язык, благодаря кому он остается доступен, год за годом?

Что подействовало во мне? Какие мгновения формируют нашу жизнь, какие лица озаряются первыми бледными лучами нашего сознания и указуют нам путь?

Церковная дверь открывалась туго, с минуту я нерешительно медлил на снегу, потом толкнул ее и вошел в ярко освещенное помещение.

— Добро пожаловать! — сказал я оркестру и певцам, которые расположились на хорах, и сбросил на пол пальто и шарф. — Меня зовут Виктор Удде, и вам, считайте, повезло, что заполучили меня в качестве дирижера. Ведь разве кто другой поверил бы в такую безумную затею — управлять в наше время праздничными песнопениями. Это же традиция, которая… — Но они тут ни при чем, это моя история. — …насчитывает уже многие годы. Как вы знаете, набрать музыкантов в таком вот маленьком городке — задача нелегкая. И все же…

---

[5] Примечания: 5
Лёрке Оскар (1884–1941) — немецкий поэт.

Внутри у меня затрепетало-запело, как бывало всегда. В недрах сознания распахивались дверцы, выглядывали чьи-то лица… Но где же трубы? Где Дитрих Фишер-Дискау[6]? Где у нас Венский хор мальчиков? Где ван Кестерен? Ведь от него евангелист получает огромный импульс. Вы вообще хоть немного разбираетесь в музыке? Стоит ли ради вас жертвовать чтением хороших книг, отказываться от намерения изучать иконопись или «Бхагавадгиту»? Будем считать, что стоит, и давайте же восславим мистерию Рождества. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage![7] Трубы и барабаны, где вы?

Врата распахнулись. Я услышал, как мой голос заговорил чуть тише, чуть спокойнее:

— Надо вам знать, что такие произведения писались к каждому воскресенью. В понедельник и во вторник расписывали партии. Все семейство Бах трудилось сообща, и почерк Иоганна Себастьяна не отличить от почерка его жены, честь и слава ее памяти; в среду и в четверг переписывали копии, в пятницу и в субботу репетировали

---

[6] Примечания: 6

Фишер-Дискау Дитрих (р. 1925) — немецкий оперный певец (баритон), крупнейший исполнитель камерной музыки, дирижер.

[7] Примечания: 7

Ликуйте, радуйтесь, восславьте дни сии! *(нем.).*

— и вот все готово, можно спокойно испить кофейку. Существует пять-шесть полных годовых комплектов, но не забывайте, в ту пору были в ходу многочисленные вспомогательные формулы, своеобразный набор эмблематических клише. Процесс творчества, которому мы теперь придаем столь большое значение, был всего-навсего раскрашиванием. Аффект[8], то бишь эмоция, которую надлежало вызвать, в большей или меньшей степени рождался и благодаря таким формулам. А эти формулы, эти клише — всеобщее достояние. Как мебель. Как стул. Любому стулу свойственны определенные признаки, он должен иметь ножки, спинку, сиденье. Но возьмите стул Ван Гога. Возьмите стулья Пикассо — их запоминаешь на всю жизнь!

Не забывайте и о том, что ему не довелось сотрудничать с по-настоящему хорошим поэтом. Тексты в большинстве написаны лейпцигским обер-почтмейстером Хайнрици, прозванным Пикандер. Я конечно же не хочу сказать ничего дурного о почтмейстерах, мой ингесундский

[8] Примечания: 8

Автор ссылается на так называемую «теорию аффектов» — распространенные в XVII–XVIII вв. музыкально-эстетические воззрения, согласно которым музыка «изображает» человеческие чувства (аффекты) и управляет ими.

сосед работает на почте, а такого вина из шиповника, как у него, еще поискать. Кроме того, иные фрагменты целиком основаны непосредственно на библейских текстах, подобранных самим Бахом. Евангельские тексты окаймлены хоралами, по тем временам новаторскими — в нашем представлении, ведь мы, простите великодушно, смотрим на все это со стороны. Сравните с оперой, где развитие действия то и дело останавливается. Всякое движение замирает, и чьи-либо размышления выливаются в форму арий, в форму евангелий. Или как в «Трехгрошовой опере»: когда Пиратка Дженни поет в борделе, все затихает. *На время.* И такое время есть и будет.

Можно, любезные слушатели, вспомнить, к примеру, и братьев Маркс[9]. Стремительное действие, погони, любовь. И вдруг они как бы «сходят с дистанции», исполняют арию из острот, любо-дорого послушать. Ведь человек обладает преимуществом выхода из времени и места. Много работы, дамы и господа, много раздумий, толика богословия вот здесь. — Я указал на свой висок, и хористы заулыбались. — Ну что ж. Итак, мы имеем дело с прикладным музыкальным

[9] Примечания: 9

Братья Маркс — семья американских комедийных актеров, часто снимавшихся в кино и особенно популярных в 30-е годы.

произведением, написанным к Рождеству тысяча семьсот тридцать четвертого года. Иоганн Себастьян прибегает к пародии — светская музыка на сакральные тексты. Ему что же, не хватало времени? Или в ту пору люди в мудрости своей не различали любовь мирскую и духовную? Не мешает обдумать эту проблему. Эрос, агапе. Можно стакан воды? Как слушатели воспринимали музыку из мирских покоев? Первая часть «Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage» — вообще-то она называется «Tönet ihr Pauken…»[10] — текст светский, который чертовски здорово, простите, вписывается в свое мирское окружение, самая обыкновенная история, представленная при дворе, в каком-нибудь замке, группой студентов, за гроши. Лакейская, стало быть, музыка. Благородные дамы и кавалеры посидят немного, поболтают, выпьют бокальчик вина и почувствуют себя соучастниками. Вот послушайте!

Я извлек из кармана маленький кассетный магнитофон.

— Jauchzet, frohlocket… трубы…

Подняв кассетник к хорам и покачиваясь в такт,

---

[10] Примечания: 10

«Пусть бьют барабаны…» *(нем.).*

я начал дирижировать Concentus Musikus[11], — мне страстно хотелось перещеголять Арнонкура[12], я взглянул на певцов и притопнул по красным кольцам шарфа.

— Хор… dienet dem Höchsten…[13] нисходящая тема, плавная, все тот же аффект в мирском. Швейцер, Альберт Швейцер, еще на рубеже веков писал, что эти хоры больше под стать религиозным целям, тогда как арии… Тсс! Типичный аффект, вступает тема… обратите внимание на иерархию инструментов, барабаны, трубы, ликование! Ликование, друзья мои, пам-пам-пам. Ну а теперь наш черед, раз и…

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!
rühmet, was heute der Höchste gethan![14]

---

[11] Примечания: 11
Музыкальным хором *(лат.).*

[12] Примечания: 12
Арнонкур Николаус (род. 1929) — австрийский дирижер и виолончелист; один из крупнейших интерпретаторов старинной музыки.

[13] Примечания: 13
Славьте Всевышнего *(нем.).*

[14] Примечания: 14
Ликуйте, радуйтесь, восславьте дни сии!
Воспойте, что ныне Всевышний свершил!

(нем.)

II

Однажды в июне, в начале тридцатых годов, Сульвейг Нурденссон стоит во дворе своей вермландской усадьбы, стоит, уже оседлав новый велосипед, подарок Арона, словно осиянная новой любовью и разгоряченная от радости, руки ее сжимают блестящий руль. Она собирается съездить в Сунне, потолковать с кантором Янке об осеннем концерте, который наконец состоится после десяти лет подготовки.

— Я наверняка забыла выключить граммофон, — говорит она Сиднеру. Потом ерошит ему волосы, гладит по щеке Еву-Лису, глядит на озеро, на длинные послеполуденные тени в полях.

— Я выключу, мама, — отвечает Сиднер, но, как он десятки раз повторит впоследствии, «так и не выключил». Минуту-другую все трое прислушиваются — там, за открытым окном, звукосниматель кружит по пластинке, пробуждая ликующую песнь:

Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen

Chören,

Laßt uns den Namen des Herrschers verehren![15]

Как и много раз прежде, они замирают друг подле друга, обвеянные рождественской музыкой Баха.

— Но сперва подтолкни меня, Сиднер.

И он кладет руки на багажник, упирается босыми ногами в дворовый гравий, толкает велосипед. Сульвейг усаживается на седло и катит прочь, спицы жужжат, песок и мелкие камешки брызжут из-под колес, и она полной грудью вдыхает лето — запахи деревьев и травы на обочинах, дух лабазника, подмаренника и маргариток, а Сиднер быстро пересекает участок, выбегает на кручу прямо над поворотом и кричит: «Эгей!..» — и видит коров, видит отца, видит, как Сульвейг ставит ноги на тормоз, видит, как цепь соскакивает и она не может ни свернуть, ни остановиться, видит, как передние коровы бросаются

---

[15] Примечания: 15

Медлить не надо, отриньте печали,
Пойте, ликуя, веселия песнь!
Дивными хорами славьте Всевышнего,
Имя Господне восхвалим мы днесь!

(нем.)

в сторону, пугаясь этого сгустка стремительного движения, видит, что бредущие следом не успевают расступиться и она въезжает прямиком в скопище плоти, рогов и копыт, падает и остается лежать на земле, а они все топчут ее и топчут, даже когда ее давно нет в живых… «Есть такие мгновения, — запишет Сиднер в своей тетради „О ласках“, — которые не кончаются никогда».

* * *

О «Настоящем» Сиднер напишет, что «это время *слышишь*, когда оно с шумом вторгается в каналы нашего восприятия, чтобы оттуда низвергнуться в подспудную, широко разветвленную систему протоков, орошающих наши нивы». Совершенно ясно, что и здесь он намекает на тот июньский день, когда двенадцатилетним мальчиком стоит на круче, оборачивается и видит в темных воротах скотного двора рыжие косички Евы-Лисы. Косички летят у нее за спиной, когда она, вытянув вперед руки, бежит по дорожке вдогонку за Сульвейг, юбочка цепляется за спущенные чулки, она кричит:

— Мама, подожди меня!

Она не слышит, что Сиднер зовет ее. А он не двигается с места.

«Даже начав бежать, можно еще долго оставаться на том же месте. И, стоя там, вдруг обнаружить, что очутился в Новой Зеландии», — запишет он.

И все-таки частью своего существа он успевает поймать Еву-Лису у самого поворота, пониже обобранного земляничника, где буйно разрослись горные васильки и подорожник. Он прыгает на нее, и оба падают на сухую глинистую дорогу. Круглое личико оборачивается к нему, щелка меж зубами, глаза, уши, нос — все таращится на него, меж тем как она пробует вырваться. Он кусает ее за щеку, до крови, и она перестает отбиваться, обмякает, от нее пышет теплом, они глядят друг другу в глаза, в самые истоки мысли, а окрест круглится земля. Что теперь будет? Что ему делать? Как выглядит другой мир?

— Ты чего? С ума, что ли, сошел, Сиднер?

— Мама… — шепчет он, а кругом по-прежнему тишина. Он отпускает сестренку, откатывается на бок, чувствует, что обмочил штаны, зажмуривает глаза. Как жизнь теперь сумеет начаться вновь? Какие имена они придумают друг другу? Если б его звали не Сиднер, а как-нибудь иначе, ему бы не понадобилось думать о случившемся. Он мог бы случайно зайти в гости и услышать разговоры о жутком происшествии в усадьбе у леса.

Он знать не хочет своего имени, но Ева-Лиса садится, сверкнув белыми трусиками.

— Сиднер, что с тобой?

Не спрашивай! — хочет крикнуть он, но голос утекает в какую-то черную дыру.

Хорошо бы иметь родителей, которые вообще не давали бы никаких имен. И можно было бы назвать себя Рисовая Каша, Заборная Жердь, Воскресное Утро — да как угодно.

— Я побегу за мамой.

— Нет! — шипит он ей в ухо.

— Гад ты, Сиднер.

Много раз Сиднеру снилось, что он упал с обрыва или утонул, но, когда, проснувшись, перебирался в постель к родителям, ему объясняли, что свершения снов приходится ждать долго. «И самого длинного в жизни сна тоже, год за годом? Ждать, пока не состаришься и не сможешь наконец-то проснуться по-настоящему, за порогом смерти? Вот так и будет выглядеть моя жизнь?»

Дети встают на ноги, и совершенно тусклым голосом он говорит ей, что туда идти нельзя, надо ждать здесь. Ева-Лиса утирает щеку, ладошка вся в крови.

— Гад, я все маме скажу.

Она вроде бы только сейчас смотрит Сиднеру

в глаза.

Они новые, не как раньше, когда он протягивает руку, грязными пальцами трогает кровь.

— Прости…

И она так же тускло спрашивает:

— Зачем ты это сделал?

— Когда-нибудь, — говорит Сиднер, чувствуя, как слова ускользают, отступают от мира, — когда-нибудь все откроется.

Тут они замечают Арона. Посреди бегущего и скачущего стада. На руках у него что-то окровавленное, лучше не смотреть. И крики его лучше не слушать:

— Не могу я согнать коро-о-ов! Ой, не могу согна-а-ать!

Мимо них, наверх, к Вещам, что теперь оголяются. Дом оголяется, и елки на опушке, и колода возле скотного двора, и торчащий из нее топор, даже трава оголяется и оборачивается к дороге, все они подступают ближе, чтобы подхватить его, когда он падает.

Арон бродит туда и обратно, по внешнюю сторону сна. Вот белые и темно-фиолетовые цветки бобов, сейчас, без малого в четыре утра, они

сбрызнуты росой. Длинные бобовые шпалеры тянутся возле южной стены дома. Морковка светло-зеленая, совсем еще маленькая, он ходит и высматривает следы косуль. Когда-то ему доводилось ставить сети. Когда-то у него были ловкие, быстрые пальцы.

Он идет по овсам, по огороженным выгонам. Останавливается, присматриваясь к чему-то, что лишь мало-помалу оказывается камнем, коровьей лепешкой, сухой веткой. Очень медленно, если это вообще происходит, свойства выплывают из вещей, обретают форму, упорядочиваются, сливаются воедино со своими именами. Но сплошь да рядом этому предшествует пустое мгновение, порою длящееся минуты, когда камень не желает становиться камнем, а рука — рукой, когда даже умереть невозможно, потому что не живешь.

В усадьбу он возвращается, когда солнце уже освещает нижние окна, окрашивает их медью, кошка сидит на подоконнике, и солнечный зайчик играет в ее черной шкурке. Одной ногой он вновь стоит в огороде — в заповедных владениях Сульвейг. По весне Арон всегда помогал ей копать грядки, а после уходил в чистое поле, оставлял ее на коленках, босую средь вешней земли, что

ждала семени, — ведь он почему-то испытывал странную робость перед севом. Семена были чересчур уж крохотные. Но к осени он обычно возвращался — дергал, срезал ботву, пересыпал урожай песком, относил в погреб.

И вот сейчас он стоит, вглядываясь в образы памяти: наклонясь вперед, она елозит на коленках вдоль грядок, мягкая, полная грудь колышется под блузкой, на лице грязная полоска — видно, она отвела со лба выбившуюся прядку волос. Краше ее Арон ничего на свете не знал, она была мерилом всего. И не сердилась, когда он любовался ею — во сне, и рано утром, и средь тяжких трудов. Каждое свое движение она так насыщала светом, что и на его долю хватало.

Всегда отыскивала улыбку там, где он и не догадывался о ее существовании.

Ведь в здешней округе улыбок, пожалуй что, днем с огнем не найти. Местные крестьяне были не из смешливых, смех считали вероломством. Арон нагибается, хочет оттолкнуть ее, чтоб выполоть сорняки, поднявшиеся уже среди бобов, сладкого гороха и свеклы.

Но рука замирает на полпути, будто кто ее перехватил.

Здесь тебе полоть нельзя, Арон! Это владения

Сульвейг! Сорняки ждут ее. Выполешь их, и она больше не придет.

Улыбка упархивает прочь.

Еще бы чуть-чуть, и он бы лишил ее этой возможности.

Он выпрямляется, щурится на солнце. Улыбка мелькает на губах, когда он обводит взглядом окрестности: от этого она никогда не отступится!

Что значит смерть по сравнению с сияющей любовью, какою полнятся деревья, и земля, и туманная дымка над озером.

Все на месте: скотный двор в прошлом году заново покрасили, теперь он коричнево-красный, сушильные стеллажи новые, стоят прислоненные к большой березе, трава на выгоне высокая, клевер влажный от росы. Под кухонным окном покачиваются рудбекии, мелкие гвоздички глядят на них снизу вверх, будто с восторгом. Кошка сидит на подоконнике, иссиня-черные ушки тихонько шевелятся — она слышит жужжание мухи.

Нет, от такого не отступаются.

Надо просто подождать.

Арон протискивается сквозь кусты смородины и поднимается по ступенькам заднего крыльца. Дети еще не вставали, не выбегали по малой

нужде, надо взглянуть на них.

Но дети не спят. Сидят голышом на кроватях, в той же реальности, что и он, а ему нечего им дать.

Не устремиться птицей в зияющий омут их чувств.

Он заглядывает в комнату и пугается, что несет с собой столько мрака.

Черная тьма в глазах у Сиднера — мальчик по-турецки сидит на постели, плывет по бурливым волнам.

— Я только хотел… — бормочет Арон, ковыряя пальцем оконную замазку, кусочек отваливается, отскакивает на ступеньки. Рука его ни на что больше не способна.

— Пап, я кушать хочу, — говорит Ева-Лиса.

Ей будет полегче. Воспоминания улетучатся из ее души. А Сиднер?

— Поспите еще чуток, время раннее.

— А ты? Ты почему не спишь?

Сульвейг — вот кто умел давать. И говорить тоже. А что умел он? Ничего. Он только брал взаймы. Находился с краю, иной раз попадал в ее сияние, приобщался. Но теперь… что осталось?

Он ковыляет вниз по ступенькам, бегом бежит в поля, по лесовозной дороге через лес, и меж тем

как он бежит, июнь переходит в июль. Настает август, сентябрь, идет дождь, пашня делается топкой, зерновые полегают. В дорожных колеях хлюпает вода, на скотном дворе мычат недоеные коровы. Арон садится на камень. Никто не пришел, сорняки не выполол. И в постель к нему никто не ложился. Сульвейг пока слишком занята своей смертью, многое, наверно, необходимо уладить.

* * *

Уже в октябре этого года Арон сдался, хотя соседи помогали и со скотиной, и с уборкой урожая. Выставил на аукцион дом и скотину. Понимая, что другого выхода нет.

В последний день, когда он выносил кой-какую мебель и скарб, которые решил сохранить за собой, Сульвейг стояла в спальне перед зеркалом, не давала ему пройти. Она завязывала на затылке шарфик, а в зубах держала шпильку.

— Я только приведу себя в порядок, — с улыбкой сказала она, и взгляды их встретились в зеркале. — Это недолго.

Арон кивнул и стремительно шагнул к ней — руки с силой ударили по стеклу, и зеркало разбилось на тысячу кусков. Сиднер замер у него

за спиной, молча глядя в зеркальные озерца осколков.

— Будь добр, Сиднер, принеси совок.

— Он на подводе, мы его уже убрали.

— Делай, как велено! — крикнул Арон, впервые в жизни он повысил голос на своего ребенка.

Пока Сиднер рылся в вещах на подводе, Арон пытался сложить кусочки зеркала, чтобы Сульвейг осталась целой. Лежал на полу и смотрел, как она взблескивает в осколках. Фиолетовый шарфик трепетал тут и там, и он точно знал, что на другом осколке непременно найдутся ее глаза, ее руки, только искать придется долго.

— Сульвейг, где ты?

Сейчас, вот сейчас она отзовется из бездонной пучины осколка, который он поднес к свету, но тут в комнату ввалился Сиднер с совком и щеткой и замер на пороге.

— Что с тобой, папа?

— Мы ведь уезжаем отсюда. — Арон отполз к стене, с полными горстями осколков. Там он сжался в комок и стиснул осколки так, что брызнула кровь. — Простишь ли ты меня когда-нибудь?

— Это не твоя вина, папа.

— Нет, моя, — сказал Арон. — Сядь-ка рядом… Я… не способен… ничего я не могу сделать.

Пустая комната наполнилась их слезами, они сидели рядом и плакали, прислонясь к обоям, где на месте снятых картин и фотографий обозначились некрасивые бледные прямоугольники, виднелись трещины и сгустки пыли, торчала из щелки блестящая булавочная головка, осенние мухи метались по стеклу, темному на фоне пасмурного, набрякшего дождем неба, а во дворе ржала лошадь, которая умчит их жизни отсюда в город.

— Принести граммофон?

Немногим позже граммофон уже стоял на ящике с постельным бельем.

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten

Und lasse dich nicht

Mein Leben, Mein Licht

Befördre den Lauf

Und hore nicht auf

Selbst an mir zu ziehen

Zu schieben, zu bitten[16].

— Я не нашел Рождественскую ораторию, — сказал Сиднер. — Хотя и это, пожалуй, подходит. Через два месяца мама спела бы…

— И споет, — сказал Арон. — Ну, то есть…

— Обними меня, папа.

— Где Ева-Лиса, пусть она тоже… Сходи за ней…

— Я не могу.

Однако ж он встал, открыл окно, позвал. Ева-Лиса сидела в кресле на самом верху подводы и грызла яблочные дольки из большой лохани; эти самые дольки они целую осень нарезали, развешивали в бельевой на веревках и сушили, пахло там, как в райском саду, и Сиднер частенько пробирался туда в одиночку, не затем, чтобы красть зимнее пропитание, а чтобы вдохнуть аромат других осеней, других бесед за кухонным столом.

---

[16] Примечания: 16

Я радостным шагом иду за тобою,
Тебя не оставлю,
Мой свет, моя жизнь,
Способствуй движенью
И, не уставая,
Влеки меня дальше,
Веди и зови.

(нем.)

О музыке. Об Америке. О светляках на веранде в Канзасе, где прошло детство Сульвейг.

— Неохота мне идти в дом, — засмеялась Ева-Лиса, даже не обернувшись, и Сиднер поспешно захлопнул окно.

— Она уже…

— Да, она забыла. Она забудет, а вот мы с тобой… — Медленно, с расстановкой, как бы желая призвать и зачаровать забвение.

Просветы в хаосе. Крохи, за которые можно уцепиться. Снова и снова пробовать на вкус, осязать, видеть. «Когда мы с тобой, папа, сидели там в последний день, ты сказал…» И все же: это никогда не поможет. Дом уже отпадал от них. И занятия Арона отпали от его рук, отныне все ново, неведомо, безымянно. Отныне и до самой смерти.

* * *

Когда они вышли во двор, дождь лил как из ведра. Один из соседей укрывал подводу брезентом, и оттуда, из темноты, смотрели глаза Евы-Лисы.

— У меня тут замечательная пещерка.

Сиднер нес граммофон. Брезентовую покрышку уже закрепили, поэтому пришлось водрузить его сверху, труба глядела в небо.

Арон стоял на крыльце. Сосед подошел, протянул руку.

— Я понимаю, каково тебе.

— Спасибо за все. Ты столько для нас сделал, и летом, и нынче.

— Пустяки это. Рядом с такой тяжкой бедой.

— Знаю, но без тебя…

— Надеюсь, ты вскорости непременно нас навестишь. Знаешь ведь, вы с Сульвейг… — Сосед тоже отвернулся, тыльной стороной руки утер глаза, и Арон опять увидел ее: огромная, могучая возвышалась она над округой, там, на давнем его лугу, возле сушильных стеллажей.

— Ты понимаешь, о чем я.

С Сульвейг было связано так много необычного. Сосед, шмыгнув носом, послал Арону тусклую улыбку, и оба невольно подумали об одном — о поцелуях средь бела дня. Ведь именно Сульвейг и завела этот обычай. В здешних краях про такое слыхом не слыхали, пока однажды лучезарным утром Сульвейг не обняла Арона и не поцеловала, прямо на глазах у изумленного соседа, который стоял неподалеку, Арон смущенно высвободился из объятий Сульвейг, утер рот и сказал: «Это всё Америка». Слова его с быстротою молнии разнеслись по деревне и скоро слетали с губ каж-

дого крестьянина, когда в полуденный час его одолевала охота потискать женку, — слова, горячившие плоть: «Ну-ка, отведай чуток Америки».

На первых порах женщины вырывались, фыркали и ворчали, что в Америке оно, может, так и заведено, но не здесь, однако ж отрава взяла свое, и никто уже не заикался, что это подрывает или вовсе даже гасит желание работать, и, бывало, на блузах у них уже с утра красовались цветки шиповника.

— А сколько у вас было музыки! Теперь все опять смолкнет. Ох, дождь-то как разошелся, вам бы обождать, пока…

— Как-нибудь доберемся… — сказал Арон.

Он спустился с крыльца, подошел к Бассо, смахнул дождинки с его спины. Коня он продавать не захотел — глядишь, и в городе пригодится. Бассо неспешно двинулся со двора, чуть притормозил на косогоре, миновал поворот и то мгновение, когда все шли опустив голову. Арон весь поник, будто сложенный зонтик, ничто не защищало его от мира окрест. Вожжи висели в безвольной ладони. Сиднер, шагая рядом, ощупью отыскал его свободную руку.

Сосед взмахнул рукой.

Свернул к лесу.

А дорога змеей бежала к озеру, мимо небольшой лесопилки, мимо торговой лавки, меж огорожами усадеб. Тут и там мелькали лица в окнах домов, народ попрятался, душа болит — и смотреть, и говорить об этом. Вдобавок дети!

Деревья уже почти совсем облетели. За деревней лес раскинулся высокий и темный. Вороны метались над головой, Бассо тихонько трусил вперед, скрипели колеса, и чавканье Евы-Лисы под брезентом было единственным звуком, что въедался в уши. Арон размышлял обо всех былых возвращениях из города по этой дороге, о том, как он стремился домой, как нетерпение подстегивало его.

Возвращение домой всегда было для него и возвращением в обитель слов. Вещи для Арона были закрыты, пока он не встретил Сульвейг, мир не принимал его. Но люди находят друг друга, так случилось и с ними. И у него на глазах она раскрывала вещи, одну за другой, и они делались изобильными, блистали множеством значений. Он очутился в мире слов.

Теперь же он опять был вовне, в безмолвии.

Здесь он проезжал, спрятав под мешками с мукой велосипед. Блестящий, черный, с золотым узором. Он углядел его возле спортивного магази-

на Асклунда, и сам Асклунд сказал, что машина очень дорогая, но она, Сульвейг то есть, вполне ее достойна. Утром в день рождения он поставил велосипед на веранде, увитой диким виноградом. А в пять часов, когда взошло солнце, привел ее туда, прямо в ночной рубашке, следом прибежали дети, они всё знали и заговорщицки переглядывались. Арон стоял чуть наискосок у нее за спиной, и она, обернувшись, щедро осыпала его и детей всем тем, чем владела в избытке, — ласками, поцелуями.

Кое-где в глубине леса еще падали наземь редкие листья. Заяц стремглав перебежал дорогу, Сиднер взгромоздился на самый верх подводы, пристроив на коленях граммофон и стопку бакелитовых пластинок. Дорога здесь несколько километров шла по прямой, смотреть было не на что, глаз ничто не радовало. В понедельник идти в новую школу, к новым товарищам — страшно. Страшно, что вдруг не сможешь заговорить с ними, страшно, что разревешься посреди уроков. Здешние, деревенские мальчишки не приставали к нему, а теперь сызнова придется так много объяснять, повторять, заплетать нити памяти. Он с завистью покосился на Еву-Лису, уснувшую в кресле под брезентом, — если б забыть, вот

как она, ведь она уже забывает, точно забывает. Неужели Сульвейг вовсе *не будет* при ней?

Эти первые ее семь лет?

Усадьба, где они жили?

Неужели ее не будет? Неужели не будет этих первых лет? Их, что ли, просто вычеркивают… вот так!

Первым и единственным человеком, что попался им на дороге в Сунне, была маленькая толстая бабка, которая, словно лебедь на суше, вперевалку ковыляла им навстречу. Заметив подводу, она сошла в канаву, заслонилась букетом из вереска, прикинулась елкой и камнем, травой и черничником.

— Первый голубь, — сказал Арон, когда они проехали мимо. — Посланец нашей новой жизни.

— Кто она?

— Зовут ее вроде бы Ангела… Мортенс. Наверняка куда-то на похороны идет или на свадьбу, но заплутала. С ней такое часто бывает.

Сиднер оглянулся: старуха вылезла из канавы, заслоняя лицо букетом, постояла немного, молча проводила их взглядом, с ледяной усмешкой на тонких губах.

Смеркается уже, когда они подъезжают к Сунне. Там у Арона есть и жилье, и работа.

Там они начнут все сначала.

А Сиднеру двенадцать лет, и очень скоро граммофон и коробка с пластинками соскользнут с подводы, потому что Бассо шарахнется от автомобиля, и земля будет усыпана осколками бакелита. Но прежде цитата из «О ласках»: «Долговечен лишь замирающий звук, который вереница будней постоянно тщится погасить, но никогда не преуспевает в этом до конца».

Вот сейчас пластинки падают наземь.

Слейпнер Бринк, одна из первых жертв радиовещания, стоял на коленках возле дивана и через наушники слушал бесовскую машину, которую бережно пристроил на мягкой цветастой подушке.

Жена его и кричала, и плакала, все вперемежку. Радио действовало ей на нервы. С того дня, как деверь Турин подарил им приемник, весь их мир мало-помалу приходил в упадок. Не сказать, чтобы мужнин фасад вызывал у нее особый восторг, но все время пялиться на Слейпнерову спину и грязные пятки было вовсе невмоготу.

— Ты опять не вычистил Розино стойло, — кричала она, — третий день кряду сама убираю! И в

каменотесную мастерскую носа не казал!

Но Слейпнер слышал только диковинные вещи, о которых сообщало радио:

— Приблизительно с двухтысячного до семисотого года до Рождества Христова аккадский был языком дипломатии на всем Ближнем Востоке. Превосходный пример значимости аккадского языка как средства общения азиатских государств мы находим в собрании документов и писем к египетскому фараону Аменхотепу Четвертому, обнаруженных в Египте близ деревни Телль-эль-Амарна и относящихся к четырнадцатому веку до Христа. Все эти более или менее официальные документы в большинстве написаны на аккадском и все — клинописью.

Голос лектора утонул в эфирном шуме.

— …как выглядела будничная жизнь в долине Евфрата во втором тысячелетии до Христа, а в тысяча девятьсот первом году был найден большой свод законов, изданных царем Хаммурапи — библейским Амрафелом — за две тысячи лет до Христа. В седьмом — восьмом веке аккадский был вытеснен другим крупным семитским языком…

Слейпнер так и не узнает, какой это был язык, и долго будет злиться. Виктория огрела его по спине, и он ничком рухнул на диван.

— Зять твой вскорости приедет. Ты ведь обещал пособить ему.

— Damn it, они что, уже здесь?

— Да вот-вот явятся.

— Так не явились же еще. И чего пристала? Могла бы подождать, пока эта треклятая опера не начнется.

— Я радиопрограммы не читаю! — взвизгнула Виктория.

— Ты и что другое, поди, толком не разберешь, — огрызнулся он, но тотчас смягчился: — Стало быть, Арон с детишками едет. Будто раньше не могла сказать.

Виктория фыркнула и отошла к окну. Слейпнер запер наушники и приемник в сундучок, спрятал ключ в карман, сел возле кухонного стола и уставился в окошко: там, за деревьями, виднелась каменотесная мастерская, где его брат Турин трудился над надгробным памятником.

Виктория наклонилась к нему:

— Он что-нибудь говорил?

— Про что?

— Про ребенка… Про девчонку сеттербергов-скую, ясное дело. Может, это он, а?

— Нам-то какое дело. Турин сам разберется.

Слейпнер отодвинул кухонную занавеску и

стал смотреть на массивную голову брата, на яркие рыжие волосы и на брови, блекло-золотистые, как рожь летним утром. Спина у него могучая, плечи сильные — умелый каменотес, ничего не скажешь.

— Так Турину, поди, известно, он это или нет?

— Вот и спроси у него, раз тебя любопытство донимает.

— Не я же ему брат-то. Он ничего не говорил насчет женитьбы?

— Нет.

— Сеттерберги нипочем не согласятся. Больно много о себе понимают, Турин-де им не чета, воспитания ему не хватает.

— Ты тоже так думаешь.

— Я не говорила, что он неотесанный.

— Ты говорила — глупый. А Турин вовсе не глупый. Дураку летчицкий диплом не дадут. А ему едва восемнадцать сравнялось, когда он обзавелся таким дипломом. Самый молодой был из всех. Как думаешь, может, ему бы доверили самолеты, которые в Брубю?

— Во всяком случае, одеваться он мог бы и получше. Но лично я с ним бы не полетела.

— Ну, истеричку вроде тебя в самолет вообще никто не пустит.

— Я не сумасшедшая, чтоб по воздуху летать.

— По-твоему, дурак сумел бы собрать вот этакое радио, что всю Европу ловит? The whole of Europe? You bastard[17], — буркнул Слейпнер и улегся головой на стол, причем так, чтобы одним глазом обозревать вечернюю радиопрограмму, но Виктория была до смерти рада возможности потолковать с мужем и не собиралась ее упускать.

— Нет, ну можно ли якшаться с гулящими бабенками. Вы же как-никак из семьи священника.

— Положим, про то, что сеттерберговская девчонка гулящая, нам ничего неизвестно, а семья священника тут и вовсе ни при чем. My father was not a real priest[18].

— Ты по-шведски говори, чтоб я понимала.

— Мой отец держал бар в Канзасе, я тебе тыщу раз говорил.

— А до того? Мои родители все про него знали.

— Пожалуй, стоит побриться перед их приездом.

— Гениальная мысль!

— Нынче суббота.

— Будто тебя это очень занимает. Подумать

---

[17] Примечания: 17
Всю Европу? Чертовка ты этакая *(англ.).*

[18] Примечания: 18
Мой отец был ненастоящий священник *(англ.).*

только, Сульвейг, ты и он…

— Не припутывай ее, I warn you[19].

В своей первой черной клеенчатой тетради Сиднер запишет:

> «Дядя Слейпнер и тетя Виктория заплутали в Склочном лесу. Деревья там растут густо, и в тесноте они все время налетают друг на друга. Не представляю себе, как они целуются или ласкаются. Отношения у них в семье совершенно не такие, как у моих родителей. И все же дядя Слейпнер из Канзаса, как и мама, а в Канзасе, по маминым словам, царила более сердечная атмосфера, и оттого ему тоже следовало бы научиться показывать свои сокровенные чувства, которым незачем робеть дневного света. Хотя, возможно, все дело в тете Виктории, возможно, по ее милости проявления эмоций расцветают лишь во тьме, что здесь, в Швеции, по-видимому, общепринято. (За исключением середины лета, когда недостаток темноты, так сказать, принуждает их быть на свету.)

---

[19] Примечания: 19
Я тебя предупреждаю *(англ.)*.

Да, вероятно, дневные поцелуи, которые я сам видел, вошли в обычай как раз в моем детстве, благодаря маме, а до той поры все проистекало впотьмах, что для южанина, наверно, звучит жутковато. (Разберись в этом!!!) Впрочем, не стоит забывать и долгие зимы, которые на семьдесят-восемьдесят процентов состоят из чистого мрака».

* * *

Бьёрк, хозяин гостиницы «Сунне», поставил трезвенника Арона начальником над винным погребом и швейцаром. Жилье служебное — две комнаты и кухня над гостиницей, вход с черной лестницы (если неохота идти через ресторанную кухню и длиннущий коридор). Зато из верхних окон видно полгорода, в том числе и винный погреб — низкую, но крепкую постройку из гранитных блоков, с тяжелой дверью, которую без ключей нипочем не открыть. Подвода, громыхая по мокрым блестящим булыжникам, подъезжает к гостинице, Слейпнер и Турин поджидают их. Для первого раза они поднимаются наверх без вещей, с пустыми руками, братья подталкивают Арона вперед, стоят у него за спиной на пороге,

и Слейпнер видит, что Виктория уже успела прошмыгнуть туда с горшком герани — знаком того, что мир готов их принять.

Они вдыхают чистый запах олифы и масляной краски — здесь светло и чисто.

— Fine, fine, — вздыхает Турин и кладет на плечо Арона свою тяжелую руку. Но Арон опять поворачивает к выходу.

— Начну, что ли, вещи носить, — бормочет он, потому что чувствует себя вроде как не вправе одобрить квартиру. Ведь это будет вроде как предательство Сульвейг. А он уже и так совершил предательство, не стал ждать ее там, в усадьбе. Когда он притаскивает кухонный стол, Слейпнер спрашивает:

— Где ты хочешь его поставить?

— Все равно, — говорит Арон и опять спешит на улицу, чтобы не брать на себя инициативу. Делает вид, что он слуга. Делает вид, что таскает чужие вещи: чемоданы, столовые приборы, ящики от комода; ставит их прямо возле двери, не поднимая глаз, спешит прочь, когда Слейпнер хочет задержать его. Не желает иметь с этим ничего общего. Это же только на время. Вдобавок у него есть Сиднер. Он тоже будет жить здесь. Мальчик медленно поднимается по лестнице, с разбитыми

грампластинками под мышкой, крепко прижимает их к себе, проходит мимо Арона, скользнув по нему невидящим взглядом. В конце концов они все же стоят рядом на пороге, и Сиднер, на радость Арону, спрашивает, где они будут спать.

Выбор, понятно, невелик. Арону ставят кровать на кухне, он так хочет, невнятно ссылаясь на работу, вдруг, мол, какая суета ночью… Сиднеру достается дальняя комната, а Еве-Лисе — та, что посередине. Почти всю дорогу Ева-Лиса спала, спит она и когда Арон несет ее наверх и укладывает в кровать, которая стоит на блестящем полу, под голой качающейся лампочкой.

Тут-то он и видит по-настоящему свое бремя; кладет дочку на кровать, и тотчас его пронзает мысль: надолго ли у меня хватит сил притягивать к себе детей?

Этот вопрос, наверно, так и будет теперь день за днем вертеться в голове. Теперь, когда он совсем никто, даже не плохой крестьянин, покидающий своих коров и пашни. Никто — без языка, без свойств; надолго ли у меня хватит сил быть для этих детей центром притяжения?

Иметь мужество, проснувшись утром, заниматься их нуждами.

И моими собственными. Где я вновь отыщу

себя?

Слейпнер и Турин искоса наблюдают за его манипуляциями, а когда в конце концов столы и стулья стоят, где положено, все они оказываются лицом к лицу, и большая рука Турина тянется через столешницу.

— Она была такая замечательная, brother[20]. Папа наказывал take care of her. Just before he died[21].

— Говори по-шведски. — Слейпнер щиплет его за плечо, но Турин не слышит.

— I remember when she sang on the veranda among the fireflies…

— Светляки, — суфлирует Слейпнер. — Когда она пела на веранде.

— Such a voice!

— Какой голос!

— And how beautiful she was. My little sister.

— А до чего же она была красивая. Сестренка моя.

— Я и сам понимаю, — говорит Арон. — Успел кой-чему научиться. *Она* меня научила.

— And that hair!

---

[20] Примечания: 20
Братишка *(англ.).*

[21] Примечания: 21
…заботиться о ней. Аккурат перед смертью *(англ.).*

— А волосы!

— Я понимаю, — говорит Арон. — Волосы.

— What did you say?[22] — спрашивает Турин, поднимает голову и смотрит на Арона. — You remember her hair too?

— Ты тоже помнишь ее волосы? — подсказывает Слейпнер.

— Конечно, помню.

— Good. Wasn't it lovely?[23] Not my red hair. Not at all, brother.

— Рыжие, но не как у меня, совсем не как у меня, — продолжает Слейпнер, и внезапно они опять на похоронах. Сотня людей среди летнего дня, дурманный, сладкий аромат цветов, слезы. И церковный хор вдруг умолкает на полуслове, и руки кантора Янке замирают в воздухе, более не в силах пошевельнуться.

«Ведь это ты, Сульвейг… создала этот хор, ты вдохновляла нашу работу. Ободряла нас вечер за вечером. Именно ты, Сульвейг. Дай же нам силы… продолжать».

---

[22] Примечания: 22
Что ты сказал? *(англ.).*

[23] Примечания: 23
Хорошо. Красивые были волосы, верно? *(англ.).*

* * *

Ева-Лиса возвращает их к реальности — она проснулась и бежит к ним.

— Где я? Папа?

— Здесь мы будем жить.

— Я не хочу. Я хочу домой.

— Дом теперь здесь, — говорит кто-то. Припечатывает, что так оно и есть.

И сразу же пытается притупить нож своих слов.

— Во всяком случае, на некоторое время.

А нож застрял крепко. Режет и режет.

Все будет хорошо, вот увидишь.

— Я хочу домой.

И точка. Нож так и будет ввинчиваться в каждую реплику. И Арон опускается на стул, сажает Еву-Лису себе на колени, неловко гладит по голове и слышит, как с губ рвется крик:

— Мне же только тридцать пять!

— Such is life. — Турин расхаживает по кухне. — Such is life, brother[24].

— Ах, Турин. — Слейпнер стряхивает братову печаль, поднимает занавеску. — Все будет по-

---

[24] Примечания: 24

Такова жизнь… Такова жизнь, братишка *(англ.).*

другому. Здесь, в гостинице, ты увидишь много чудаков, Арон. Французов, американцев, ну, англичан-то во всяком случае. Если понадобится помощь с переводом, ты только скажи. Хозяин, Бьёрк, в гостинице царь и бог, сказать по правде, тут иной раз дым стоит коромыслом. Клубные собрания по четвергам. Много чего увидишь.

— А теперь пойдем-ка к Берил Пингель, закусим маленько.

Много лет спустя Сиднер уверяет, что без булочницы Берил Пингель так бы и не начал записки «О ласках», но, по-видимому, это преувеличение, ведь у Сиднера вообще многое было преувеличением, в прямом смысле слова. Однако именно в то время Берил Пингель приобрела большое значение, что произойдет впоследствии, собственно говоря, со всеми людьми, поскольку он очутился в новом мире.

> «Чтобы описать Берил или то впечатление, какое она производила, нужно поместить ее в летний день — облако пшеничной муки, дверь распахнута, в проеме видны люпины. Утреннее солнце

светило неярко, и все же, когда я помог ей с ульями и вошел в дом, я почти ничего не видел. Она часто пекла, но столь же часто утюжила Туриновы съемные воротнички, которые он надевал, выходя в город принять заказы на надгробия. Распахнутая дверь в таких случаях полнилась ее смехом, и у меня частенько мелькала мысль, что смех, наверное, откуда-то черпают. Ничто не возникает из ничего. У всего есть причина. Хотя пшеничное тесто и воротнички едва ли могут быть причиной, особенно воротнички. Если, конечно, смех как таковой не есть вообще основа всех вещей. О, чудесная мысль! Вот это я и решил изучить, и консул Юнссон, управлявший библиотекой, в результате приобрел самого солидного своего клиента. Головокружительное ощущение — очутиться в такой большой библиотеке. Начал я с досократиков — Гераклита, Парменида, Зенона. Ни один из них подобными пустяками не занимался, и я по сей день знаю не больше прежнего. И все-таки до чего здорово — представить себе, как Гераклит сидит на кухне, Верил

Пингель гладит его съемные воротнички, а он пробует ее белые булочки и мало-помалу нисходит в ее смех».

Однако тем октябрьским вечером Сиднер под дождем падающих листьев молча брел через каменотесную мастерскую в сад Верил Пингель.

Турин в потемках берет Арона за плечо.

— Ты всегда можешь положиться на Верил. Ну, в смысле всяких там бабьих дел, you know[25], и ребятишек. Ведь мы во многом не разбираемся.

— Да, хорошо, что она есть, — бормочет Слейпнер, переступая мучной порог.

Верил Пингель, полная ожидания, сидела у разделочного стола. Сильные руки, пышная грудь, золотистые волосы. Первой ее внимания удостоилась Ева-Лиса.

— Вы только гляньте, ты ведь Ева-Лиса, да? Благослови тебя Господь! А это Сиднер? Заходи, дай на тебя посмотреть.

Она рывком притянула детей к средоточию своего тепла, Сиднер споткнулся и уронил разбитые пластинки ей на колени. Верил взяла в руки треугольный осколок с уцелевшей наклейкой,

---

[25] Примечания: 25
Знаешь ли *(англ.)*.

где можно было прочесть название.

— Думаешь, можно склеить?

Сиднер пожал плечами.

— Нет, их не клеют. — И, еще робея перед ней, он собирает осколки, прячет за пазухой, отходит к стене. — Музыки не получится.

Сиднерова учителя звали магистр Стольберг. Учитель он был хороший. И имел привычку завершать каждое полугодие вот таким манером: балансируя в классе на велосипеде, держа неподвижное равновесие, играл на скрипке «День за днем становится все лучше», «Трагическую песнь о лейтенанте Спарре и Эльвире Мадиган», а напоследок «Тихую ночь, святую ночь» (под Рождество) или «Пришла пора цветенья, в отраде и красе» (летом).

Сиднер поверг его в замешательство. Открыв первое сочинение мальчика на тему «Воспоминание о Рождестве», он ожидал увидеть заурядный неуклюжий опус про то, как шел снег и елка сверкала огнями. Но Сиднер написал вот что:

«Иоганн Себастьян Бах, величайший из всех композиторов, очень устал. Темным

декабрьским вечером он шел домой, где его с нетерпением ждали дети, шумные, галдящие. Он забыл купить candies, потому что пришлось очень много работать. Его знобило. В церкви весь день стоял холодище, хористы были недовольные и охрипшие. Чем же их взбодрить? Вот какой вопрос свербел в его красивой голове. И, неторопливо шагая по снежной слякоти грязных улиц, он кое-что придумал. Песней, сказал он себе, я взбодрю их песней. Именно это им и нужно, бедным моим друзьям. Когда он подошел к дому, где жил вместе со всей своей семьей, и увидел за окнами горящие свечи, в нем вдруг зазвучала чудесная мелодия. Идея обрела форму! Он быстро скинул верхнюю одежду, обнял ребятишек и тотчас поспешил в кабинет. И начал писать Рождественскую ораторию. Вся семья радовалась, собираясь возле клавесина в эти дни накануне Рождества 1734 года. Было создано прекраснейшее произведение».

Магистра Стольберга предупредили, что к Сид-

неру нужен деликатный подход. Сказали, что следует терпеливо относиться к его отрешенности, к невидящему взгляду, к открытому рту. Мальчик способный и со временем оправится от шока, дайте только срок. Умом магистр Стольберг все это понимал, однако ж порой изнемогал от нетерпения, наблюдая, что парнишка, как он говорил коллегам, «живет в своем собственном мире». «Вот смотрите, — говорил он, показывая в окно, — стоит один-одинешенек. Никто с ним не играет». Учителя смотрели туда, куда показывал его палец, — на дровяной сарай. Прислонясь к стене, Сиднер стоял совершенно неподвижно, правая рука прижата к телу, будто он что-то прятал под курткой, и учитель знал, что там обломки пластинок, с которыми мальчик упорно не желал расстаться. Снег тяжелыми хлопьями падал ему на плечи, на кепку. Играющие ребятишки обегали его стороной, бросая испуганные косые взгляды.

На уроке, раздавая сочинения, магистр Стольберг испытывал замешательство.

— Сиднер, — сказал он, после того как охарактеризовал жалкие письменные труды остальных, — Сиднер, ты…

Сиднер вскочил за партой, замер, глядя прямо

сквозь учителя, ни один мускул у него на лице не дрогнул.

— Ты написал немножко странноватое сочинение. Язык у тебя превосходный, но разве это воспоминание о Рождестве? Ты ведь не присутствовал при этом, верно?

— А разве сказано, что нужно присутствовать?

Магистр Стольберг сглотнул.

— Да, тут ты, конечно, прав. Но присутствие подразумевается как бы само собой.

А почему, собственно? — подумал он. Мальчик прав.

— Вдобавок здесь встречаются непривычные слова, например *candies* — что это?

— Это особый сорт сластей, учитель.

— Почему же ты так прямо и не написал?

— Я подумал, что будет не очень-то хорошо, если написать: «Он забыл купить особый сорт сластей». Candies — сласти из Америки.

— Бах, помнится мне, жил в Германии. Не стоит оригинальничать, Сиднер.

— Простите, учитель. — Глаза у Сиднера наполнились слезами. — Я ничего такого не имел в виду, учитель.

— Садись, мальчик. Я все понимаю.

Следующая тема, через несколько месяцев,

была — «Чему можно научиться в лесу и в поле».

> «Гуляя в лесу и в поле, можно научиться многому. В одной книге, которую я как-то раз после обеда читал возле торфяника Громюрен, неподалеку от того места, где жил до прошлого года, я вычитал, что Иоганн Себастьян Бах родился в 1689 году в немецком городе Эйзенахе и что женат он был дважды, так как первая его жена умерла от тяжелой простуды. У него было много детей…»

— Сиднер!

Сиднер уже встал. Одноклассники глядят на него. Класс всегда умолкает, когда Сиднер встает. В комнате пахнет влажной шерстью и печкой, за окном висит густой туман, кашель и сопенье стихают. Стольберг колеблется, смотрит в тетрадь, исписанную угловатым, размашистым почерком, без орфографических ошибок, с правильными переносами, все запятые и те на своих местах. Лишь немного погодя он решается восстановить свой учительский авторитет и в следующую же секунду осознает, что лучше было бы промолчать.

— Сиднер, ты неправильно понял задание. Речь шла совсем о другом.

— Но, учитель… Я же узнал все это в лесу и в поле.

— Можешь сесть!

— Вы сердитесь?

Стольберг качает головой.

Мальчик вновь скользит прочь, по волнам своей отрешенности. Во всяком случае, вид у него именно такой. Однако ж уличить его в лени, в невнимательности учителю не удавалось никогда.

Ведь Стольберг и сам встречался с Сульвейг, потому что пел в церковном хоре и должен был участвовать в Рождественской оратории. Он знает, что идея принадлежала Сульвейг Нурденссон, и помнит, какая торжественная тишина воцарилась в тот день, когда она выступила с этим предложением. Помнит, как кантор Янке встрепенулся и долго смотрел на нее, а было это после крайне неудачной репетиции нескольких незатейливых весенних песен доя концерта на церковном крыльце, по случаю Встречи весны[26]. Янке выпрямился на органных хорах во весь рост и так фыркнул, что забрызгал слюной балюстраду

---

[26] Примечания: 26

Отмечается в последний день апреля; праздник шведских студентов.

и кричаще-красный портрет Хакина Спегеля[27].

«Рождественская оратория! Бах? Мы?»

Янке был большой музыкант, в свое время он приехал из Стокгольма, с множеством дерзких планов, осуществить которые суннескому хору было не под силу. Услышав предложение Сульвейг, он всю ночь глаз не мог сомкнуть, посадил на закорки младшую дочку и до утра бродил по кладбищу. Только промочив ноги, он заметил, что ходил по раскисшим от дождя дорожкам в домашних тапках, без пальто, с непокрытой головой, да это бы еще полбеды, ничего ему не сделается, куда хуже обстояло с дочкой — она была в ночной рубашонке и схватила тяжелую простуду, которая до самой середины лета держала все семейство в тревоге.

Кантор Янке сознавал тщету своей жизни. Сорок три года уже, а из замыслов его ничто толком не свершилось. На следующей неделе он так и сказал хористам:

— В юности я мечтал стать великим музыкантом. Лелеял ребячливые надежды сделаться дирижером, разъезжать по городам Европы, подчиняя хоры и оркестры моей дирижерской

---

[27] Примечания: 27

Спегель Хакин (1645–1714) — шведский церковный деятель (епископ, затем архиепископ); скальд.

палочке. Но вышло иначе. Я приехал сюда. Хор из вас неважнецкий, хотя вина тут не ваша, а общества. Для большинства людей музыка ничего не значит. И я рад, что сюда вообще кто-то приходит. За исключением тебя, Сульвейг, все мы тут посредственности, ибо цели у нас посредственные. Однако теперь я принял решение. И тем, кто меня поддержит, поблажек не будет. Но я обещаю: через десять лет здесь, в суннеской церкви, мы исполним Рождественскую ораторию Баха. Это станет делом моей жизни. Может, первоначально я мечтал совсем о другом, но в наших обстоятельствах и это подойдет. Десять лет — срок долгий, ваши дети успеют повзрослеть, кое-кто выдохнется. И все же давайте несколько раз в неделю шаг за шагом, такт за тактом пробиваться, проникать в музыкальный космос, созданный Бахом. Я постараюсь набрать музыкантов из дансингов и духовых оркестров, буду учить молодежь, мы справимся. Согласны?

С тех пор минуло десять лет. Музыка расцвела вокруг них. Небесными крылами осеняла трубочиста, маляра, тенора, детский хор и оркестрантов, один за другим объявлялись люди с новыми талантами.

А теперь?

После смерти Сульвейг?

Когда Сульвейг хоронили, Янке вскинул руки, и хор запел, но после двух-трех тактов, на том самом месте, где голос Сульвейг отделялся от остальных, взмывал ввысь и ласточкой порхал под благоуханно-медовой сенью кладбищенских лип, — на том самом месте они вдруг умолкли, и хор, и оркестр, и дирижер, все голоса целого городка, и за всю осень ни один так и не смог начать вновь…

Последнее сочинение Сиднера для магистра Стольберга называлось «Весенний день». Сиднеру велено было прочесть его одноклассникам вслух, а магистр Стольберг стоял у него за спиной, помахивая указкой.

> «Однажды погожим весенним днем Иоганн Себастьян Бах отправился со своей семьей за город. Птички щебетали в кронах деревьев, журчали ручьи, дороги повсюду развезло, но в конце концов они нашли место, где можно было посидеть, поесть хлебца, выпить вина. (Класс нервно встрепенулся.) Сидели они у самого ручья, младший сынишка — Иоганн Филип Эммануил — устроился на коленях

у матери. Старшие братья захватили с собою флейты. И вдвоем сыграли тему из папина четвертого Бранденбургского концерта. Звучала она очень красиво. Солнце пригревало, и немного погодя мать и отец разделись и сидели нагишом, подставляя себя солнечным лучам. (Класс, как по команде, прикрыл рот рукой и прыснул. Сиднер оторвал взгляд от тетради и нерешительно улыбнулся…) Потом они легли на землю, прижались друг к другу…»

— Довольно, Сиднер! — вскричал учитель.

Класс затаил дыхание. Сиднер открыл рот. Он недоумевал. Смотрел то на одного, то на другого, прислонясь спиной к черной доске.

— Дай сюда тетрадь, — прошипел учитель.

Сиднер молча протянул ему сочинение.

— Вот как поступают с этакой белибердой. — И магистр Стольберг, у которого нынче выдался плохой день, в клочья разорвал тетрадку и бросил в печь.

Учительская тоже притихла, когда Стольберг пересказывал избранные отрывки из Сиднерова сочинения. Кое-кто из пожилых педагогов про-

ворчал, что мальчишку следовало бы исключить из школы, но другие возразили, что он, верно, не совсем в здравом уме и что за этакую непристойную писанину надо, конечно, наказывать, однако ж все помнили, что дали слово быть терпеливыми, и призадумались: неужто дома у Сульвейг и Арона впрямь было так?

Сам Сиднер все истолковал превратно. Решил, что учитель рассердился из-за того, что он опять написал про житье-бытье семейства Бах, но ведь он иначе не мог. Только здесь зажигались его слова. Здесь был источник фантазии и отрада. Здесь ключом кипели слова и рассказы, причем он уже толком не знал, вправду ли слышал их от Сульвейг или просто хотел, чтобы так было, ведь у него в голове слагались бесконечные истории о семействе, из сердцевины которого струилась Великая Музыка.

С того дня он больше не мог писать. Страницы оставались чистыми.

Зато можно было читать.

Открыть толстую книгу и окунуться в нее с головой! На одной странице — джунгли, на другой — бурливая река. И никто тебя не достанет на узком карнизе меж Точкой и Заглавной буквой. Можно мокрицей заползти меж бумагой и

словом, притаиться там и лишь изредка выглядывать. Можно пощекотать слова по спинкам, и тогда они засмеются, внятно для него одного. Можно бродить в словесном лесу, где так красиво играет свет, а за каждым поворотом в тексте открывается что-то новое: слова как арочные своды, как древесные кроны, как плоть и языки огня. Диковинные звери пробегают мимо, издавая дотоле неслыханные звуки. Там есть потаенные города, селенья, удивительные корабли и люди, что разговаривают всяк на свой лад. Там есть люди взрослые и уже умершие, и все они учат его таким вещам, какие ему, пожалуй, и знать-то пока рано. Многого он не понимает, и это для него огромная радость, потому что впереди, стало быть, целый мир, до которого еще предстоит дойти. Непонятное — это самое замечательное, или, как он впоследствии напишет: «Я не знаю и потому должен идти дальше».

Вдобавок можно играть. Сделать шажок в сторону и перенестись во времена музыки.

Когда он еще жил возле леса, его часто посылали в лавочку за покупками. Он с готовностью брал список и отправлялся в путь. И вот однажды он вдруг заметил, как тропинку пересекают муравьи. Большущие — исчерна-коричневые

спинки взблескивают на солнце. Сиднер нагнулся и — угодил прямиком *под* время. Когда его нашли ползущим по земле, лицом вниз, когда после долгих безответных окликов и увещеваний потрепали по спине, он ничуть не удивился, встал и сказал: «Ну, я просто… Лучше я пойду». Как ребенок, он имел на это право, потому что детям не выдержать без способности удирать из тесного узилища тела; расти — значит отступаться от этой способности.

Ворота ржавеют.

Но врата музыки не заржавели. По тайным стёжкам клавиш пробирался он сквозь джунгли притязаний и неудач. Наклонив голову, полузакрыв глаза, поднялся на вершину, где распахивались дороги. Там он запрокинул голову, открыл глаза и улыбнулся: прошел!

Неприступный и одинокий среди музыки. Словно на большой сверкающей льдине, на которую солнце роняет капли золота.

Вокруг этой льдины могли звонить телефоны.

И будут звонить.

Особо доверенные возчики подвозят на телегах столитровые бочки к крепко запертому винному

погребу гостиницы «Сунне». Швейцар Арон Нурденссон, отперев дверь, принимает груз, а его сын Сиднер помогает закатывать бочки в просторное складское помещение. Затем возчики вручают Арону коробку с конвертами — там этикетки для водки, хереса, шампанского, ликеров, красивые, яркие, цветные наклейки с французскими и немецкими надписями. Пустые, чистые бутылки с узкими и широкими плечиками, удлиненные и четырехгранные, стоят на полках. Арон расписывается в получении и провожает возчиков на гостиничную кухню, где их накормят, а Сиднеру говорит:

— Останься здесь, покарауль. — Он закрывает за собой дверь, и Сиднер усаживается на скамейку между бочками, над ним горит голая электрическая лампочка, шаги за дверью смолкают, он сидит тихо, одна рука сжата в кулак, рот приоткрыт, голова слегка откинута назад.

Так он может просидеть и час, и целый день. Ему незачем двигаться. Но он двигается, когда велит Арон. Когда велит учитель. Сразу же встает и отвечает все, что знает. Кто-то сказал, нарочно громко, чтобы он слышал: свет рассудка-де в нем вот-вот погаснет.

Но это неправда.

Когда возчики накормлены, Арон возвращается, и они вдвоем наполняют бутылки, приклеивают этикетки, запечатывают, оборачивают горлышки станиолем, расставляют ровными рядами. Пятьсот бутылок водки, двести — хереса и множество других. Работают оба молча, прислушиваются к шагам снаружи, народ любит околачиваться тут вечерами, когда на торвнесских фабриках кончается смена; пять-шесть десятков работяг по дороге домой задерживаются возле гостиницы потолковать напоследок, иной раз, наверно, и заглядывают в зарешеченное оконце, чтоб увидеть хоть частичку этой роскоши, а может, просто в надежде на чудо! Вдруг дверь отворится, и все будет тихо, никаких сторожей, и один за другим они войдут в дивно освещенный погреб и наберут себе бутылок.

— Запомни, Сиднер, не позволяй никому морочить тебе голову; ни за деньги, ни за что другое не разрешай никому даже заглянуть сюда. Мы тут опасным делом занимаемся.

— Да, папа.

— Кто-нибудь уже пробовал?

— Да, дяденька один как-то посулил мне деньги, большущую монету. Показал ее мне в окошко и в дверь ломился, заметил, что ты ушел и оставил

меня одного. Я такой монеты никогда не видал, большая, блестящая, как солнце, аж смотреть больно, но я отвернулся.

— Какого она была размера?

Сиднер показал на пальцах.

— Такого размера бывают только медали для призовых лошадей. Они мало что стоят. — Большими ножницами Арон отрезал кусок станиолевой ленты. — Сущее безобразие с этой выпивкой.

— Но все говорят, что без выпивки дела не делаются.

— Так и дела, видать, такое же безобразие.

А дни идут. Музыки меж ними нет. И оба отчаянно по ней тоскуют.

— Пожалуй, пора тебе, Сиднер, сходить к Берил за Евой-Лисой.

— Да, папа. Боюсь, не заразилась ли она корью. Нынче утром я заметил у нее много красных пятнышек.

— Тогда придется тебе посидеть дома, присмотреть за нею.

Ползучие слова между ними. Всю зиму эти слова ощупью пробиваются к преграде, что внутри каждого из них. Снова и снова пробуют добраться до улыбки, до внезапного всплеска крыльев, взлета прямо ввысь. Но ничего не выходит. Оба

поглощены могучими образами. К примеру, глядя на свои руки, неуклюжие руки, которые Сульвейг однажды положила на клавиши пианино, Арон вспоминает:

«Вот, Арон, это гамма, пам-пам-пам!» Пальцы двигаются по черно-белой дорожке, неловко цепляют сразу по две клавиши.

«Не получается».

«Получится, Арон, вот так, хорошо».

«Да ведь негоже крестьянину вроде меня…»

«Там-там-там».

Весна и осень.

«А теперь менуэт, он нетрудный, послушай, как красиво!» Лето и зима. И пианино, эта чуть ли не враждебная штуковина, покоряется, в один прекрасный день он может сказать: наше пианино. Как он смаковал эти слова, когда шел на скотный двор и чистил стойла: может, переставим наше пианино в большую комнату? Его руки. Ее руки. Вспыхни, звездочка моя, чтоб увидел я тебя.

«Сиднер, подпевай!»

И однажды Арон произносит это вслух, проявляет инициативу, хочет музыки, высказывает желание.

«Как алмаз во тьме ночной, ярко светит образ твой… Ева-Лиса, ты тоже пой: как алмаз во тьме

ночной…»

«Слышишь, что умеют твои руки, Арон».

И он, вываливая тачку на навозную кучу, холодными ранними утрами, наедине с утренней звездою, бывало, вытягивал руки перед собой и словно бы присматривался к ним. Они мои. Как алмаз во тьме ночной!

Но какие они теперь, его руки!

Арон чувствовал себя ничтожеством, плебеем. И руки у него были ничтожные, плебейские, когда он в темном костюме и белой сорочке открывал дверь шикарным магнатам-лесопромышленникам из Европы, которые останавливались в гостинице и вели там переговоры о ценах на древесину. Какие робкие взгляды он бросал на себя в зеркало, одеваясь к вечерним празднествам, где будет тенью меж кухней и вестибюлем. Как-то раз, когда он поправлял перед зеркалом галстук-бабочку, вошел хозяин, Бьёрк.

— Отлично, Арон, просто шик-блеск. Классно выглядишь.

Оценил и одобрил.

— Кстати говоря, Арон, думаю, нам пора перейти на «ты». Когда никто не слышит, ясное дело.

— Спасибо, хозяин.

— Не стоит благодарности, можешь звать меня

Юхан. Если уж на то пошло, мы оба вермландцы. Кстати, возьми на кухне чего-нибудь вкусненького для ребятишек.

Бьёрк разглядывает ближние к себе вещи, недавно купленную мебель, проводит пальцем по золоченой раме зеркала, передвигает горшок с пальмой, так что перистый узор поворачивается наружу, и, склонив голову набок, отступает на шаг-другой назад.

— Как ее зовут-то, дочку твою? Очень милая девочка.

— Ева-Лиса.

— Точно, Ева-Лиса. — Бьёрк поворачивает пальму еще чуточку вправо, расправляет занавеску, прижимает лицо к стеклу. — Снег-то какой повалил. Будем надеяться, гости не запоздают.

— Да, будем надеяться, Юхан.

Хозяин изумленно оборачивается, переводит дух, вспоминает.

— Молодец, Арон, соображаешь, что к чему. — Он засовывает большие пальцы в проймы жилетки. — Присмотри, чтобы все было чин чином. — А когда из кухни выходит кухарка с горой тарелок и оглушительный шум доносится даже сюда, на верхотуру, он добавляет: — Тебя, наверно, не затруднит организовать…

Арон тотчас готов выскочить на лестницу.

— Извини, Арон, я вовсе не имел в виду, что… Задумался о своем…

— Мне пора идти за вином, хозяин.

Впервые он чувствует, как им помыкают, как чужая воля сетью опутывает его. Обида режет ножом, и Арон вспоминает отца, печника Нурденссона, который раздавал заработанные деньги всем, кто в них нуждался, а в молодые годы занимался политикой, был, что называется, вольнодумцем. Он в лепешку расшибался, добиваясь, чтобы в город провели телефон, больше всех старался, но, когда пришло время отрядить делегатов на переговоры в Стокгольм, его мигом спровадили: дескать, колченогому там не место.

«Выходит, Арон, я для них неполноценный».

Он забросил все свои поручения, а в общественной жизни тут и там возникли прорехи, ведь он много чем занимался и во многом был незаменим. К социалистам его опять же не тянуло, хоть и повинились перед ним, и прощенья попросили. Устал Нурденссон, и точка. Он переехал, купил себе усадьбу, и в городе стали судачить, что он не в меру обидчив.

А теперь вот, спустя годы, хозяин вроде как задабривает Арона, кричит вниз:

— Да, вот еще что, Арон. Я тут граммофон купил, ну и подумал, может, ты разбираешься… женато у тебя как-никак из Америки была. Ты про джаз что-нибудь слыхал?

Арон стоит, слушая тишину, снежинки падают ему на ресницы. Хозяин выходит следом за ним на крыльцо.

— Что-нибудь этакое, shocking, как говорится!

— Хорошо, Юхан.

Сульвейг джазом не увлекалась, ее интересовала другая музыка, но она с удовольствием наигрывала мелодии, которые они слышали по радио, переводила слова, подпевала. Поэтому, войдя в магазин Грандина «Граммофоны и электротовары», Арон все ж таки худо-бедно представлял себе свою задачу. Только руки постоянно ему мешали, когда он перебирал стопку пластинок. Это ведь не работа. Физическая сила дана ему не затем, чтобы выбирать пластинки.

— Мне надо что-нибудь shocking. Для Бьёрка из гостиницы.

Приказчик расцвел. И пока Арон отбирал и складывал стопкой знакомые имена: «Хот-сек-стет» Джимми Лансфорда, Симфонический оркестр легкой музыки Пола Уайтмена, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, — иголка заплясала

по пластинке:

Я тут решил: чтоб моду догнать,
Как Кейт сестрица надо шимми плясать.
Старался как мог, и все было зря,
Но Кейт ни при чем тут, сестра моя.

После уроков Сиднер зарывался в свои книжки или садился за пианино и упорно разучивал пьесы, которые задавал ему кантор Янке, а Ева-Лиса меж тем с виноватой улыбкой убегала из печали, вечно цепляясь одной косичкой за дверь. Во дворе ею тотчас завладевали friends, поджидавшие то за винным погребом, то в мастерской у Турина, ведь в мастерской вечно толклись ребятишки, потому что Турин искусно лепил из глины всяких зверушек: лебеди, слоны, лошадки будто сами собой возникали у него в руках и смотрели так умильно, так жалобно — не хочешь, да возьмешь. Friends Евы-Лисы поджидали в яблонях, за живыми изгородями и на склонах железнодорожной насыпи, среди пижмы и люпинов. Арон и Сиднер слышали, как летними вечерами набегали волны смеха, видели, как мелькают голые ноги,

слышали заговорщицкий шепоток на лестнице, где они сидели, перелистывая таинственные девчоночьи словари. Красные мячики взлетали за окнами, руки тянулись вверх, делили небо на разноцветные участки.

Ева-Лиса убегала на открытые места — на улицы, на запретную лесопилку, на пляжи.

Когда он шагал мимо кладбищенской стены, в листве клена зашуршало:

— Хо-хо. I am a bird. — Щелка между зубами зияет во всю ширь. — I live here with my friends[28].

Сиднер попробовал улыбнуться этому, единственной улыбкой, что существовала в его мире.

— We are building пещерку. Are you a bird?[29]

— No, I am not a bird[30].

— Goodbye, Notbird![31]

Он шел по Юллебюской дороге, заложив руки за спину. Зреющие пшеничные поля, песни жаворонков, легкий ветерок гудит в телефонных

---

[28] Примечания: 28
Я птица… Я живу здесь с друзьями *(англ.).*

[29] Примечания: 29
Мы строим… Ты тоже птица? *(англ.).*

[30] Примечания: 30
Нет, я не птица *(англ.).*

[31] Примечания: 31
Пока, Нептица! *(англ.).*

проводах, как вдруг в одном месте близ дороги колосья полегли.

— Good morning, Mr Notbird[32].

Взрыв смешков — он остановился, поискал игровые слова, но они были много дальше, чем Эстаноские холмы, и он сам услыхал, как убого прозвучала его реплика:

— Нельзя туда заходить, нельзя мять колосья.

Вот что у него вырвалось, а ведь он хотел примкнуть к компании friends, что приминали пшеницу своими гибкими телами. Хотел шагнуть туда, к ним, ощутить, как множество цепких ручонок тянет его в глубину, но не посмел окунуть в это море даже пальцы ног, стоял на берегу, стараясь сохранить благоприличный вид.

— Куропатки, — сказал он. — Вы точь-в-точь куропатки! — Вдогонку словам он послал слабую улыбку, но улыбка запоздала, и в ответ послышалось:

— We are no куропатки, we are буропатки!

Смешки и шорохи!

Как это она может находиться за пределами мрака? — дивился он. Не сразу дошло до него, что, оставаясь на свету, она взяла на себя огромный

---

[32] Примечания: 32
Доброе утро, мистер Нептица *(англ.).*

труд, как бы стремилась показать ему, что свет по-прежнему существует. Словно яркая комета, она и ее friends кружили окрест гостиницы, искры так и летели во все стороны, вспыхивали повсюду, настигали его на том месте, где он еще и следующей осенью одиноко стоял среди яблонь. Простодушные жестокости гнали его во мрак. К примеру, записочка на кухонном столе:

> Dear Mr Notbird, I am going в кино «Cara» tonight with my Friends. Are you going there with your Notfriends?
>
> ***A bird***[33]

А порой один только взгляд, одно слово заставляли его бежать. Ведь от всего сказанного шло сильнейшее *излучение,* и направлено это излучение было против него. Оттого и мрак яблоневых садов, оттого и недвижность, кататония.

Оттого-то однажды вечером он в курточке-

---

[33] Примечания: 33

Дорогой мистер Нептица, я сегодня вечером иду… с моими друзьями. Ты пойдешь туда с твоими недрузьями? Птица.

(англ.)

штормовке и в кепке стоял на ветру и декламировал:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей дивный ужас в памяти несу![34]

Стоял он лицом к саду фабриканта Юл*и*на, и было уже совсем темно.

Так горек он, что смерть едва ли слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про всё, что видел в этой чаще.
Не помню сам, как я вошел туда,
Насколько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа.

Совсем рядом вдруг послышался жалобный и одновременно яростный голос:

— Пособи мне. Пособи, ч-черт.

---

[34] Примечания: 34

Здесь и далее «Божественная комедия» Данте цитируется в переводе М. Лозинского.

Навстречу ему сверкнули два бешеных глаза.

— Фу, ну и нагнал ты на меня страху… Чего делаешь на заборе-то?

— Вишу, — сказали глаза. — Пособи отцепиться, ради Сельминой правой туфли.

— Ужас как я напугался. — Сиднер подошел ближе, присмотрелся. — Ступня у тебя застряла.

— Сам знаю, поверни ее маленько, чтоб вытащилась. Во-во, порядок. Спасибочки.

Мальчик его возраста, только ростом пониже, свалился с забора возле Сиднера.

— Ч-черт, я уж думал, мне крышка… Бери яблоки, и бежим отсюдова, а то, не ровен час, она заявится… — Мальчик встал на ноги и шагнул вплотную к Сиднеру. — Я думал, она за мной гонится, старуха Юлин, но, видать, это была лисица. Ты чего тут читал, а?

— Так, ничего.

— Сам сочинил?

— Нет, это… Данте.

— Зд***о***ровские стишата, честно.

— Тебе понравилось? А я думал, тут меня никто не найдет.

— Классное место, лучше не бывает.

— Ты, что ли, яблоки воровал?

— И сливы. Угощайся… А теперь линяем, вдруг

все ж таки припрется, старуха-то. Пошли на озеро, к дровяному сараю.

Сиднерова друга звали Сплендид, в честь карлстадской гостиницы «Сплендид», где он был зачат в ту первую ночь, которую его будущие родители провели там вдвоем. Шикарная гостиница, с лифтом, Сплендидова мама никогда не забывала об этом упомянуть. Попали они туда ненароком, потому что сестра, которую они собирались навестить во время свадебного путешествия, случайно сломала ногу и лежала в больнице, лишенная всякой связи с внешним миром. Священник, девять месяцев спустя призванный для совершения обряда, твердил: «Не могу я крестить младенца Сплендидом», — но родители стояли на своем: «Или Сплендид, или вообще никак». Делать нечего, священнику пришлось подчиниться, и Сплендид, который во время церемонии помалкивал, как и подобало младенцу, зачатому в столь роскошной обстановке, — Сплендид никогда против своего имени не возражал. В поразительно короткие сроки он вырос из крестильного платьица, нацепил кепку и превратился в грозу городских яблоневых садов; вот так все и обстояло в тот достопамятный сентябрьский вечер, когда они с Сиднером позна-

комились. Сплендид и в этот вечер не упустил своей выгоды и с помощью приставной лестницы методично обирал юлиновские груши, яблони и сливы, пока ему, стало быть, не померещились в траве шаги фабрикантши и он не налетел на забор, где намертво застрял, коротая время за ненавистью к Юлину, который однажды — и вполне обоснованно — обвинил его в том, что, затеяв игру в его, Юлиновой, лодке, он вдобавок упустил одно весло, а южный ветер быстро унес оное за пределы зримого мира.

Сиднер никак не ожидал обнаружить в дотоле неизвестном ему дровяном сарае такой порядок. Фрукты ровными рядами лежали на полках, гладкие, блестящие, все хвостиками в одну сторону, на подстилке из газеты «Фрюксдальс-Бюгден». Новая партия оказалась столь велика, что Сплендиду пришлось произвести на полках прореживание и через дырку в стене отправить кое-что наружу.

— Как тут здорово. А фруктов сколько!

— Ага, и впрямь многовато.

— Что ж ты не бросишь воровать?

— Ну, по-моему, буржуям этакую прорву фруктов нипочем не слопать. Возьми еще сливку-то.

— Спасибо, — сказал Сиднер, а Сплендид, заметив его растерянность, добавил:

— Косточки можешь выплевывать на пол. Как тебя зовут?

— Сиднер.

Сплендид обошел вокруг него, рассмотрел хорошенько, потом кивнул.

— Ага. Стало быть, это ты живешь на верхотуре, над гостиницей. Мамашу твою коровы затоптали…

— Когда она поехала на Рождественскую ораторию.

— А папаша твой работает в винном погребе у этого, у Бьёрка. Меня зовут Сплендид. Мой папаша был король воздуха.

— Король воздуха?

— Ног у него, правда, нету. Упал, вот какая штука.

— Вообще нету ног?

— Только маленькие култышки остались. Ездит по полу на тележке. Коли охота поглядеть на него, айда к нам домой. Газету сегодняшнюю читал?

Сиднер насупился, помотал головой.

— Тогда садись посиди чуток.

Сплендид уселся на пол, на чистый желто-красный лоскутный половик в углу между поленницами. Читал, обдумывал, кивал и, как старый дед, нет-нет да и бормотал себе под нос

какие-то фразы, словно пробуя их на вкус.

— «Сунне выиграл у Мункфорса со счетом пять — два. Голы забили Бенгтссон и Ламминг». — Он взглянул на Сиднера, который так и не решился сесть и чувствовал себя точь-в-точь будто в гостях у турецкого султана. — Ламминг этот — мой дядька по матери. Знаешь, какой у него дриблинг! Мяч как приклеенный — сто пятьдесят шесть раз с ноги на ногу. Ты так могешь? Я могу пятнадцать. А ты?

Сиднер сглотнул.

— Ну сколько? Десять? Пять?

Сиднер смотрел в пол, на стружки и опилки.

— Ты чё, онемел?

— Да нет.

— Так как у тебя с дриблингом?

— Не знаю. Не знаю, что это значит.

— Дриблинг! Неужто не знаешь? Чем же ты занимаешься? Днем, когда не в школе?

— Ничем.

Сплендид с жалостью посмотрел на него, кивнул на полки с фруктами.

— Бери сливы-то. Сколько хошь бери. Та-ак, стал' быть, ничем?

— На пианино немножко играю, и все такое. Читаю.

— Маму-то твою давно затоптали?

— Четыреста восемьдесят шесть дней назад.

— Понятно. Вы, значит, выпивку по бутылкам разливаете в гостинице. Сам-то пробовал?

Сиднер покачал головой.

— Ну хоть чуток? Хоть палец разок облизал?

— Папа трезвенник. Потому его и взяли на эту работу.

Сплендид понимающе кивнул:

— Он небось впрямь залютует, Бьёрк-то, ежели ты рюмашку хватанешь. Зажилился на фиг. А ведь богатый мужик. Самый, считай, богатый в Сунне. Мамаша говорит, он бесперечь яичницей питается. Причем без молока. И луком сверху посыпает. — Сплендид тяжело вздохнул. — Они, должно, все такие. Юлины тоже богатые. Видал, какие у него башмаки? Спереди сплошь в дырочку, белые с коричневым. Вот вырасту, беспременно себе такие куплю. — Сплендид встал. — Ну ладно! — Он будто узнал о жизни что-то новое и спрятал эти знания в копилку. — Завтра увидимся.

Они ходят в разные школы, однако ж назавтра Сплендид стоит у ворот, ждет Сиднера. При свете дня Сиднер может рассмотреть его как следует: маленький, на целую голову ниже его самого,

худенький, тщедушный, черные волосы падают из-под кепки на лоб.

— Слышь, давай сходим к пробсту Верме.

— Зачем?

— Позырим, дома он или нет.

Они идут по городку, очень медленно, потому что Сплендид поминутно ныряет в подъезды, забегает на задворки, роется в мусорных баках, влезает на деревья, в одном месте показывает Сиднеру дупло, где можно до завтра спрятать учебники, чтобы не таскать их с собой. Неподалеку от дороги к церкви он вдруг говорит:

— Твой дед по матери был тут пробстом, давно еще. А потом обчистил церковную кассу и рванул в Америку.

— Ну-у, — бурчит Сиднер.

— После он прислал сюда гроб, чтоб народ думал, будто помер он, а там были одни камни.

— Не знаю, правда ли это.

— А по мне, так без разницы, — сказал Сплендид. — По-моему, он классно все провернул. Чертовски классно. Он чё, держал в Штатах gambling house[35], да?

— Дедушка был поммолог.

---

[35] Примечания: 35
Игорный дом *(англ.).*

— Чё это такое?

— Яблоки выращивал, самых разных сортов.

— А-а, про это я знаю. Мы потому и идем к Верме. Яблоки у него — закачаешься.

— Яблони еще мой дедушка сажал.

— Ты его видал?

— Нет, он давно уже умер. Поэтому мама, и дядя Турин, и дядя Слейпнер вернулись сюда. Мама еще девочкой была, когда он умер. А в завещании он написал, что тут, мол, остался дом, который принадлежал ему.

— Все-таки здоровско он это дельце обтяпал. Ну а теперь сымай башмаки!

— Зачем?

— Говорят тебе, сымай! Сунь их под рубаху, чтоб не видать было.

Босиком они идут по дорожке мимо склада, спускаются под горку к пасторскому дому. Пробст, заложив руки за спину, стоит на веранде и глядит в сад.

— Ага, так и есть, три часа. Об эту пору он завсегда тут стоит. Гляди не показывай башмаки-то. Доброго денечка вам, пробст!

— Здравствуйте, мальчики. Гуляете, стало быть. А не холодно вам босиком-то?

— Холодновато, — вздыхает Сплендид. И с во-

жделением смотрит на заросли дикой сливы и на деревья, изнемогающие под бременем спелых плодов.

— Погодите, я сейчас, угощу вас отменными яблоками.

Пробст Верме — мужчина дородный, внушительный, седая шевелюра развевается, когда он пересекает садовую дорожку, напевая «О чело в кровавых ранах». Останавливается и, заложив руки за спину, обозревает тяжелую ветку. «От глумленья и обид». Он поднимается на цыпочки, но не достает. «О чело в венце терновом». Чуть подпрыгнув, пробст хватается за ветку, и яблоки градом сыплются наземь. «Поникшее в горе большом».

— Берите, ребятки. И родителям домой прихватите.

Немного погодя оба сидят на площади возле церкви, зашнуровывают башмаки. Сидят под облетевшим кустом бузины, где обнажается каменная плита.

Сплендид сияет.

— Ну, что я говорил? В башмаках фиг чего получишь. Он только босых угощает. Думает, они бедные. Хошь, возьми и мои яблоки.

— Не знаю, вроде и есть неохота.

— Ага, точно. Об эту пору они уже в печенках сидят. И в нужник то и дело шастать приходится.

— Зачем же ты берешь столько много?

— Ну, мне нравится, что они… такие красивые… Прямо глаз не отвесть. И можно про них думать.

Вот тут-то дружба начинается по-настоящему.

— Да, они очень красивые.

— Я так и думал, что тебе тоже понравятся.

Под девизом «Век живи, век учись» Сплендид и его оруженосец Сиднер слонялись по городу, и Сплендид открывал другу мир, кусочек за кусочком. Они наведываются на Торвнесвеген с ее мелкими фабричками. Бритвенная фабрика, камвольная фабрика «Тиден», кирпичный заводик. Сплендид повсюду как дома — на железнодорожном вокзале, в Центральном объединении, на молочном заводе; везде ему рады, и повсюду он начинает разговор одинаково:

— Это вот Сиднер, он в гостинице живет, а папаша его начальствует у Бьёрка над винным погребом, а сам вообще не пьет.

Остальное он опускает, всем и так все известно, неловких пауз не возникает, и тем не менее Сиднер лишь спустя много лет осознает, что мир

сумел-таки проникнуть сквозь оболочку его нервов, — чтобы понимание созрело, нужно время. И в один прекрасный день Сплендид ведет его к себе домой и прямо с порога объявляет:

— Вот он.

Словно его тут ждут. Словно он вправду важная персона.

Сплендид из бедных. Живет он в домишке возле Тоттхагена, неподалеку от больницы. Маленький белый домишко стоит на опушке леса. Дверь приоткрыта, куры шныряют то в дом, то опять на улицу. Кроличьи клетки среди деревьев. Мать Сплендида, с виду замотанная, серая, не как Сульвейг, стоит у колоды и топориком рубит голову петуху. Безголовый петух мечется по кругу, потом падает у ее ног. В тишине на землю сыплются перья.

На кухне Сплендид умолкает, чтобы Сиднер без помех познакомился с его отцом.

Словно здесь причина и объяснение всему.

И Сиднер смотрит на этот обрубок, на отца, который сидит у окна, за низким столиком, этак с полметра высотой, мастерит деревянные ложки. Ноги у него отрезаны выше колен. Одна половина лица как бы продавлена, часть виска отсутствует. Но глаза на месте, руки тоже. Очки съехали почти

на кончик носа, а нос опять же продавлен или сломан. Калека поворачивает колеса тележки и беззубо смеется навстречу Сиднеру.

Кукольный мир — возле одной стены короткая низкая кровать, рядом шкафчик с инструментами, на полу большущий радиоприемник, плевательница с веточками можжевельника, покрывало на кровати из настоящего плюша, темно-красное.

Сиднеру требуется время, чтобы переварить впечатления, Сплендид его не торопит, стоит возле крана, пьет, потом протягивает ковшик Сиднеру:

— Холодная, вкусная!

На комоде фотографии молодого мужчины в полосатом обтяжном трико. На голове у него котелок, в руке тросточка. Длинные напомаженные усы. А рядом пудель в пиджаке и галстуке, на задних лапах. Один снимок изображает молодого человека на фоне Эйфелевой башни, другой — перед каким-то дворцом, на третьем он стоит наклонясь над парапетом моста, под которым плавают лебеди.

А барабаны рокочут, дробь нарастает, Сиднер затаил дыхание, громкоговорители горланят на всю кухню, а кухня — это увеселительный парк,

это мир.

— Дамы и господа! Сенсационный аттракцион, человек-ядро — Фонзо!

Молнии и гром, Сиднер ахает вместе с сотней, тысячей других изумленных, запрокинутых вверх лиц.

— А я летел, как всегда мечтал лететь, по широкой дуге над лужайкой родного дома в Смоланде, летел все выше, выше, и мои родители стояли внизу и кричали: «Альфонс, малыш, смотри не сломай шею!», а я летел, и наш сосед, губернский прокурор, кричал: «Альфонс, не опозорь шведский флаг!», а другой наш сосед, пробст, старый гуманист, твердил: «Альфонс, будь осторожен, не взлетай слишком высоко, как Икар», я помню его седые усы и как я стыдился пушка, который потихоньку превратился в напомаженные усищи.

Снова громкоговорители, на многих языках, в разноцветье огней над кухней, над Парижем, над Веной:

— А теперь, дамы и господа, прекрасная мисс Лола и Фонзо, король воздуха, покоривший весь континент.

— И я летел над сверкающим проливом в сторону Копенгагена, где гавань была полна кораблей и флагов, летел над железной дорогой, гремевшей

южнее. В сторону Киля. Гамбурга. И дирижабли летели рядом со мною, словно толстые сигары, пилоты выглядывали из гондол и махали мне руками, но я оставлял их позади. Запах опилок, и лошадей, и тепла, когда цирковой шатер пустел. Мисс Лола из Маркарюда была на афишах красным цветком. А я — голубым, так в веселую минуту изобразил нас ее муж, который под гром барабанов стрелял мною из пушки. Мы ездили в Рим, и я кружил над Папой Римским, помахивая тросточкой высоко над куполом собора Святого Петра, арлекин в трико и в котелке, дымящий толстой сигарой. Я взлетал над Будой, над Пештом, и эрцгерцог Фердинанд в своем изящном сюртуке наблюдал за мною. А потом Париж! О, бонжур, Париж! — кричал я. Бонжур, Фонзо! — отвечал Париж, а на Елисейских Полях Айседора Дункан танцевала для меня, и движение на улицах замирало, и шоферы в кожаных фуражках вылезали из машин и смотрели то на Айседору, то на меня. Жан Жорес тоже был там.

А мы с мисс Лолой взлетали все выше к звездам, парили в объятиях друг друга, кружили вокруг планеты Марс, вокруг жаркой Венеры. Из дальней дали доносились звуки аккордеона, затихали тарантеллы, уста к устам пред огнями

звезд, словно рыбы в забытом аквариуме.

— Дамы и господа, сенсационный аттрак…

Гром пушечного выстрела прокатился по кухне.

— А пока мы летели, на земле убрали страховочную сетку. Когда эрцгерцог Фердинанд снимал сюртук, пуля уже пронзила его, когда Жан Жорес надевал шляпу, его голову уже пробила пуля убийцы. А трава на лужайках, где в парках Европы нас ожидала отдыхающая публика, была влажная, и лица людей опущены долу.

Мы падали. Ухватиться не за что — даже лунного лучика не нашлось, ведь пушки перебили все лучи у самого основания, и приземлиться некуда, ведь ракеты погасили все звезды, и я, смеявшийся и махавший тросточкой, последний человек-ядро, мастер забытого искусства, падал вместе с мисс Лолой из Маркарюда, уста к устам, падал к выжженной земле. И очутился тут, на полу. Отсюда ничто упасть не может.

В кухне воцарилась тишина. Куриное перышко трепетало на пороге, потом вместе с мягким дыханием осени скользнуло внутрь, приблизилось к Сплендидову отцу. Тот взял его в руки, осмотрел, провел им по здоровой щеке.

— Вот так было в ту пору, — сказал Альфонс

Нильссон. — А теперь вот этак.

— Ну а вообще-то, пап?

— Вообще было тяжко.

— А все ж таки… Когда ты упал. Почему так вышло?

Они сидели на полу, Альфонс Нильссон посмотрел на дверь:

— Мама твоя не любит, когда я об этом рассказываю.

— Так ее тут нету.

— И я не знаю, поймут ли такие маленькие мальчики…

— Ну, пап. Сиднеру *нужно* услышать. Я же говорил тебе. Ему очень нужно узнать, как оно есть. Не то ведь вконец в своих раздумьях утопнет.

Альфонс Нильссон уперся костяшками пальцев в пол, толкнул тележку к двери и выглянул наружу.

— Дело было так, ребята, — прошептал он и улыбнулся. — Влюбился я в нее, в эту мисс Лолу. По правде-то ее звали Грета Свенссон. А она была замужем, за этим, за кананиром. И как-то раз он нас застукал, когда мы…

— Когда вы были вместе?

— Точно. На следующем представлении он установил пушку на неправильном расстоянии,

в десяти метрах от страховочной сетки. Когда я через три месяца очнулся в больнице, цирк вместе с канониром, Гретой и всеми моими друзьями уже плыл в Америку, на «Титанике».

Сплендид внимательно посмотрел на Сиднера.

— Мама была в этой больнице сиделкой.

— Это точно, — довольно хохотнул Альфонс Нильссон.

Потом они лежат на травяном брюхе осени и плюют по муравьям. Над ними пламенеют гроздья рябины, небо чистое, высокое, воздух еще теплый. Они норовят попасть плевком в муравьев, хоронят их в белой пене. Те некоторое время сопротивляются, но постепенно замедляют движения и, скорчившись, замирают, — пора их выудить и поглядеть, как они оживают.

— Во силачи, обалдеть можно. Малюсенькие, а силенок — ого-го!

— Зд***о***рово твой папа рассказывал!

— Вся штука небось в том, что они не думают. Другой раз мне тоже охота быть таким, ну, который прет напролом, не раздумывая. Слышь, Сиднер!! А вдруг нам только *кажется,* что мы думаем. И кто-то плюет в нас, и мы тоже барахтаемся в слюнях. И нас тоже кто-то вытаскивает и кладет на сухой листок, а мы немного погодя,

как прочухаемся, говорим: ну, старик, пронесло. И живем дальше.

— Неужто все, что он рассказывал, правда?

— Думаешь, папаша мой врет?

— Да нет.

— Загибает маленько, само собой. И пускай, по-моему, тут он в своем праве. Не больно-то весело жить без ног. Я другой раз вожу его в лес. Он птиц очень любит. Берем с собой кофию и сидим тихонечко. Ты кем будешь, когда вырастешь?

— Вряд ли я доживу до тех пор, — говорит Сиднер.

Сплендид перекатывается на спину.

— Я-то, надо быть, по отцовскому делу пойду.

— А вдруг упадешь, как он?

— Все равно дело стоящее. Хотя чудн***о***, что ни говори. Ты прикинь, летал-то он, считай, секунд двадцать за неделю. Ежели с ангажементом был порядок. Двадцать секунд, заместо того чтоб цельными днями торчать у станка на фабрике. Папаша вдобавок сказывал, что этакими вещами беспременно кто-нибудь должон заниматься. Показывать, что жизнь — штука непростая. Что есть люди особенные. Чтоб народ думал: Господи, бывают же полоумные! Очуметь можно! Он не то чтобы воображает, будто они станут ломать

себе башку над его поведением, нет, они должны думать о том, что раз в жизни видали летящего человека. Должны запомнить эту картину. Лучше всего выступать перед детьми, так он говорит, они мастера преувеличивать и всю жизнь помнят, что как-то раз видали человека, который умел летать. Папаша говорит, чувствуешь себя как бы стихотворением. По крайней мере, строчкой стиха, и кто-нибудь должон создавать такие строчки. Нельзя это дело бросать. Священники-то не бросают, и музыканты тоже. Вот как мой папаша говорит. Я думаю, ты, когда вырастешь, будешь слесарем. Если, понятно, доживешь.

— Слесарем? Почему это? Ключи буду делать, что ли?

— Не только. Двери будешь открывать всяким людям, которые не могут войти в свой дом. А этаких уйма наберется, вечно они забывают, куда задевали ключи, а бывает, карманы у них худые, по бедности. Знаешь, сколько я ключей находил, не сосчитать, другой раз за один день по нескольку штук.

— А запасных ключей у них, что ли, нету?

— У бедняков запасных ключей не бывает.

— Почему ты решил, что мне надо стать слесарем?

— Решил, и всё. Больно ты пужливый. А слесарь много людей видит. Примечает, как им живется. Разные дома, разные квартиры. Тебе на пользу пойдет.

— Никакой я не пугливый.

— Именно что пужливый. Почти что не разговариваешь.

— А вот и нет.

— Со мной уж точно. Слушать тебя замучаешься. Одно слово на языке, другое в животе застряло.

— Может, и так.

— С народом тебе надо общаться. Знаешь, сколько всего можно увидеть. К примеру, тут в лесу жил финн-углежог. Так вот: люди пошли по ягоды, а как очутились возле домишка его, чуют — вонища несусветная. Постучались — ответа нету. Тогда послали за полицией и за Херманссоном, за слесарем то есть, сам знаешь.

— Не-а, не знаю.

— Вот и прикинь. Надо знать разных других людей, тогда все одолеешь.

— И как же оно было?

— Ух, ты с этим делом ни в жисть бы не совладал.

— Да чем все кончилось-то?

— Ладно, так и быть, слушай, только чур, пеняй на себя.

Сиднер хмыкнул:

— Мухи там были здоровущие, ровно шмели, скажу я тебе. Мохнатые такие. Штук тридцать — сорок. Солнце светило в комнату, и они блестели то зеленым, то синим. Хоть и мохнатые. А финн-углежог сидел на стуле. И половина лица у него заплесневела. Сплошь зеленая плесень, ровно мох, Херманссон сказывал.

— Ты сам с ним разговаривал?

— Не-ет, он папаше рассказывал, а папаша — матери, я кой-чего и подслушал через стенку. Папаша сказал: ежели он мертвый просидел этак две недели, то сколько ж просидел тут в одиночестве, когда был жив? Вот как папаша сказал.

— Слушай, а на кровать он как забирается?

— Мы его подымаем. Весу в нем, считай, всего ничего. А по углежогу червяки ползали. Белые… Вот чего можно увидать. Само собой, коли ты слесарь. — Сплендид старается посильнее разжечь Сиднерово любопытство: — Другой раз был тут один такой, который летать надумал. Лежал возле своего дома в Клоккергордене, наполовину сгнил уже. А к ногам крылья присобачены. Бумажные.

— Как у Аполлона?

— Ну, я не знаю. Звали-то его Эриком. А крылья, может, и картонные были. Ты как думаешь, он верил, что умеет летать?

— Твой-то папа верил. Иногда *нужно* верить, что умеешь.

— Или он знал, что помрет, и решил помереть так, чтоб все о нем заговорили. Чтоб мы тут повторяли: «Ну, этот, который крылья к ногам приделал».

Они замолчали, услыхав скрип колес и цокот конских копыт. Кто-то не спеша ехал со стороны Стапельсбаккен.

— Ба, уж не Сельма ли?

— Сельма Лагерлёф?

— Ага.

— Ты и ее знаешь?

— Не то чтобы знаю… — Тем не менее Сплендид поднялся с травы и выбежал на дорогу, а когда одноколка подъехала, стащил с головы кепку, поздоровался и схватил лошадь под уздцы. — Здрасьте, тетя Сельма!

— Сплендид, неужели ты?!

Сиднер видит в одноколке знаменитую даму — точь-в-точь такая, как на фотографиях. Седые волосы под черной широкополой шляпой, черное

пальто, руки спрятаны в муфточку.

— К Фанни на именины едете, тетя Сельма?

— Да. А ты почем знаешь про ее именины?

— Слежу за газетами.

Пыль оседает вокруг конских копыт, Сиднер тоже подходит к экипажу, мнет кепку в руках, кланяется.

— А это что за молодой человек?

— Это Сиднер, я вам надысь рассказывал про него.

— Ах, вот ты какой, стало быть! Сплендид, ты что же, и сегодня разбудил Фанни и подал ей кофе в постель?

— Не-а, я с утречка окуней ловил, недосуг было.

— Шустрый ты парень. Где только силы берешь. Не то что я. Ладно, пора ехать дальше. Загляните как-нибудь. Оба, — говорит она.

Сиднера вдруг охватывает ревнивая зависть к Сплендиду, который умудряется быть повсюду едва ли не одновременно. Впоследствии он напишет:

> «Некоторые люди состоят как бы из множества существ. Они способны удвоиться, даже удесятериться, присутствуя

сразу во многих местах. И приходят они к таким, кому трудно, кому не с кем поделиться своими печалями и радостями. Они шагают по жизни, протягивая повсюду длинные усики сочувствия».

Он провожает лошадь взглядом, пока она не исчезает из виду. Стоит не шевелясь и упавшим голосом спрашивает:

— Что ты наговорил про меня?

— Да ничего.

— Почему даже не сказал, что знаешь ее?

— Ну, не все сразу.

— Окуней-то наловил?

— На обед хватит.

— А кто это — Фанни?

Сплендид показывает с холма вниз, в сторону Фаннина дома. За деревьями виднеется на балконе женщина в красном халатике, с кофейным подносом.

— Это она держит мануфактурную лавку?

— Угу.

Немного погодя он видит на балконе и Сельму Лагерлёф, с тортом. Фанни ставит поднос на балконные перила, скрывается в доме, приносит кресло и скатерть. Стелет ее на стол, наливает

кофе, и обе женщины усаживаются.

— Если хочешь знать, Фанни подбрасывает Сельме разные идеи.

— Как это?

— А так, придет время — сам поймешь.

Двери, входы. Просветы в листве, где мелькает что-то красное.

Телепатический контакт со Свеном Гед*и*ном[36] ничуть не мешает Фанни Удде управляться с мануфактурным магазином. В белой блузке с высоким воротом она стоит за прилавком и, поглаживая себя по затылку деревянным метром, листает французский модный журнал. Фанни улыбается и грезит, грезит и улыбается. Раз-другой прохаживается меж стеллажами, смотрит в дверь на дорогу, гостиницу и железнодорожный переезд, возвращается к прилавку и грезит.

Магазинчик ее похож на киргизскую юрту. Комплекты занавесок, лоскутья тканей, рулоны фланели громоздятся повсюду, тяжелые плюшевые драпировки отгораживают примерочные,

---

[36] Примечания: 36

Гедин Свен (1865–1952) — знаменитый шведский географ и путешественник.

воздух душный, но стоит Фанни шевельнуть тонкими руками, кругом плывет легкий аромат духов. Руки у нее очень красивые, тонкие голубые жилки бегут под кожей унизанных перстнями пальцев. Один из этих перстней, по ее словам, подарил ей Свен Гедин. Перстень подлинный, откуда-то из пустыни Гоби. На стене множество фотографий Гедина, одна — на ней он стоит прислонясь к белому авто где-то на шоссе в Швеции — с посвящением: «Моей верной поклоннице Фанни от Свена Гедина», так там написано, если кто не верит. Одну руку он положил на левую фару, видно, как фара блестит. Снимал умелый фотограф, березы на заднем плане образуют эффектное обрамление, Фанни вздыхает. Ей тридцать шесть лет, а никто из ныне живущих пока не знает, что под правой грудью у нее родимое пятнышко, маленькое, темное. Волосы она зачесывает вверх, укладывает большущей корзинкой, и никто из ныне живущих пока не видел их распущенными, не знает, какие они длинные. И губ ее пока никто не целовал, никто не касался ее прямого носа — уму непостижимо, как такое возможно!

Сплендид обладает уникальной способностью отыскивать пути в невиданные глухие места, у

него чутье на тайные тропы, уводящие из повседневности, и в один прекрасный день он решает, что Сиднер созрел для такого открывательского похода, ведь дружат они уже довольно давно. Оба мнутся у дверей Фанни Удде, не очень-то им и охота нажимать на ручку и открывать, но колокольчик, настоящий китайский колокольчик, уже звенит «динь-дон», что по-китайски означает: заходите, даже если не купите и пачки иголок.

Динь-дон! — и они в ином краю.

Фанни сидит за прилавком, в высоком плетеном кресле.

— Здравствуй, Сплендид. Как мило, что ты заглянул. Что тебе сегодня понадобилось?

— Хотел показать Сиднеру колокольчик. Ну что китайский он. Сиднер живет в гостинице, а маму его коровы затоптали. — Сплендид подходит к Фанни, наклоняется над прилавком, разводит руками, смотрит ей в глаза. — Не верил он мне.

Фанни оборачивается к Сиднеру — о создатель плотских существ! Сиднер так и стоит у двери, трогает колокольчик; тихий дрожащий звон, блуждая меж рулонов тканей и драпировок, долго висит в воздухе, а Сиднер замирает, словно в попытке разгадать этот звук, правильно прочи-

тать его и успеть увидеть все необычайные места и времена, что в нем сокрыты.

Казалось, вот-вот воочию увидишь лицо старика китайца, смастерившего колокольчик. Его руки. Дом, где он работал, горы за его родной деревней, овечьи стада на склонах, караванные тракты, по которым колокольчик везли. Все-все воскрешает этот дрожащий звон, Сиднер медленно открывает рот, цепенеет как завороженный. Фанни кивает в его сторону:

— Теперь он верит!

Она улыбается — пусть, мол, впитывает впечатления — и будто не слышит шепота Сплендида:

— Вон как с ним другой раз бывает, Фанни!

Когда Сиднер подходит к прилавку, она сперва ничего не говорит, только берет в ладони его узкую руку и внимательно рассматривает, потом поднимает взгляд на его лицо.

— Бедный мальчик! — Она поворачивает его руку ладонью к себе, прижимает к груди. — Точь-в-точь как у Свена.

Сплендид кивком подбадривает Сиднера, но тот глядит задумчиво, серьезно, он еще знать ничего не знает о своей жизни. В его тетради «О ласках» есть, кстати говоря, несколько слов, вероятно проистекающих из этого самого мгновения: «В

шведском языке меня более всего завораживает слово Предчувствие. *Предчувствовать что-либо.* В этом слове сквозит активное начало, заставляющее думать, что субъект, подлежащее, и есть тот, кто предчувствует, меж тем как я твердо убежден (ах, да нет никаких твердых убеждений!!), что Предчувствие *нисходит на нас.* Источник Предчувствия находится вовне, это огонек в ночи, молния, которая снова и снова пробегает по небосводу, ищет чего-то, и порой толика этого сияния задевает нас, проникает в глубинные пласты нашего сознания. Правильней было бы сказать: я затронут Предчувствием. Она даровала мне Предчувствие». Сплендид вторгается в его отрешенность:

— Это она про Свена Гедина. Она с ним знакома. — Будто Сплендид не талдычил об этом весь день. — Глянь-ка сюда.

Рука Сиднера по-прежнему лежит у Фанни на груди, он всем телом поворачивается к карточке на стене: «Моей верной поклоннице…»

— Она самая и есть!

Оба смотрят на нее как бы глазами Свена Гедина, и она позволяет себе измениться, потому что живет грезами. Поуютнее устраивается в кресле, подпирает голову пальчиком и печально улыба-

ется. Левой рукой смахивает что-то с кружевной блузки, закрывает глаза.

— Сейчас он в Вадстене. Обедает в лучшей городской гостинице. Ест… озерного гольца под пикантным соусом. Он одет в белое, в белый полотняный костюм, сшитый на заказ в Сингапуре. На столе перед ним бокал белого игристого вина, букет роз, влажных от росы. Он один. Подходит официантка. Что подать на десерт, господин Гедин? — спрашивает она. Он в нерешительности. Потирает пальцами подбородок, размышляет. Потом говорит: землянику со сливками.

— Но, Фанни, — перебивает Сплендид. — Какая земляника-то об эту пору?!

Фанни вздрагивает. Лицо у нее преисполнено страдания.

— О-о, что такое? Я ошиблась, у меня целый день ужасно болит голова. Я так устала.

— Да ладно, ничего страшного. Может, ее поездом возят из Италии.

— Нет, Сплендид. Я ошиблась. Я ничего не вижу.

— А как насчет слив? Может, он сливы заказал. Они ведь здорово похожи. Ну, издалека. Ежели консервированные.

— Ты прелесть, Сплендид.

— Прости, Фанни, я тут чепухи нагородил.

— Ничего-ничего. Приходится тебе учить меня скромности, Сплендид. Иди-ка сюда, я тебе взъерошу волосы.

Сплендид заходит за прилавок, наклоняет голову, вертит шеей, жмурится, а пальцы Фанни перебирают его волосы. Скользят по уху, по ключице. Сиднеру тоже велено подставить голову, но он делает это наперекор всему черному, пустому, безмолвному.

В дровяном сарае Сплендид вслух читает Сиднеру заметки из «Фрюксдальс-Бюгден».

— «Два брата-самогонщика признались вчера перед судом, что в течение нескольких лет тайком гнали и сбывали спиртное». Хм. — Он лежит на спине на лоскутном половичке и презрительно фыркает. — Тайком. Это ж братья Густафссон из Оммеберга. Самогонку они сыздавна гнали. Будто бы все об этом не знают! Почитай, каждый у них покупал. «Так называемое Мистериальное действо в суннеской церкви стало для публики большим разочарованием, поскольку представленные сцены были крайне сумбурны и совершенно непонятны». «Завтра со-

стоятся проводы миссионера. Учительница Эстер Нурдберг уезжает миссионером в Восточный Туркестан». Восточный Туркестан! Достань-ка «Скандинавский семейный альманах», он там, за поленницей, поглядим, куда старуха намылилась.

— У тебя есть «Скандинавский семейный альманах»?

— Папашин подарок. Дескать, надо мне все знать. Прихвати заодно маленько вон тех желтых слив.

Целый год минул уже с их первой встречи, фруктов на полках не так много, как прошлой осенью, да и они наведываются сюда, пожалуй, реже, чем раньше.

— Вот, нашел. «Восточный Туркестан. Китайский Туркестан, иначе Кашгария, расположен к востоку от Западного Туркестана и отделен от него Тянь-Шанем и Памиром. Регион открыт лишь к востоку и плавно переходит в пустыню Гоби».

— Ух ты, черт! Читай дальше!

— «Окруженный краевыми горами, Восточный Туркестан представляет собой впадину, однако относительно уровня моря это плато высотой в девятьсот — тысячу метров. В северо-восточной

части, которую с физической точки зрения можно рассматривать как особый район, местность кое-где опускается даже до ста двадцати шести метров ниже уровня моря».

— Ничего себе! Давай дальше!

— «Животный мир в возвышенных районах состоит, в частности, из яков, куланов, онагров, диких верблюдов и нескольких видов антилоп. На равнинах встречаются тигры, кабаны, косули, волки, лисы и проч.».

— Эвон куда Эстер-то нацелилась. Надо нам к ней сходить, хоть умри, надо.

— Зачем?

— Как зачем? Ты чё, знаешь кого другого, кто в Восточный Туркестан намылился?

— Не-ет.

— Вот видишь. После еще подзубрим, пускай видит, что мы тоже не лыком шиты.

— Да?

— Поздоровкаемся с ней за руку, а она двинет в Восточный Туркестан, и там ее запросто может слопать какой-нибудь тигр, а тогда получится, будто мы вроде как тоже имеем к этому отношение. А еще можно оттуда марки получать, и все такое. Ладно, вернемся к газете. Во, слушай, Сиднер: «Прискорбный инцидент случился в

Эстаншё в ночь на среду. Мужчина примерно тридцати лет внезапно повредился рассудком и повел себя крайне агрессивно. Он перекорежил домашнюю утварь и мебель, выгнал на улицу свою мать, которой пришлось обратиться за помощью к соседям. Прибежавшие на подмогу люди связали больного и отвезли в лечебницу „Горный лес“, где он сейчас и находится. Прежде этот мужчина никогда не выказывал признаков душевной болезни; медики предполагают, что он страдает религиозными фантазиями, каковые и привели к столь прискорбному финалу». Что скажешь, а?

— Не знаю.

— Давай сходим поглядим на него. Отродясь не видал психических. Особо таких, с религиозными фантазиями. Спросим, чего он себе думал. На пользу тебе пойдет, Сиднер.

— Почему это все должно идти мне на пользу?

— Потому что боишься ты. А бояться нечего, я много чудиков знаю, хоть и не таких, чтоб беспереречь все вокруг колошматили.

— Так ведь поздно уже. Не успеем засветло.

— Я знал, что ты этак скажешь. Потолкуй с папашей своим, так, мол, и так, мы на Хелльшё пойдем, раков ловить, раки там мировецкие.

— Но раков-то сейчас ловить не разрешается.

— Подумаешь! Уже почти что сезон. — И Сплендид вдруг совершенно серьезно, как по книжке, говорит: — Тебе необходимо познавать мир. А то станешь как та девчонка, про которую мы читали.

Оба вздрагивают и сквозь щелки в стенах дровяного сарая глядят наружу. Сиднер видит, как струится вода в протоке, откуда веет холодом, и старается не глядеть в угол, на вырезку под названием «ОСОБО УДИВИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ СО ВСЕГО СВЕТА», но взгляд так туда и тянет, словно магнитом.

> «Из Нью-Йорка по телеграфу сообщают, что четырехлетняя девочка из г. Лайма (штат Огайо) медленно, но верно превращается в камень. Отслоившиеся частицы были подвергнуты химическому анализу и определены как известняк».

Сиднер прижимает пальцы к запястью, где прощупывается кое-что, чего там быть не должно, — затвердение, возникшее недели две-три назад, примерно тогда, когда они впервые прочли эту телеграмму.

— Неправда это, Сплендид.

— Эвон как заговорил. Ты чё, видал в газете опровержение? Видал, да?

— Конечно, не видал.

— Интересно, скоро она целиком каменная сделается? И откуда все начинается? От ног или от головы? Как думаешь, что хуже — когда в ногах начинается или в глазах?

— Кончай, ладно? Не верю я в это.

Он крепко сжимает пальцами запястье.

— Папаша мой говорил, что…

— Да чихать я хотел. Но хуже всего, наверно, когда начинается во рту, — говорит Сиднер, запинается и вдруг осознает, что *это* уже началось.

Он заразился.

Рот будто каменный. Он сглатывает.

— И похуже что бывает, — подначивает Сплендид. — Я слыхал, у мальчонки одного в год борода выросла, в два голос загрубел, а в три черепушка облысела. А еще у одного, говорят, зубы только в пятьдесят лет прорезались, волосы выросли в шестьдесят, а голос ломаться стал аж в семьдесят.

— Да врешь ты все.

— Ага, про последнее я соврал. Но остальное чистая правда. Я ведь к чему клоню-то? К тому, что много чего остерегаться надо. К тому, что

нету в жизни порядка. А самое чудн***о***е тут… что вообще есть хоть какой-то порядок.

— Здравствуйте, — говорит Сплендид. — Нам бы психического повидать, этого, который из Эстаншё.

Воскресное утро, осень предприняла последнюю пламенную попытку вспомнить свое лето. В саду лечебницы гуляют по солнышку престарелые и сумасшедшие — гуляют на коротком поводке собственных нервов, прислушиваясь к шелесту яблонь и берез и к тому, кто исподволь этот шелест творит. Тени длинные, мягкие, струятся по высокой траве. Ниже по склону виден лоскуток жнивья, пшеницу уже убрали, поля блестят как шелк. Вдали ржут лошади, мычат коровы, в Сунне бьют церковные часы. Пышногрудая суровая начальница смотрит на мальчиков сверху вниз.

— Зачем он вам? Кстати, так говорить негоже.

— Маманя его послала нас разузнать, не надо ли ему чего.

— У пациентов есть все, что нужно.

— Ну и хорошо, — говорит Сплендид. — Она шибко беспокоилась, что он Библию с собой не

захватил.

Кругом бормочут сумасшедшие, истошно вскрикивают, неожиданно дергаются то в одну сторону, то в другую, словно бьются со всем адским воинством.

— Библию?

— Ну да, он должон каждый день Библию читать, не то буянить начнет.

— У нас свои Библии есть. А в теперешнем состоянии он вообще читать не может.

— Ему эта вот Библия нужна. — Сплендид хлопает себя по курточке. — Он только ее читает, потому что сделал там пометки. Маманя его наказывала передать ее из рук в руки, не то он забуянит.

— Он и так буйный, и вообще, что это за разговоры?!

— Библия должна лежать рядом, на ночном столике, так его маманя наказывала.

— Ночной столик… нет у него ночного столика. Ступайте отсюда.

— Нету ночного столика! Слыхал, Бенгт-Эмиль? У него нету ночного столика. Надо же, очень печально. Интересно, знает ли про это главный врач в Карлстаде. Пошли, Бенгт-Эмиль.

— Эй, послушайте! — кричит начальница, но

они уже идут прочь.

В роще за поворотом дороги Сплендид тащит Сиднера в гущу деревьев.

— Посидим тут, подождем, пускай отвалит в Сунне. К доктору ей надо, он ей втыкнет укольчик.

— Откуда ты все знаешь?

Сплендид роет ногой ямку в земле и не отвечает.

— А кстати, почему ты называл меня Бенгт-Эмиль?

— Иначе она бы мигом смекнула, кто мы. Бенгта-Эмиля Юлина ты наверняка знаешь, ну, этого, богатейского сынка. Карманных деньжат у него полторы сотенных в неделю, стало быть, пускай про него и думает. А мы пока подзубрим насчет Восточного Туркестана. Нет, ты представляешь — повидать настоящего психического!

Психический из Эстаншё сидит на чердаке, в деревянной клетке, Сплендиду и это известно. В сумерках двор затихает, но Сиднеру все равно страшно, и, взбираясь за Сплендидом по скрипучим ступенькам, он бормочет себе под нос, как бормотали престарелые и безумцы, дергано, нервно:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу туда, где вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.

— Ты чего там бубнишь, опять этого, как его… Данто?

— Когда страшно… очень помогает… читать стихи, — шепчет Сиднер.

Вот она, клетка.

— Так я и думал. Папаша говорит, они завсегда этак поступают с теми, у кого башка совсем никуда.

— Что же ты ему скажешь? По-твоему, клетка надежная?

— Придумаю чего-нибудь.

Помещение высокое, будто церковь. Половицы скрипят, когда они ощупью пробираются ближе и видят, как сумасшедший вздрагивает и забивается в угол клетки.

— Здрасьте, дяденька. Мы это, навестить вас пришли. Давно тут сидите?

— Я — мрак с лимоном внутри, вот оно как. А они не верят. Дрался тот, ну, который в лимоне, мебель ему, вишь, не по нраву пришлась мамка лямка дамка.

Психический диким взглядом смотрит на них, но издает кудахчущий смешок, и Сплендид откашливается.

— Мы про вас, дяденька, в газете прочли. Я — Сплендид, а он — Сиднер, его маму затоп… А зачем они вас в клетку посадили?

— По ту сторону зеркала все черное, как малина. Можно навестить я на ступеньках вообще в кромешной тьме. Но он находит.

— В газете пишут, дяденька, у вас религиозные фантазии.

— Религиозные! Приветик. — Он поворачивается спиной, долго сидит не шевелясь, потом опять рывком кидается к ним. — Может, кончите, а то столько головной боли отбивается от скелета.

— Ну, что я говорил, — шепчет Сплендид, — психический, самый что ни на есть настоящий.

— Тише ты, Сплендид. Дай еще послушать.

Сиднер понимает, что переживает сейчас нечто важное. Сглатывает комок в горле, боится, но

пройти через это необходимо.

— Слушать — это вам не кушать. Дружить крушить пушить тушить… Так это ведь пожар! — Сумасшедший истошно кричит: — Нет, нету пожара в тине. В блине в глине а там в лимоне им все видно.

— Дяденька, вы сердитесь? — спрашивает Сиднер.

— Да-да, верно, может, и так.

— А на самом деле?

— Другого слова нет. Напишем на обороте бумаги. Пускай стоят там и стыдятся ЧЕГО ТЫ ОТ МЕНЯ ХОЧЕШЬ?

— Я хочу… понять.

— Понять — это хорошо это надо.

Сумасшедший вздергивает верхнюю губу, скалится Сиднеру в лицо, обхватывает руками решетку, трясет ее.

— Вправду ли невидимое реально?

— Мрак с лимоном внутри, он сжимается. Рвется в мамку лямку дамку.

— Пошли отсюда, Сиднер, — говорит Сплендид.

— Нет, я хочу остаться.

— Как лошади у барьера? — спрашивает сумасшедший с любопытством, чуть ли не с улыбкой. — Половина лошадей не лимон, бьют

копытом по стеклу пардон галлон. ЗАЧЕМ ВЫ ТУТ СМЕЕТЕСЬ НАДО МНОЙ, поэтому они меня тут заперли. Перед стеклом. Хорошо. Хорошо. — Он плачет, с силой рвет решетку, слезы ручьем катятся по щекам. — Хорошо для бедняг, которые никогда не живут.

— Да-а, — чуть ли не кричит Сиднер. — Вы тоже знаете?

Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.
Кровь, между слез, с их лиц текла струями,
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.

— Дерьмо и моча это все. — Психический, недовольно насупившись, опять сидит к ним спиной и не отвечает, хотя Сиднер изо всех сил пытается проникнуть в ту щелочку понимания, которую словно бы заприметил.

— Продолжайте, не отворачивайтесь. — И он декламирует, тихо, отчетливо: — «Взглянув подальше, я толпу людей увидел у широкого потока…» Ну, давайте!

— Маманя — шлюха, — ледяным голосом перебивает психический.

— «„Учитель, — я сказал, — тебе ясней…“»

На сей раз пугается Сплендид, пугается за Сиднера, ведь и голос у него лихорадочно-возбужденный, и весь он охвачен лихорадочной спешкой, и Сплендидову руку отталкивает, когда тот пытается оттащить его от клетки.

— Пора сматываться, Сиднер.

— Маманя — шлюха! Маманя — шлюха!

— «„…ясней,

Кто эти там, и власть какого рока

Их словно гонит и теснит к волнам…“»

— Честно, нам пора… До свиданья, дяденька. Пошли, Сиднер. Пошли, говорю.

— Слишком много тьмы, для него. И лестницы и… — Просительную интонацию как ветром сдувает, психический мрачнеет, сжимает губы в нитку. — Иди иди лупи лупи. Ему плевать.

Сплендид тащит Сиднера к лестнице и вниз по ступенькам, во двор. На улице темно. Черная ночь. Сиднер дрожит всем телом. Сперва ему кажется, что плачет и шмыгает носом он один, но скоро обнаруживается, что со Сплендидом обстоит точно так же.

— Мне почудилось, — с трудом выдавливает

Сиднер вперемежку со всхлипами и шмыганьем, — будто я сам сижу в клетке… я все понимал…. что он говорил… когда не смеешь слова сказать, сидишь с папой на кухне… или в школе… я тогда думаю… что меня вроде как и не существует… как подумаю о маме, что она умерла, а я… вроде бы могу говорить с ней… по-настоящему… и я вроде как тень… тень оживает… и не хочет показываться… как лимон этот, когда все сжимается и делается видимым… меня тут нету, Сплендид, по правде, я точно такой же вот сумасшедший.

— Ч-черт меня дернул переться сюда. Я ничего такого не хотел, — рыдает Сплендид, отчаянно шмыгая носом.

— Я знаю.

— Незачем было тащить тебя сюда. Но я ведь не знал толком, сколько у тебя сил, вправду не знал.

— Это… никому не известно.

— Само собой. Вроде как я другой раз думаю про папашу, что безногий он, калека, и в город выбраться не может… и несу его в лес и в другие места, где никто нам не докучает.

— Знаю.

— Он же маленький совсем, легкий. И все-таки, черт побери, отца лучше его на свете нету. Да,

провалиться мне на этом месте, Сиднер, нету… Но несу-то его я, а не наоборот… и такой я взрослый да умный, хоть вообще-то сил у меня на это не хватает.

— Точно. Вот и я взрослый, все понимаю. Но совсем один, только ты меня понимаешь.

— Во-во. А бывало с тобой, чтоб помереть хотелось?

— Ну да-а.

Тут Сплендиду пришлось остановиться, завязать шнурки и подтянуть съехавшие носки. Это выбивает его из ритма.

— Хотя не по правде еще. Сперва надо девчонку потискать, а уж тогда…

— Угу.

— Ты это делал?

— Обалдел, что ли?

— Я тоже нет, — говорит Сплендид. Он наконец завязал шнурки и шагает теперь свободно, чувствует облегчение, но ждет Сиднера.

— Мною никто… не интересуется.

— А на меня одна поглядывает.

— Кто?

— Кайса, ты ее знаешь. Которая возле кооператива живет.

— Поглядывает, значит?

— Ну да, маленько.

— А на меня ни одна…

Сплендиду хочется утешить друга.

— Так маленько же. Может, почудилось мне, только и всего.

— Глядела ведь.

— Да, девчонка что надо. Титьки уже растут.

— Видел.

— Не такие здоровые, конечно, как у Бритт.

— Не-а, но все ж таки.

— Ага. — Поскольку же Сиднер так и не перестал хлюпать носом, ему приходится еще раз повторить: — Наверняка мне просто почудилось.

— Я никогда не женюсь.

— Женишься, еще как женишься. А мне наверняка просто почудилось.

— Сам знаешь, я не такой, как другие.

— Я тоже.

— Вот девчонки и не хотят со мной водиться.

— Из-за того, что читаешь… книжки и все такое?

— Да, об этом вовсе не с кем поговорить.

— Женишься ты, ясное дело. Девчонок, которые книжки читают, навалом. Хоть они про это не говорят.

— Кто, например?

— Ну, Мэри, — нерешительно говорит Сплендид.

— Больно она неказистая.

— Это верно. А как насчет Ингегерд?

— А она читает?

— Не знаю. Как-никак в очках ходит.

Оба немножко оживились, шагают по ровному месту, в сторону церкви. Звезды тускло мерцают над лесом и Юллебюской дорогой.

— Правда, титек у нее нету.

— Будут еще, Сиднер. Будут, не боись. Сестренка у тебя вон какая пригожая.

Сиднер хмыкнул.

— Точно говорю. У ней чё-нибудь есть?

— Есть? Ты имеешь в виду титьки? Ну, почти что и незаметно.

— Я так просто спросил. Что делать будем с этим психическим-то? Худо ему в клетке. Вдобавок вонища от горшка несусветная. Слышь! Надо его освободить.

— Ты что! Это ж опасно.

— Мы за него в ответе. Кроме нас, никто не знает, каково ему.

— Нельзя же почем зря выпускать сумасшедших тут, в Сунне.

— Да ну, никто и не заметит.

— Кто его знает, что он может натворить. Мне как-то не по себе, Сплендид.

— Хорошо бы подкинуть ему туда чего-нибудь мягонького… если сумеем сыскать. Как по-твоему, что мягче всего?

— Крольчата. Они такие мягонькие… а носики… когда суешь им одуванчики… через решетку… Но мы не МОЖЕМ ЕГО ВЫПУСТИТЬ.

— Сиднер, да что с тобой?… Господи, неужто сомлел?

Так и есть. Он падает на обочине дороги, возле кладбищенской стены. Великая тьма накрывает его, укутывает во что-то мягкое.

Сиднер заболел корью, и горячка увлекает его далеко-далеко, в иные края. Временами он будто в глубокой яме, полной змей и летучих мышей, психический тоже там, кричит, что он должен освободить их обоих, иначе ведь съедят! В яме парная жара, Сиднер весь в поту, мечется туда-сюда. Временами они стоят на краю ямы, и психический говорит:

— Я тигр в зазеркалье, спасибо, что освободил меня, никогда не забуду, если ты будешь и метр, и два, и три. А сейчас давай разобьем дом и мебель

мамка лямка дамка, ты иди вперед и показывай, а я буду для тебя колошматить. Держи кочергу, показывай, а я буду крушить-ломать, все в щепки разнесем.

— Оставь меня! — кричит Сиднер и слышит голос Арона:

— Выпей глоточек брусничного морса, Сиднер.

Потом слышится имя Евы-Лисы, он чувствует на лбу легкие пальчики. Но психический возвращается.

— Я жаба в зазеркалье, спасибо, что освободил меня. По-твоему, я мокрый и противный? Осклизлый поганый. Пошли к мамке дамке. Швырнем ее на пол, на кровать, на стол, показывай, и она вырастет прямо насквозь через дамку лямку.

— Пей, Сиднер, пей, горячка и спадет.

Но психический отталкивает прохладные руки, отталкивает стакан от его губ.

— Я гриф в зазеркалье, спасибо, что освободил меня. Сейчас съедим трупы, выклюем глаза и язык, зароемся в их нутро, к червям и кишкам, так здорово — слышать, как люди кричат, вон он, клюв-то, показывай клювом, он и вдарит.

— Нет! — кричит он. — Нет, я не хочу.

— Полотенце, Сиднер. Пот осушить.

А вот и Сплендид, пьет воду из-под крана, сни-

мает у двери деревянные башмаки, сидит на краю кровати.

— Ну, я все обтяпал. Стырил парочку крольчат, запихал их в карман и двинул в «Горный лес». А я тебе гостинец принес! — говорю психическому и достаю крольчат. Только, знаешь, они дохлые оказались, совсем дохлые, шейки были ровно тряпочные. Психический как увидал это, так, должно, решил, что я нарочно, кричать стал, а я-то было уж лыбиться начал, потому как шел и думал: щас, мол, его порадую… А заместо радости — этакая петрушка. После он, правда, дотумкал, что я по-хорошему хотел, и стал меня утешать. С ним же все путем, только вот под замок его посадили, а это опасно, на нервы человеку действует. Так он сам сказал, а я сказал, что сидеть тут навроде чокнутого какого не след, этак и свихнуться недолго.

Но он уже вконец спасовал. «Нельзя, — твердит, — нельзя». Разговаривает он культурно, как ты, должно, оттого, что Библию читает. После я пошел к Сельме Лагерлёф и спросил у ней, может, она возьмет психического к себе в Морбакку, ежели мы его вызволим. Но осечка вышла. Она заладила, что не может, и точка, тогда я сказал, мол, наш-то психический не хуже португальского

короля, а она в ответ: хватит с меня сумасшедших, ну я и спроси, уж не на Фанни ли Удде она намекает. «Ах, бедняжка, — вздыхает Сельма, — на нее самую». Я разозлился: чего это она развздыхалась, Фанни, между прочим, уйму идей ей подбрасывала, хоть она и пропускала их мимо ушей. Кофием меня, правда, угостила, и булочками с сахарной пудрой. Вкусно. У тебя до сих пор горячка?

— Я хочу болеть, — говорит Сиднер. — Мне нужно болеть.

— Ты здоров, ты здоров, сейчас дам тебе брусничного морсу, мигом остынешь.

— Где папа?

— На работе. Сказал, чтобы я тут посидел. Да, тебе от Фанни привет. Вот ее рука. — Сплендид кладет ему на подушку тонкую Фаннину руку.

Болезнь затянулась. Сиднер скользил меж островами и рифами грез, порой его челнок разбивался в щепки, и он отдавал себя во власть болезни. Хотел умереть, чтобы поскорее встретиться с Сульвейг, на небесах. Она ведь там, в вышине, ждет его. Так чудесно — лежать под одеялом и смотреть на нее, слушать, как она поет песню или рассказывает об Америке, о светляках на веранде, и он сердился на Арона и Еву-Лису, которые прерывали его грезы влажным запа-

хом стираного белья над плитой, сердился на кухонный чад и музыку, проникавшие снизу, из гостиницы. Сердился, что мир существует. Что он куда уродливее той, подлинной реальности.

Однажды вечером, когда в окно сочился лунный свет, у его постели появился Сплендид.

— Пора, Сиднер. Одевайся, надо идти. Сельму совесть заела. Она ждет, пособит нам освободить психического. Возле кузни ждет. Побоялась по городу ехать-то.

Они тихонько прокрались на улицу, пересекли мостовую и двинулись дальше, держась вплотную к стене кладбища. Лунный свет растекался по равнине, шампиньоны, словно черепа, белели на лужайках. В темноте у стены стояла высокая тидахольмская одноколка, на козлах сидела женщина, лица не видно под густой вуалью.

— Ну, наконец-то явились, — слышит Сиднер ее голос. — Как это все будет. Залезайте. Скорей начнем, скорей и кончим.

— Все будет хорошо, Сельма, — сказал Сплендид, усаживаясь рядом с нею.

— Вдруг меня кто-нибудь заметит.

— Дело идет о жизни и смерти. Не все же время, чай, в книжках копаться.

— А если все обнаружится?

— Обнаружится! Чего языком-то попусту молоть?

— Тетя Сельма, а зачем у вас лицо вуалью закрыто? — спросил Сиднер.

— Затем, чтоб никто меня не узнал, в том числе и я сама. Хорошенькое дело — я здесь, нахлестываю в потемках лошадей.

Голос у нее был мрачный, как мрак, наступающий, когда луна прячется в тучах. Она взмахнула кнутом и погнала лошадей прочь из тени кладбищенской стены. Одноколка сиганула через мелкую канаву и запылила по дороге.

— Тетя, зачем вы этак лошадей погоняете?

— Чтоб никто не подумал, что это я. Разве кто поверит, что Сельма Лагерлёф так яростно нахлестывает своих лошадей?

Подпрыгивая на ухабах, они неслись вперед.

— Черт, классно правит.

— Только ночью, только ночью, ребятки. Только ночью.

И снова свистит кнут, лошади уже в мыле. Лечебница «Горный лес» мирно спала, озаренная луной. Сплендид отворил заднюю дверь, хоть и пришлось повозиться, их шаги по лестнице, кажется, никого не разбудили. Психический спал в углу своей клетки. Тощий, жалкий, он спал,

засунув в рот большой палец и подтянув коленки к подбородку. Сплендид, приложив палец к губам, протянул руку меж прутьями решетки, разбудил его.

— Мы, дяденька, пришли вас спасать. Тсс. Сельма Лагерлёф ждет в роще с лошадьми и одноколкой.

Психический застонал, а Сиднер машинально забормотал:

И вот, внизу крутого косогора, —
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пестрого узора.
Она, кружа, мне преграждала высь…

— Незачем этак пужаться, Сиднер.

Психический сидел, наблюдая за Сплендидом, который начал пилить решетку.

— Он меня боится? — прошептал психический. — Я тоже. Надо хватать буквы сзади. Тогда застаешь их врасплох, ей-ей, им спать никак нельзя.

— Дядь, взялись бы за пилу с той стороны, дело быстрей пойдет.

Уже не так сжималась в сердце кровь
При виде зверя с шерстью прихотливой;

Но, ужасом опять его стесня,

Навстречу вышел лев с подъятой гривой.

Он наступал как будто на меня,

От голода рыча остервенело…

— Не получится ничего, они погонятся за ним, — скулил психический, но пилил.

— Фига два! Вы, дядь, может, еще и в книжку попадете.

— Чур, я — буква А. Я буду А, иначе не играю. — Он с довольным видом покачивался всем телом. — Ветка. Клетка. В углу. Заберите меня от меня.

— Пособляй-ка, Сиднер. Это ж твой психический.

— Нет.

— Пили! — Сиднеру послышались в голосе Сплендида новые, повелительные нотки, и он перепугался.

— Да пилю я, пилю. Сейчас все распилим и освободим.

Психический покачивался туда-сюда, куски решетки один за другим падали на пол.

— Как же я пройду через это воровское место со всей моей грязюкой? — Он заробел и чем шире

становилось отверстие, тем сильнее впадал в панику, а когда пришло время уходить, сжался в комочек и наотрез отказался идти.

— Не хочу. Мое место здесь. В грязюке.

— Пошли.

— Я боюсь себя. Очень боюсь, очень.

— Обними меня, вот так. Все будет хорошо.

Лошади ржали и фыркали, когда они наконец дотащили сумасшедшего до рощицы.

— Ну-ну, вот, значит, какой вы, молодой человек. Что они с вами сделали. Ох и жестокая штука — жизнь! Укрой ноги пледом, и ночная Сельма умчит тебя из этой юдоли слез, где волки рыщут по снегам и льду.

— Только не домой, только не к мамке, спрячь меня от лампы.

— Всю ночь будем ехать. И никто нас не…

— …обнаружит, само собой, — сказал Сплендид, и Сельма прямо вовсе рассвирепела. Лошади заржали, неуверенным шагом выбрались из густого кустарника, Сельма огрела их кнутом, и одноколка полетела вперед. Пыль курилась вокруг колес, когда они тряслись под гору возле боргебюской школы и сломя голову вылетели на равнину. Луна светила еще ярче прежнего, шампиньоны подросли, со всех сторон зыркали

на них, зловеще сверкали зеленым огнем.

— Можно вас поцеловать? — вдруг спросил психический.

— Конечно, молодой человек. Только придется тебе самому поднять вуаль.

— Но ведь я жаба.

— Целуй, а там поглядим, пока утро не настало.

Психический замахал руками, одноколка ходила ходуном.

— А лошади должны этак мчаться?

— Должны, не то утро нас догонит.

— Вуаль-то никак не поднять, руки больно дрожат.

— Поднимай! — Голос у Сельмы сердитый.

— Нет, лучше не надо. Я ведь… я не знаю, как это делается… Не умею. Ничего не умею тут, в этих… воровских местах.

Сельма даже не подумала придержать лошадей и помочь психическому, наоборот, они промчались через Сунне во весь опор, колеса громыхали по мостовым как барабаны, впору покойника на ноги поднять, да только городских обитателей так легко не разбудишь. Никто не остановил их на мосту, на Главной улице ни души, на Леран все дома объяты сном, ни волк, ни рысь не кинулись

навстречу на Тремансбаккен, возле Роттнеруса коровы устремили свои мудрые взоры на дорогу, но без неодобрительных комментариев. Сельма нахлестывала упряжку, пока возле Эйервика не свернула наконец на узкую извилистую дорогу, там они остановились у самой воды. Близ берега, укрытый в ивняке и зарослях ольхи, был причален плот, а на плоту стояло кресло зеленого бархата, накрытый столик с дымящимся кофейником, бутербродами и булочками. Вода замерла в неподвижности, тишина казалась оглушительной после бешеной скачки, от толстых бревен плота приятно пахло деревом, светало, и скоро с открытой ладони ночи вспорхнула первая утренняя пташка. Зеленый отблеск на воде. Кое-где искры золота.

Сельма подняла вуаль.

— Приехали. Слезайте. Я стащила немножко еды из собственной кладовки. Моя экономка явно решит, что туда наведались воришки. — Она довольно хихикнула и улыбнулась, как девчонка, впервые совершившая сладкий грех. Колбаса, сыр, хлеб. Психический ринулся на плот и схватил бутерброд с колбасой.

— В «Горном лесу» мне только суп давали.

— Гадость какая, — сказал Сплендид.

— Ну, крапивные щи очень даже ничего. С половинками крутых яиц, и зеленым луком, и маленькими сосисками.

— Само собой. Ежели с сосисками. Но так бывает редко.

Сиднер помог Сельме перебраться на плот, и она села в кресло. Проглотив первый бутерброд, психический сказал:

— Нельзя мне пищу-то есть. Я нехороший человек, доктор Лагерлёф. Зря вы меня выпустили, неправильно это. Обратно в клетку, обратно в клетку, доктор Лагерлёф, я тяжко согрешил, нарушил четвертую заповедь.

— Это какая же? — спросил Сплендид.

— Какая? Господи Иисусе Христе, спаси мою душу грешную. Я позволил вам освободить меня. Неужто вправду не знаешь? Наконец-то я понимаю… Может, ты и первую заповедь не знаешь?

— Почему? На языке вертится. Она про… ну, где «примириться»?

— Ты что, заодно с дьяволом? Вы тут все на плоту заодно с дьяволом?

Сплендид отпихнул плот от берега и, энергично отталкиваясь шестом, повел по мелководью.

— Нет, вряд ли. Я точно нет. А ты, Сиднер?

— Я? Не-ет…

— А вы, тетя Сельма?

Сельма достала из муфты гребешок и зеркальце. Распустила волосы и, причесываясь, в зеркальце посмотрела на него.

— Я не знаю. Кстати, называй меня барышня Лагерлёф, ведь утро уже… Н-да, иногда так и кажется, будто нечистый за тобой гонится.

Сплендид задумался, а плот между тем плыл прямиком к темной громаде острова Малён, который напоминал очертаниями ложку и густо порос громадными елями.

— Это верно, гонится, ох как гонится.

— Особенно когда пишешь хорошо. Чувствуешь, что власть, какую ты имеешь над людьми, не от мира сего. Будто насквозь их видишь. Заглядываешь глубоко в их души и видишь мрак, бездонность. ВОТ КАК В ТЕБЕ, СИДНЕР. ИДИ СЮДА.

— Зачем, тетя Сельма?

— Хочу тебя поцеловать.

Психический, с ужасом глядя на них, сделал шаг-другой к воде.

— Ох-хо-хо, сейчас прыгну. В этом злом мире я жить не могу.

— Черта лысого прыгнешь! — Сплендид бросился на него, вывернул ему руки и повалил. — Лежи

тихо, дядя, пока не отпустим.

— Ты слышал, что я сказала? — повторила Сельма. — Давайте обойдемся без драк. Подумай о том, что я ради тебя сделала.

— Ради меня? — удивился Сиднер.

— Да, ради тебя. Или сюда.

— Нет! — выкрикнул Сиднер. — Нет, не хочу!

Огромная усталость навалилась на него, он опустился на край плота, окунул руку в прохладную воду, совершенно розовую в лучах восходящего солнца. Рыба плеснула перед плотом, издали донесся шум парохода.

— Они завели плот под сень плакучей ивы и ждали там, пока огни не пропали. С палубы доносился шум и смех, и мы ужасно боялись, что тетя Полли тоже стоит там, высматривает нас, но разве кто мог догадаться, где мы. Я понимал теперь, что наше исчезновение обнаружили, что полицейский и все остальные искали нас, и упивался мыслью, что нас, скорей всего, считают утопленниками, и жалел, что не оставил записки, не написал, что не мог больше вынести такой жизни, пусть потом раскаиваются…

Сиднер рывком сел.

— Где Сельма Лагерлёф? И кто… кто такая тетя Полли?

— Очнулся, стало быть. Полли?.. Понятия не имею. — Сплендид спрятал книгу, которую читал. Сиднер снова откинулся на подушки. — Как рассвело, Сельма сделалась совсем скучная. Ну когда мы высадили психического на берег.

— Хоть он и упирался?

— Да, сказал, что…

— …мое место во тьме. Я вернусь туда. Там его не найдут. Здесь у вас своя тьма, на свету этак нельзя.

Однако ж они сумели переправить психического на Малён. Сперва он артачился, лез в драку, а потом вдруг помягчел, сделался кроткий, словно овечка, и Сплендид, отпыхиваясь, рухнул на песок.

— В общем, вызволили мы вас, дяденька.

— Вот и хорошо, — сказала Сельма, — тогда можно и домой ехать. Коли это не…

— …обнаружится, угу. Оставайтесь тут, барышня Сельма. Я соорудил стол из сахарных ящиков вон там, под елками, и плетеный стул опять же найдется. Садитесь себе да пишите. Про то, что кругом видите…

— Ничегошеньки ты не понимаешь. Я — лицо официальное. И прямо посреди книги!..

— Напишите про то, как мы удим окуней и

малину собираем…

— Я должна смотреть на вещи с некоторой дистанции.

— Вещи! Будто их тут нету… Солнышко светит, шмели эвон гудят, и самый что ни на есть настоящий психический у нас есть. Выходит, вам это не годится. А я-то посулил, что он в книжку попадет.

— Мало ли что ты посулил, Сплендид.

— Хочу обратно в клетку! — завопил психический.

— Чем плохое начало-то, а, тетя Сельма? Глядите, и бумага есть, и карандаши.

Он силком усадил ее на стул под высокой елью. Солнце проглядывало сквозь ветки, освещало еще распущенные седые волосы, но глаза у нее были усталые.

— Перво-наперво пишите: «Я хочу обратно в клетку! — закричал психический и бросился на песок. Было это в начале августа, мы только что вызволили несчастного горемыку из унижения и приплыли на Малён. Там мы провели чудесные дни. В озере водилась рыба, а ночью я выплывал на дело и воровал помаленьку молоко, масло, соль».

Сиднер повернулся в постели.

— А меня там не было?

— Он приходит в себя, Арон.

— Пойду молока согрею, — слышит он из кухни, от плиты, голос отца.

— Расскажи еще про воду.

— Про какую воду?

— Про озеро Фрюкен… или про Миссисипи… или… Где я? Папа?

— Очнулся… Дай погляжу на тебя. Выглядишь куда лучше.

— Очнулся? Так я спал, что ли?

— Да-да, спал.

— А Сплендид где? Он же только что здесь был?

— Ну, не только что. Тебе, считай, очень повезло с таким другом, как Сплендид. Большой мастер поговорить, мальчонка этот… А выдумщик!

— Выдумщик? Я хочу спать.

О-о, болезнь у Сиднера богатая. Полная образов и слов. Просторные спокойные воды, прохладные утра, его то приподнимает, то опускает у берега, наполняет напором потока. Но горячка и правда потихоньку спадает, он все чаще бывает на кухне, с отцом и Евой-Лисой, а в скором времени уже тянет руку за книгой, что лежит на стуле. «Приключения Тома Сойера», открытые где-то

посередине.

— Ты читал мне из этой книжки?

Сплендид стоит возле двери.

— Угу, я думал, вдруг тебе понравится…

— Хоть я и спал?

— Да уж, спал. Метался ужас как… Слышь, Сиднер. Прости меня, а? Страсть как жалко, что заманил тебя идти в «Горный лес». Ежели ты из-за этого расхворался.

— Ясно, не из-за этого. Просто очень уж все удивительно совпало. Пожалуй, надо бы сходить к нему, проведать. Все ж таки спасли его, освободили как-никак.

— Ну да… — уклончиво бормочет Сплендид.

— Неправда это, что ли?

— Тебе вроде как приснилось…

Сплендид поворачивается к комнате спиной, отводит в сторону занавеску.

— Хоть ты и про это тоже рассказывал, да?

— Ну да, думал, понравится тебе.

— И что Сельма Лагерлёф помогала?

— Не-ет… она… Сам знаешь, она старая.

— Значит, он так и сидит в клетке.

— Кто?

— Как кто?.. Психический, ясное дело.

— Не-а. Не сидит.

— Выходит, выздоровел!

Сиднер разом чувствует прилив сил, садится и даже смеется.

— Через денек-другой небось и в школу опять пойдешь.

— Да, тогда и сходим туда… Что такое, Сплендид? Чего это ты так странно смотришь?

— Ничего я не смотрю.

Однако ж он идет к крану, откручивает так, что вода бьет сильной струей. Нагибается над раковиной, ополаскивает лицо, ищет в чулане полотенце, утирается, слегка хихикает.

— Жарко.

— Сплендид, тут другое! Ты что-то утаиваешь!

— Да нет, ничего подобного… Может, я пойду, а?

— Нет.

— Ну… Знаешь, на другой день я пошел туда с кроликами. Когда ты заболел…

— И что?

— Он повесился. Повесился, Сиднер. А я не знал, выдержишь ты или нет. Да и сам я тоже… я тоже…

III

— Правда! — фыркнул Марк Шагал. — Ее таким манером не достичь. Лишь под покровом фантазии, может быть, и найдешь что-то правдивое.

Мы стояли спиной друг к другу, каждый перед своим мольбертом. Мне было пятнадцать, и мама выгнала меня на самые тучные пастбища живописи: за цветущим маковым лугом мерцали в дымке холмы Прованса. Сама она сидела под зонтиком, в белом платье с высоким воротом, сразу в двух качествах — сторожевая собака и натурщица. В волосах у нее голубел цветок ломоноса; я, в белом халате художника, изображал сейчас молодого Моне. Старикан объявился среди камней, когда я работал уже час-другой, и время от времени искоса поглядывал на нас. Мама, не меняя позы, сказала:

— Значит, вы тоже пишете картины.

— Да, пишу.

— Здесь удивительно красиво.

— Да, увы, — сказал старикан. — Но, увидев вас обоих, я не мог устоять. Вы уж простите.

Видимо, мама не поняла, так как повторила, не знаю в который раз:

— Мой сын очень талантлив.

— Ничего нет опаснее таланта, — сказал старикан, и мама сей же час нервно поджала губы, взгляд ее устремился в пространство.

— Что же ты намерен писать? — спросил он меня, глядя на холст.

— Правду, — ответил я, нанося очередной фальшивый мазок. Тут-то он и фыркнул. Но я не сказал маме, что это фыркнул Марк Шагал.

Железную дорогу открыли в начале века — флаги хлопали на ветру, пунш лился рекой. Хозяин Бьёрк стоял в кабине машиниста и махал рукой толпам народа, стоявшим вдоль железнодорожной насыпи по всей долине Фрюксдаль, дым относило им в лицо, но они даже внимания не обращали, отмечая знаменательное событие, которое вскоре оставит без работы многих и многих занимавшихся извозом. Многие по сей день празднуют собственное разорение, еще Брантинг[37] знал и говорил об этом, но прогресс шел

[37] Примечания: 37

Брантинг Яльмар (1860–1925) — шведский публицист, государственный деятель, один из зачинателей рабочего движения. Лидер социал-демократов; лауреат Нобелевской премии мира (1921).

своим чередом, и в тот день народ восхищался белой соломенной шляпой Бьёрка, его жилеткой, которая, по крайней мере перед отъездом из Чиля, была кипенно-белой. Золотая цепочка самодовольно поблескивала, он разглаживал подстриженные усы, ведь без его помощи железная дорога далеко не так скоро пролегла бы извилистой лентой меж крестьянских усадеб и хуторов, вдоль тучных нив, через леса, каковыми сам Бьёрк и владел. Он умел делать дела: в молодости, съездив в Норланд, увидел там строящиеся лесопильни и многому научился. Если на первых порах он жил хлебом да свининой, то вскоре сумел переключиться на телячьи отбивные, а там и на недвижимость и лес; через малое время половина Вермланда стала его собственностью, он выстроил себе резиденцию в центре города, настоящую господскую усадьбу, с калиткой на чугунных столбах и флагом посреди круглого газона, частенько осенявшим новый средний класс. Он выстроил гостиницу, а его лесопильный завод год от года расширялся. Сунне процветал. Множество фабрик, ремесленный квартал меж Длинной и Главной улицами гудел от стука молотков, людского смеха и стонов — ни дать ни

взять арабская касба[38]. Открывались лавки и магазины, а что до Мортимера Оберга и его большого дома на площади, то здесь впору говорить прямо-таки об универсальном магазине, весьма похожем на богатые магазины в Карлстаде. Ула Автомобилист, который первое свое такси завел в 1908 году, теперь держал большую транспортную контору; юлльнеровский автосалон расширялся, и не один молодой парень начинал трудовую жизнь с того, что ехал в Гётеборг за новыми машинами. Туда на поезде, а обратно каждый сам по себе, с пакетом бутербродов и яичницей в алюминиевой коробке на сиденье, точно король в блестящем новеньком автомобиле. Бьёрк и его зятья все имели машины, даже дочка его, Вальборг, и та получила водительские права — на первых порах женщина за рулем вызывала огромную сенсацию. Вокруг вечно собирались зеваки, когда она садилась в машину, чтобы проехать две сотни метров до Оберга и накупить деликатесов. Сельма Лагерлёф тоже там бывала, зачастую приезжала на своей одноколке, но вскоре завела с Юлльнером переговоры о покупке «вольво».

И население росло: многие из тех, кто работал

---

[38] Примечания: 38
Торгово-ремесленный квартал арабского города.

на железной дороге, остались в городе, стали начальниками станции и разного рода служащими. В день открытия дороги станционные здания — непривычного желтого цвета, какие-то заграничные — казались низкой бусин у перронов, среди новеньких клумб с рудбекиями слышался сконский, блекингский, смоландский говорок; первые нервозные сигналы к отправлению, поданные железнодорожниками в новенькой униформе, Бьёрк, который самолично сошел с паровоза, держа в руке бутылку и стакан, приветствовал пуншем, играли оркестры, дети дудели в дудки, цветы летели в открытые окна вагонов. Датчане, братья Пер и Поп, прямо на железнодорожном мосту обручились с сестрами-близнецами Эдель и Эстер, даже публично поцеловались, но ведь и день, в конце концов, был великий — начиналось новое время.

А годы шли. Пунш, разумеется, пили по-прежнему, но не у насыпи железной дороги: после этакого приглашения к танцу преобладающее большинство волей-неволей вернулось к плугу, за прилавок, снова задавало корм поросятам. Погода опять-таки стояла уже не столь лучезарная, мрачные тучи громоздились на юге, одна из фабрик на Торвнесвеген сгорела, другая внезапно

перестала выплачивать заработную плату, на третьей однажды утром исчез владелец, и машины умолкли.

Народ читал газеты и знал, что во многих местах не хватает пропитания. На Главной улице некая дама уронила бутылку с сиропом, та, понятно, разбилась вдребезги, и сию же минуту трое мальчишек, лежа на животе, принялись облизывать булыжную мостовую. Кто хотел повеселиться, шел в гостиницу. Там можно было потанцевать под скачущие заграничные мелодии:

Как Кейт сестрица мне б шимми плясать!

Вон как трясется — ее не унять.

А маме-то нашей всего странней,

Чего это парни танцуют лишь с ней.

А позже, ближе к ночи, под медленные, тоскливые напевы, которые Арон усталыми пальцами, с пустым взглядом, клал на диск граммофона под пальмой:

Нет, не могу понять,

Как можно в Нью-Орлеане скучать.

Это ж всем городкам городок.

Много было в те дни таких, что стояли возле гостиницы и роптали, серая масса, на которую Арон поневоле смотрел каждый раз, когда отворял окно, чтобы выветрить запах хозяйских сигар. Ведь Бьёрк все чаще участвовал в празднествах, хотя теперь там было меньше коммерсантов и больше приятельниц. Представляли живые картины, устраивали маскарады, шлепали покерными картами и опять же пили пунш. Вид у Бьёрка несколько усталый, живот изрядно вырос в размерах, и он похлопывает по заду все более юных дам.

Как-то утром после очередного празднества он постучал в Аронову дверь, бледный и опухший от возлияний, поговорить ему захотелось. Блестела на нем только золотая цепочка, которая стоила лесу многих и многих деревьев, а рабочим — многих согбенных спин.

— Давай-ка пойдем вон туда. — Он указал на винный погреб.

Обозрев батареи бутылок, Бьёрк сказал:

— Нацеди бочонок водки и угости его хорошенько, пока он не начал с народом разговаривать. Устрой добрую пирушку и проследи, чтобы он исчез. Двадцати литров хватит, поди, на добрую гулянку.

— Я не знаю, — сказал Арон.

— Верно, ты не пьешь, я и забыл. Но тебе ведь и не понадобится… По правде говоря, дела нынче идут не больно хорошо. Положение в отрасли сложное. Потребуй рабочие сейчас повысить расценки, мне долго не протянуть. Такова *моя* правда, и с нею мне надо жить. Могу послать с тобой кого-нибудь из выпивох. Асклунд, кажись, пьет, а?

— Да он же социалист!

— Но он пьет.

— Ты покупаешь людей, Юхан.

— Да, покупаю. И дорого. — Бьёрк разразился пьяным смехом. — Ты только представь себе — получать деньги за пьянство. Какой работодатель предложит такое? Разрешаю ему после даже остаться дома, коли самочувствие будет не ахти. Стало быть, сходи на лесопилку и приведи его сюда. Но присмотри, чтоб он раньше времени все не вылакал.

— А вдруг я откажусь?

— Не откажешься, Арон. Пока что мы, работодатели, можем приказывать. Ты что же, сочувствуешь рабочим? Вот уж не думал.

— Это ведь предательство.

— Возможно. Как бы то ни было, профсоюз-

ник встречается с работягами на хедсэтерской лесопилке ровно в одиннадцать. Разыщи его до тех пор. Наверняка он живет в «Медвежьей берлоге».

— Вряд ли ему это по карману.

— Значит, остановился у кого-то из работяг. Дай Асклунду понюхать бочонок, и он мигом туда добежит.

— А что, если профсоюзник тоже непьющий?

— Ни в коем разе. Он с поезда сошел нетрезвый, потому я все и знаю.

— Как ты только можешь, Юхан!

— Это нетрудно. Купить можно все. Разве что тебя не купишь, но ты, в общем, интереса не представляешь. В делах нельзя рассчитывать на людей, являющих собой исключения, мы вправе отвлечься от них. Если их становится слишком много, они перестают быть исключениями, и тогда возникает другая политическая ситуация, которой здесь пока что нет.

— Но будет. На подходе уже.

— Правильно. А я, видишь ли, на отходе. Из жизни, из отрасли. Я пока не настолько глуп, чтобы не замечать этого, газеты читать умею. Однако ж думаю еще немного продержаться, не хочу видеть, как дело моей жизни идет прахом.

Кстати, пластинки ты купил хорошие. Пойдем-ка наверх послушаем, ты да я. Это тоже приказ.

В бальном зале пусто. Арон сдувает пылинки с иглы, ставит звукосниматель на пластинку, стоит и молча слушает:

Я тут решил: чтоб моду догнать,
Как Кейт сестрица надо шимми плясать.
Старался как мог, и все было зря,
Но Кейт ни при чем тут, сестра моя.
Всё, ноги болят уж плясать с тобой —
Я жду не дождусь, давай отбой.

Поездка в Турсбю очень подорвала веру Арона в собственные силы. Прижимая к груди бочонок, он стоял на платформе среди вагонов, смотрел на густые хозяйские леса и думал, что мог бы в два счета выбросить бочонок, но тут к нему подошел кондуктор и завел разговор. Потом он хотел вылить водку в туалет и налить в бочонок воды, но туалеты были заняты, а поезд меж тем уже добрался до Турсбю. Арон бродил по улицам и немного погодя очутился на кладбище. В

церкви играл орган, потом двери отворились, выпустили похоронную процессию. Арон отошел в глубь кладбища, но процессия двинулась следом, все дальше, дальше, оттесняя его к стене, возле которой темнела открытая могила. Бочонок прямо-таки истекал скверной, и Арон, не желая быть застигнутым с этой мерзостью в руках, от отчаяния бухнул его в могилу, где сей сосуд приземлился стоймя. Задним числом Арон сообразил, что гроб теперь ляжет в яме наперекос. Что же он за человек такой — не мог сказать хозяину «нет»? Какие еще мерзости он готов совершить? Реальность — чересчур жестокая штука, подумал он, убегая от нее прочь.

Он принялся читать Библию, погрузился в божественное. И как-то раз прочел об учениках, которые в субботу срывали колосья. Эта история стала для него сердцевиной Евангелий, средоточием их света. Он чувствовал, как сильно она связана с Сульвейг и с ним, — в ней горел очаг любви и терпимости, она брала за живое его крестьянскую суть, и была далека от законоучительства, и лучилась светом, озарявшим их, его и Сульвейг, жизнь. Он сидел на Юллебюском бульваре под сосною любви — в том месте, куда часто приходил, чтоб побыть в одиночестве. Глаза он

закрыл, свет проникал сквозь веки, и Сульвейг пришла и была совсем близко, он ощущал, как ее ресницы щекочут щеку. А когда открыл глаза и хотел читать дальше, увидел, что буквы внезапно отделились от бумаги. Испуганно, завороженно наблюдал, как они утрачивали связь друг с другом, приплясывая, слетали с книжной страницы и рассаживались повсюду — в траве, в кронах деревьев, в небесной вышине, уже меркнущей, потому что близился вечер. Арон рассмеялся и зашвырнул Библию подальше, в канаву: она свое дело сделала. Ему дан знак. Надо быть внимательным, вот и все.

Он провожал взглядом круговерть букв, улетающих в небо, а когда настал вечер, смекнул, что звезды на самом деле вовсе не звезды, а буквы древней азбуки: там, наверху, записан текст, первооснова, ребус, и Сульвейг была в этом тексте — как объединяющая сила. Когда-нибудь она позволит ему понять.

Видел он и другое, возможно из Иезекииля: среди поля, полного мертвых костей, на равнине, где стон и горе, он углядел ее под буквами, полузримую, в бело-голубом хлопчатобумажном платье, легкое, как занавеска, оно облекало ее теплую грудь. И у него воспрянула надежда, что она един-

ственная из всех мертвых еще сохранила свои краски, что платье по-прежнему бело-голубое, что скулы ее по-прежнему золотятся загаром. Она жила, только далеко-далеко.

Арон думал, что держит свое новое знание в тайне, однако ж оно нет-нет да и просачивалось наружу, поначалу пугая Сиднера, а потом и Еву-Лису.

— Как чудн***о*** ты говоришь, папа. — Она с удивлением посмотрела на него.

Что же он говорил? Ничего особенного. Но разговоры, жалкие, ничтожные разговоры за кухонным столом, словно бы обрели иное временн***о***е измерение. Разговор шел не только здесь и сейчас, совершенно неожиданно в него могла закрасться словесная ниточка из давно прошедшего, улыбка, не имевшая ни малейшего отношения к стирке, стряпне и штопке чулок, хоть все трое и пытались этим заниматься. Арон начал улыбаться.

— К делу ему надо прибиться, — сказал Сплендид. — Чтоб не думать про нее.

— Не так это просто, — отозвался Сиднер; он все рассказал Сплендиду и попросил его тоже обмозговать ситуацию.

— Потолкую с папашей.

И вот Арона пригласили зайти домой к Сплендидову отцу, и он увидел большущий радиоприемник.

— Замечательное дело, — обронил безногий и покрутил ручки. — Ты когда-нибудь слыхал про любительские радиопередатчики?

И потихоньку-полегоньку они сумели заманить Арона в Суннеское общество радиолюбителей, которое основал Сплендидов отец. Собирались они в теплице у садовника Фелльд*и*на. Антенну поднимали на верхушку флагштока во дворе, а сами сидели в духоте теплицы, под рескриптом Его величества, дозволявшим им владеть передатчиком, среди сумбура проводов и наушников, кофейных чашек и булочек.

Писк, свист, треск — из Европы, а порой из Америки и Африки. Они сидели на стульях в тепле возле поникших томатов и верениц гераней, хризантем и бархатцев, крутили ручки настройки, теребили провода, а снаружи громоздились сугробы, давили на стеклянные стены.

Однажды они получили подтверждение связи — издалека, аж из Новой Зеландии. Конверт пустили по кругу, чтобы все рассмотрели марку, потом Слейпнер вскрыл его, отпил глоток кофе и быстро прочитал вслух письмо, кое-кто даже

понять не успел.

— Кончай форс давить, — сказал садовник Фелльдин, которому хотелось поскорей разделаться с письмом. Его интересовал сам передатчик, а не какие-то там письма, он хотел услышать, как прошли сигналы, какие улучшения можно предпринять, карточка же подтверждала только, что аппарат у него хоть куда.

С Ароном было по-другому. Устремив взгляд в темноту за стеклянными стенами, слушая треск печки за спиной, вдыхая запах влажной земли и мокрой шерсти, он отделился от своего тела. Далекое приблизило его к Сульвейг.

Удивительное письмо, сигнал, преодолевший непостижимые расстояния, оно подтверждало что-то, что он знал и все время предчувствовал, ведь сиротливый писк и треск шли из пространства вовне, а в этом пространстве обреталась Сульвейг. Слушать — это все равно что творить молитву, и Арон лучше других умел истолковывать знаки, осваивать их. Часто он досадовал на Слейпнера и Фелльдина, которые поворотом ручки заглушали сигналы, как раз когда он начинал обнаруживать порядок в их загадочных посланиях.

Написал, а вернее, надиктовал это письмо

новозеландский фермер-овцевод. Жил он на ферме, вместе с сестрой, по имени Тесса. У них было четыре сотни овец, но летом, которое скоро кончится — вы только послушайте, вздохнул Слейпнер, — оставалось время и на это новое увлечение. Раньше ему случалось устанавливать контакт с Австралией и Индией, а уж на такую удачу, как эта, он никогда и надеяться не смел. Буду очень рад продолжать контакты и впредь, а особенно будет рада моя сестра, которая пишет эти строки, потому что моя собственная рука в лубках, после несчастного случая. Изгородь ставил. Подписал Роберт Шнайдеман рукою Тессы.

— Кто-нибудь хочет прочесть сам?

Фелльдин быстро пробежал письмо глазами.

Связь установлена, и точка. Юно Ланц, кладовщик фабриканта Юлина, крутил листок так и этак, по-английски он не понимал, но нельзя ли ему взять марку?

— Нет, — отрезал Фелльдин. — Думаю, нам надо складывать письма в особый ящик. Может, их в конце концов много наберется, вдруг мы выстроим большую контактную сеть. А если отдавать марки, письма будут рваные.

— Так можно отмочить, — сказал Юно, — я сколько раз так делал.

— Текст испортится.

Арон разбирал письмо, дело спорилось, он откашлялся:

— А кто возьмется ответить на письмо? Ведь ответить-то нужно, так?

Фелльдин подбросил в печку дров.

— Вот ты и возьмись, — сказал он Арону. — Ты же знаешь английский.

— Кто? Я? Мне и писать-то не о чем.

— Да таким людям можно писать что угодно, — фыркнул Фелльдин.

Тут он и скажи свое:

— Нет. Нельзя. Дальних контактов бояться надо. Сильно.

Он закрыл глаза и принялся листать старый атлас, который он и Сульвейг так часто рассматривали вместе с детьми, сидя под вечерней лампой. Он помнил, как она показывала на американские штаты, говорила о поездках к маленьким, едва заметным точкам на бумаге. Вот тут есть мельница на реке, да, это река, хоть и не верится, широкая, медлительная река, однажды вечером мы сидели на берегу — папа, Слейпнер и я… Аккурат перед тем, как он исчез, мне было всего пять лет, мы удили рыбу, разложили костер на берегу, мама и он молчали, я перепугалась, ни-

чего не могла понять и до сих пор не понимаю…

Открыть атлас — все равно что снижаться с воздушных высот, возле земли можно сделать лист прозрачным, и тогда значки оборачиваются реальностью: лесами, ложбинами, горами, когда-нибудь они собирались вместе отправиться в долгое путешествие.

Фелльдин огорчился, когда никто слова не сказал про передатчик. Будто надеялся, что они расцелуют его или хотя бы посмотрят с некоторым уважением. Шагая в тот вечер домой, Арон уносил в себе всю Новую Зеландию. Уносил океаны меж континентами, уносил ночь и день, что их разделяли.

Он написал письмо. Сперва по-шведски, потом перевел, с помощью словарей и завуалированных расспросов Слейпнера, который сказал ему:

— Как я понимаю, ты письмо пишешь. И правильно делаешь. Тебе нужна пища для размышлений. И как знать, может, эта женщина аккурат для тебя.

Дорогие друзья-радиолюбители!

Дорогие Роберт и Тесса!

Пишу вам из снежной Швеции, вокруг наших домов высятся сугробы, на улице

мороз, звезды мерцают долгими ночами, и, словно падучая звезда, прилетела к нам весточка с другой стороны земного шара.

Удивительно, что такому суждено было произойти. Я, пишущий эти строки отчасти по поручению товарищей, но во многом и по собственной воле, — я человек очень одинокий, моя жена умерла в результате несчастного случая, но моя жизнь до сих пор чересчур сосредоточена в ней, ничто пока не сумело отвлечь меня на другие мысли, хотя я имею двоих детей, сына и дочку, и бессмысленную работу швейцара в гостинице. Раньше я крестьянствовал, держал небольшое хозяйство, где мы вместе работали, но в одиночку я там не сдюжил, сил не было жить в прошлом, ведь каждая комната, каждая часть дома насыщена ее присутствием.

Я теперь вроде как полчеловека. Наверно, мои дни наполнятся, если я буду знать, что время от времени станут приходить письма, если можно будет фантазировать о далеких краях, заполнить пустоту новыми знаниями. Мне только тридцать

пять лет, а я как бы утратил власть над существованием, вернее, оно утратило власть надо мною. Если бы вы сумели как-нибудь мне помочь, я был бы вам очень-очень благодарен.

С сердечным приветом,

Арон Нурденссон

Прошло несколько месяцев, выглянуло вешнее солнышко, снег таял, дни стали длиннее, и Арон, который жил своим письмом, этим первым окошком наружу, начал склоняться к мысли, что оно потерялось по дороге или что он предъявил этим незнакомым людям непомерно высокие требования, — как вдруг в первых числах апреля в почтовом ящике обнаружился длинный узкий конверт.

Таихапе, апрель.

Дорогой г-н Арон Нурденссон!

Дождь лил как из ведра, когда пришло Ваше письмо. Я вместе с братом стригла во дворе овец и успела вымокнуть до нит-

ки, когда увидела почтальона. Письма я получаю нечасто. И уж вовсе редко из такого дальнего далека, к тому же я почти забыла, что написала ту весточку от брата, которая, как я понимаю, и послужила поводом для Вашего письма.

Письмо откровенное, прямо-таки шокирующее. Я словно вдруг узнала, по-настоящему узнала человека. Ведь я мало что знаю о людях. Всю жизнь жила здесь на ферме, с тех пор как родители мои утонули на лодке. Несколько раз в год я езжу с братом в Веллингтон, по делам, но в Веллингтоне чувствую себя чужой, я — девушка деревенская, разговоры о коммерции меня не интересуют. Зато я много читаю, что, кажется, вызывает у брата раздражение. Он говорит, я из-за этого отстраняюсь от хозяйственных нужд, забиваю себе голову всякими идеями, и, пожалуй, он прав.

Пишу я Вам с робостью и стыдом, Вы оказали мне доверие, а я не знаю, как на него ответить. Ведь у меня самой нет никакого опыта — помимо гибели родителей, — что мог бы сравниться с

Вашим. Но какие страдания вообще сравнимы? Они все уникальны. Испытания у каждого свои и всегда самые тяжелые. С другой же стороны, я, наверно, ошибаюсь, недооценивая опыт собственной жизни. Просто мне кажется, будто опыт этот — в той мере, в какой он существует, — так и не был проверен.

Одиночество — тоже опыт, тоже знание? Идти ранними утрами через поля, смотреть за пастбищами, собирать вредных гусениц, менять выпасы, молчать вместе с братом в безмолвной кухне, видеть его одиночество — это опыт? Роберт застенчивый, робкий, думаю, из-за несчастья с рукой, на самом деле он повредил ее вовсе не недавно, хоть и велел мне так написать. Кисть у него ампутирована давно, он носит протез и всякий раз, как кто-нибудь приходит, старается его спрятать. Его безмолвная спина — часть моих мучений. Его взгляды, устремленные в сторону, его ревность. (Я должна быть перед Вами честной, в конце концов мы ведь никогда не встретимся и не можем осудить друг друга, Вы не можете осудить

меня, просто так хорошо наконец-то, наконец после стольких лет найти человека, которому можно написать **обо всем**.) Да, он прочел Ваше письмо без радости, напротив, с недоверием и презрением. (Словно в первый раз именно я заставила его написать.)

Мне двадцать два года, у меня никогда не было мужчины, но жажда моя так велика, что часто мне хочется умереть, и прохлада объемлет меня лишь в церкви, где я часто бываю. Однако ж моя жажда не греховна, просто мне не дано ее утолить. Странно, что я рассказываю об этом Вам, мужчине, которого никогда не видела, мне так спокойно при мысли, что Вы далеко, на другой стороне земного шара; щеки у меня горят, когда я пишу эти слова, у плиты, во время дождя, который стеной обрушивается на поля, дождь до того густой, что я трудом могу разглядеть спину брата, склоненную над овечьим загоном (полчаса назад одна из овец ягнилась).

Знай Новая Зеландия мои мысли, она бы прокляла меня. Это страна ограничен-

ная и безрадостная, люди здесь скрытные, замкнутые в своем мирке, неудовлетворенные. Нередко я чувствую себя так, будто я здесь чужая, будто хожу под маской, ношу не свое имя, будто мои мысли, мои подлинные мечты нельзя впустить в мое истинное «я». Может, мы все тут такие, все женщины по соседству — безмолвные, стерегущие друг дружку, в душе у каждой тюрьма.

Нет, книг я и впрямь прочитала слишком много. Мой брат прав: я нахваталась идей, непристойных идей, но что я потеряю, если буду писать Вам, тайком, ведь и это письмо я отошлю тайком, когда пойду в магазин… Заканчиваю, брат возвращается в дом…

(Три дня спустя.) Только сегодня появилась возможность продолжить. Письмо и без того уже длинное, но я не жалею о том, что написала, Вы для меня правда отдушина, ночи напролет были заполнены возможными беседами, впервые в моей жизни. Будто река во тьме — я заключаю мои мысли в бутылку и отпускаю по течению, к Вам. Вы — первый человек,

который говорил со мной, откровенно, всем своим существом. За эти трое суток я почти глаз не сомкнула, потому что видела Вас. Но кто Вы, собственно, такой? Вы существуете? Или Вы просто греза? Все остальные — их немного — говорят со мной и друг с другом как бы сквозь овечью ограду, недоразвитые уродцы-слова протискиваются сквозь решетку, сквозь колючую проволоку, сквозь электрические провода, скрюченные слова, фасады слов, я путаюсь, понимаете ли Вы меня? Мне страшно, очень страшно писать Вам. Слова бурлят, вспухают у меня во рту. Не причиняйте мне зла, не выдавайте меня, пишите до востребования, миссис Уинтер, пожалуй, можно доверять.

Ваша
Тесса Шнайдеман

Арона бросило в жар, дух перехватило, когда он той весною читал письмо. По своему настрою оно было во много раз выше его собственного. Он так не раскрылся. Не одарил ее ничем. Куда бы он ни

шел, письмо всегда было при нем, ночью лежало под подушкой, огоньком озаряло лицо.

Он ответил и получил ответ.

Таихапе, май.

Дорогой Арон Нурденссон!

Нынче солнышко. Всю дорогу до поселка, до почты, где ожидало твое письмо. После дождя чертополох (овцы его не едят) отсвечивает на редкость красивым фиолетовым оттенком. Я обычно его срезаю и дома засушиваю. Этот чертополох — символ Новой Зеландии, враждебный, но красивый, если смотреть издалека.

Не знаю, почему я прониклась доверием к миссис Уинтер, но что-то в ее глазах говорит мне, что она не выдаст твоих писем. Мы никогда не говорили о том, как мне живется, но люди, похоже, знают. Когда я спросила, нет ли для меня писем до востребования, она только кивнула и посмотрела на меня теплыми, добрыми

глазами. Словно за плечами у нее был опыт, за который она дорого заплатила. Возможно, много женщин приходит к ней за тайными письмами, возможно, все женщины и даже кое-кто из парней, живущие дома, подрастающие.

Есть у нас сосед, фермер, хозяйствует вместе с двумя сестрами. Сейчас все трое старые уже, косные, угрюмые, твердолобые — словом, точь-в-точь как большинство людей. Однако ж мне довелось слышать, что этот мужчина, лютый враг чертополоха, в молодые годы привез домой женщину из Австралии. Вдову с двумя детьми. И объявил, что намерен на ней жениться.

Родители ни в какую, выгнали ее за порог.

Что происходит с таким человеком? И с теми, кого это коснулось, ведь сестры, понятно, остались вековухами, потому что таков обычай.

Я иной раз наблюдаю за ним украдкой, стараюсь отыскать печати судьбы, но ничего не получается: он гладкий и пустой, как лед.

Я наблюдаю за ним, потому что его ситуация — это и моя тоже.

Да, у меня был мужчина. Один. Мы обручились, я отдалась ему (в первом письме не решилась написать об этом, ведь я знала так мало, но теперь иду на всё, не могу не идти на всё), один раз, мне не было стыдно тогда и не стыдно сейчас, единственный раз я жила. Когда я вернулась домой, с колечком на пальце, когда радостно показала его Роберту, он ударил меня протезом, с силой ударил по щеке, потом сорвал кольцо, приволок меня в нужник и швырнул туда кольцо. Ищи, если хочешь! — кричал он.

С тех пор минуло четыре года. «Мой муж» испугался угроз и уехал отсюда, вся моя сила воли и энергия улетучились, я была как живой мертвец, такой застало меня и твое первое письмо. Возможно, нервы у меня были на пределе, но это письмо вправду стало потрясением.

Второй раз я такого не вынесу. Может быть, миссис Уинтер прочла это в моих глазах? Неужели в них заметен опасный блеск? Заметно отчаяние?

Почему-то я боялась, что ты мне ответишь. Когда имеешь друга, который пишет тебе письма, отворяется слишком много шлюзов, пробуждаются мысли, долгие годы бывшие под запретом. Не буду скрывать: если переписка продолжится, я стану жить ради твоих писем, каждый раз, направляясь на почту к миссис Уинтер, я буду идти как по острым стеклам, хоть и знаю, что от письма до письма проходят месяцы, но в эти дни, хоть ты и не можешь этого заметить, я составляю фразы, образы, которые мне хочется передать тебе, однако ж именно сейчас (как это типично!) они куда-то пропали, я не владею речью. Всю жизнь я была никчемной, ненужной, никогда не находила себе применения. Никто никогда ко мне не обращался. Поэтому я боюсь, что по мне все видно, что меня заметят и что Роберт прознает и накажет меня. Вероятно, теперь я привлекаю к себе и взгляды мужчин, апатия, которая владела мною все эти годы, делала меня невидимой.

Тот, кто видим сейчас — если дело обстоит так, — чье лицо выглядывает из меня, человек ужасно беззащитный, больше я не в силах объяснить.

Твоя
Тесса Шнайдеман

Арон Нурденссон и Альфонс Нильссон начали общаться. Тихими июньскими днями Сплендид порой сажал отца в тележку, отвозил в Брубюский лес, и там, на какой-нибудь прогалине, они слушали птиц.

На одном из торфяников водилось множество редкостей, как-то вечером туда прилетела варакушка, и пела она так отчаянно прекрасно, бинокль переходил из рук в руки, и Альфонс Нильссон сказал:

— Ей здесь не место. Как и мне. Статистическая вероятность того, что здесь появится варакушка, на самом деле больше, чем вероятность моей жизни.

Прогалина располагалась высоко, оттуда открывался красивый вид на долину, на дома и верхушки деревьев, где щебетали черные дрозды, зяблики и синицы, и звуки птичьих песенок теплым золотым дождем сыпались на них.

Култышка Нильссон закрыл глаза и улыбнулся.

— Мы оба — люди с прошлым, Нурденссон. Но разве это мешает ценить такие вот дни.

— Значит, по-твоему, выжить стоило? По большому счету?

— Вопрос задан, Нурденссон, и у меня есть ответ: посмотри на детей. Видишь, как хорошо они вместе играют. Как много могут дать один другому.

— Так ведь большей частью твой Сплендид дает Сиднеру. Сиднер такой замкнутый, я иной раз опасаюсь за его рассудок.

— Не торопи его. А то, что ты говоришь, неправда: они сейчас накапливают опыт, закладывают основу для своих жизней.

— Плохой я отец своим детям.

— Всем нам иногда так кажется. Тише, она опять поет!

Варакушка в кроне дерева. В траве все тихо, Арон напишет об этом Тессе. О маленьком короле воздуха в тележке, об удовольствии, отражавшемся на его изуродованном лице, о беспомощности своего сына.

— Но моя жизнь сякнет, Нильссон. Я даю так мало.

— Сам человек никогда этого не знает. Что я, по-твоему, дал моей старушке, с таким-то телом. Хотя, возможно, кое-что все-таки дал. Она боялась парней, была сиделкой, хотела ухаживать за недужными, вот и получила такого, кому нужен уход, отвратительное существо.

— Почему ты стал королем воздуха?

— Если ты смоландец, то обязан стать королем воздуха. На земле, в лесу, я сделался настоящим чудиком, потому что не имел перспективы, не видел, где мое место в жизни. Так обстояло с самого начала, я должен был подняться над верхушками деревьев. Ничего удивительного в этом нет. Вдобавок я читал о человеке, который упал и…

— И все же?

— Родители мои были как мох, приземленные, задавленные. Альфонс, сказали они, поезжай в Америку или иди работать на стройку, только не убивай нас этакими сумасбродствами. Однажды в нашем городке выступали бродячие артисты, я примкнул к ним и начал тренироваться. А это как отрава для плоти. Если б ты хоть раз почувствовал, что значит лететь, быть подброшенным в воздух, всего-навсего десять — пятнадцать секунд — и конец, но, как бы то ни было, ты кое-что совершил. Показал себя с необычной стороны и

знаешь, что о тебе будут говорить.

Таихапе, июль.

Дорогой Арон!

Сегодня миссис Уинтер угощала меня кофе, я пришла перед самым закрытием, она кивком пригласила меня в свою квартиру. Тогда я уже поняла, что для меня есть письма. Заметив мое волнение, она сказала: я ненадолго выйду, а ты устраивайся здесь, читай, никто тебя не потревожит. Я расплакалась. До сих пор, говорю тебе, Арон, как на духу, никто никогда не разговаривал со мной на равных, не заглядывал мне прямо в душу. Жизнь беспощадна, а ведь может быть доброй. Кого и чего люди так сильно боятся? Собственной свободы? Или своих огромных возможностей? Вернувшись, она стала у меня за спиной и начала разминать мне плечи, но не сказала «не плачь». Сказала: не смущайся, плачь сколько хочешь.

Какое чудесное письмо о шведском лете! Я прямо воочию видела, как вы сидите в траве, ты и король воздуха, и слушаете птиц.

Да, я выплакала толику слез, что накопились за двадцать два года моей жизни, роняла слезу за слезой в чистых прохладных комнатах миссис Уинтер, с тюлевыми занавесками и цветами на всех окнах, с ароматами, веющими из ухоженного сада. Я преклоняю мою жизнь к твоим письмам, к их аромату. Как ты выглядишь? Я имею в виду внешне, ведь внутренняя твоя сторона, важная, истинная, думаю, мне знакома.

Ты воскресил меня из мертвых.

(Несколько дней спустя.) Сейчас, в середине июля, оконные стекла подернуты инеем. На севере, над верхушками деревьев, облака тумана, мы — дети облаков. Конечно, так называют маори, но я — одна из них, не по рождению, а по желанию. Я принадлежу к растоптанным. Я пакеха, то есть белая, но что, кроме цвета кожи, соединяет меня с Робертом, с окрестными соседями-фермерами? У маори есть

такое понятие — «тапу», запретительные предписания, над которыми белые насмехаются, но сколько же запретов окружает нас, их куда больше, чем придумали маори.

Нынче утром я опять ходила к миссис Уинтер. Хотела помочь ей со стиркой. Роберт ворчал, что и дома дел хватает, но я сослалась на ее больную спину. Он мне не верит. Не верит никому и ничему, всё у него отговорки да вранье. Я вышла за калитку, как раз когда облака поредели, черные и полосатые поросята зябли, но в листве уже поблескивало солнце, сосульки сверкали на ветках. Несколько туи[39], веером раскинув хвостовые перья, порхали на прогалине — у нас здесь тоже есть прогалины. Я немного посидела там, зарыв замерзающие пальцы в мох, не знаю, зачем я так делаю, кто-то говорил: если роешься во мху, накличешь снег.

Мы, пакеха, самые настоящие неудачники, проигравшие. Мы явились сюда,

[39] Примечания: 39

Туи — медосос; новозеландская птица-эндемик с блестящим черным оперением и белыми отметинами на шее, груди, крыльях; имеет очень мелодичный голос.

отняли у маори землю, «окрестили» их, а теперь сидим в плену у своей земли, у своих вещей, которые ревниво стережем, живем в стране, которая еще не вошла нам в плоть и кровь, мы чужаки, ведь маори уже нарекли имена горам, рекам, деревням, всему, что могло даровать нам историю. Спроси Роберта или меня, что означает то или иное имя, — мы не знаем. У нас нет общей истории с именами вроде Маунгапохатус — страна Уревера. Что сообщают эти имена, нам неизвестно. Приезжающим сюда туристам (их немного, но все-таки) всегда говорят: это аборигены придумали. Для нас нет ни призраков, ни звуков. Мы презрительно бросаем «придумали», так как устали оттого, что не способны наполнить свою душу легендами и мифами. Прямо перед нами история кончается, и не стоит воображать, будто она продолжается в Англии, разрыв слишком велик. Наш язык так уродлив, полон ругательств, упрощений и остранений. Варварский язык каторжников по-прежнему проникает в мои, в наши нервы, язык без

гордости, он держит нас в плену мерзкого образа мыслей. Если он тебе претит, приходится либо плыть назад в Англию, в Оксфорд, либо стать романтиком маори. Евреи, что живут здесь, хотя бы, как мне представляется, имеют собственные традиции, пусть даже и размытые, поблекшие, имеют свои особенности, на которые могут опереться. Поэтому они сознают свою непохожесть, свое тождество. А у нас только и есть, что религия вечного отрицания, делающая нас калеками.

Вот так я шла и размышляла обо всем об этом, что решила рассказать тебе. Я неученая, хотя кое-что и читала, моя жизнь занимает всего несколько гектаров, но ведь я вижу горы вдали. Я ездила автобусом в Веллингтон, взгляд мой блуждал за окном, я чуяла овец. Мне не боязно открыть тебе мое невежество, Арон, ведь та, что ходит здесь

в этом платье, всего лишь часть меня. Во мне есть другой человек, который только сейчас становится зримым, благодаря тебе.

Целую тебя,
Тесса

В этом письме лежала засушенная роза, еще источавшая благоухание.

Однажды пришло совсем другое письмо. Оно было адресовано гостиничной администрации и касалось бронирования номера. Такую почту Арон вскрывал на кухне у Царицы Соусов и г-жи Юнссон. Эти утренние часы с тихими разговорами о закупках и заказах и ленивыми пересудами о вчерашних попойках были самым лучшим временем для Арона, и, верный своей привычке, он прочитал письмо вслух:

Настоящим хочу заказать номер в Вашей гостинице на 17–18 текущего месяца, так как в связи со съемками фильма, которые будут происходить в Ваших краях, мне необходимо место, где можно отдохнуть, желательно инкогнито.

Искренне Ваш Фридульф Рудин[40], актер

Наступила тишина, как перед землетрясением. Потом письмо выхватили у Арона из рук, Царица Соусов плюхнулась за стол прямо напротив него, прочитала листок и разразилась неудержимым смехом.

— «Которые будут происходить в Ваших краях»! Ну и чудак это Фридульф Рудин. Фик-фок, явился в городок, Господи Боже мой. — Смех ее докатился до ресторанного зала, до Стины Эрстрём, сухопарой, с острым подбородком. Не выпуская из рук мокрой тряпки, она заглянула в дверь.

— Комик едет в городок! Фик-фок! — Царица Соусов опять засмеялась. — Глянь, Стина, эк забавно он пишет.

---

[40] Примечания: 40

Рудин Фридульф (1895–1935) — шведский комик, выступавший на эстраде и в кино.

Стина, к всему написанному относившаяся с подозрением, опасливо глянула на строчки, потом обернулась к Арону.

— Думаешь, что-нибудь выйдет?

— В каком смысле?

— Расскажет он что-нибудь? «Одинокую собаку» или другое что?

— Ты читать умеешь? — сказал Арон. — Место ему необходимо, где можно отдохнуть. Причем соблюдая полное инкогнито, понимаешь?

Этого она отнюдь не понимала, решительно отжала тряпку прямо посреди кухни, бегом кинулась за пальто и исчезла на улице, крепко стиснув сухие губы.

Что обеспечить гостю покой будет трудно, Арон догадался, уже когда позвонил сам Бьёрк и сообщил, что именно на этот выходной ему нужен номер, «чтобы тихо-спокойно обдумать кой-какие проблемы». Вслед за тем позвонил депутат риксдага Перссон, который «примерно в то же время» поедет в Карлстад на выставку лошадей и «хочет быть поближе к вокзалу». Мало того, в конце концов заявился Ёте Асклунд, заказал себе «chambre»[41] — знал, стало быть, как и весь

---

[41] Примечания: 41
Комнату *(фр.)*.

город. Ёте навис над стойкой, словно этакий куль нюхательного табака и водки.

— Думаешь, мне твоя гостиница не по чину.

— Почему? Только вот непросто это.

— Жаль, хозяин не слышит, что тебе деньги получать неохота. А ему они нужны. Гляди. — Ёте шваркнул на стойку бумажник. — Пересчитай-ка, Арон, и возьми сколько надо, я прошу одноместный номер. — Он нагнулся еще ближе и сгреб Арона за лацканы, руки у него тряслись, но не от злости, а по другой причине. — Ты знаешь, Арон, сколько во мне силы. В два счета могу свернуть шею и тебе, и всей гостинице. Но я такого не сделаю, я человек порядочный, сам знаешь.

— Да, Ёте.

— Всей публике могу шею свернуть.

— Знаю. Но ты ведь выпивши.

— В субботу буду как стеклышко. И комната мне нужна в субботу. Я в жизни мухи не обидел, день и ночь тружусь, и никто меня не погоняет, сам знаешь. — Он печально обмяк по ту сторону стойки. — Супружница моя, вишь, все деньги на наряды тратит. А теперь учиться ей приспичило, так она говорит, но я сказал: нет уж, не будет тебе никакой учебы. — Он покачнулся, отпустил Арона, навалился всем телом на стойку и заговорил

чрезвычайно доверительным тоном: — Укатывают в Карлстад, торчат там цельную неделю, а в пятницу заявляются домой, смотрят этак кротко, умильно и сообщают, что они-де учатся. А что по правде-то делают, Арон. На танцульки шастают! Все денежки спускают на новые пальто да юбки. Машина, которая кует деньги, — вот кто я такой. Возьму и сбегу, Арон. Пускай сидит со своими новыми юбками.

— У тебя и дети есть, Ёте.

— Младшую заберу с собой, когда сбегу, ей бедствовать не придется. Но сперва я потолкую с Фридульфом! В субботу буду как стеклышко. — И Ёте заснул, уронив голову на стойку.

Ёте Асклунд отличался не только порядочностью. Но еще и лукавством. В тот субботний вечер гостиничный ресторан был полон посетителей, во всем зале пустовало одно-единственное место, прямо напротив Бьёрка, который сидел в середине, у окна. По одну руку от него восседал депутат Перссон, сын прядильного короля, по другую — журналист Эдвардссон, который уже покусывал авторучку. Что ни столик, то важные персоны, в большинстве мужчины в темных костюмах и белых рубашках. Кое-кто в порыве щедрости и жену с собой привел. «Для разнооб-

разия, не все же субботы дома сидеть», — сказал один отец семейства. Другой наклонил голову и улыбнулся: «По случаю хорошей погоды», а третий сказал: «Случайно проходил мимо и подумал, почему бы не закусить хорошенько, раз уж я тут один», хотя все прекрасно знали, что столики заказаны еще несколько дней назад. При таком множестве посетителей в зале было необычайно тихо. К еде никто не приступал, к выпивке никто не притрагивался, те, что читали газеты, за полчаса не перевернули ни страницы. Царица Соусов и г-жа Юнссон нервозно толклись на пороге кухни, нет-нет подходили к столу с закусками, уставленному красивой блестящей посудой, подвигали ту или иную тарелку, переставляли вазу с цветами, а заодно косились на вестибюль.

Время от времени кто-нибудь настораживал уши, громко сглатывал, какой-то малыш, не издавший ни звука, получил строгий выговор и приказ помалкивать. Все окна были открыты, в зале слышали, что поезд на подходе и на улице опускают шлагбаумы. Наконец-то! Входная дверь отворилась, кто-то поднялся по лестнице. Бьёрк чуть отодвинул стул, помедлил, ступенек было много, секунду-другую сидел как на взводе. Потом окончательно и бесповоротно отпихнул

стул, скомкал салфетку, бросил ее на тарелку и метнулся к дверям. Все видели, как на лице у него расцвела широкая улыбка, он уже примеривался распахнуть руки в приветственном жесте.

— Сердечно… — начал он и обнаружил, что пожимает руку долговязому силачу Ёте Асклунду, который стоял на пороге, при полном параде, как и остальное общество. Сорочка сверкала ослепительной белизной, напомаженные волосы гладко зачесаны назад.

— Дело швах, — сказал Ёте со смущенным видом. Потом оглянулся в коридор. — Я был прав, Фридульф. Тут полна коробочка.

— Тогда закажем в номер, Ёте, — послышался голос Фридульфа. Ничего хорошего это не сулило. Хозяин прямо-таки вывалился за порог.

— Какого черта, Асклунд… Господин Рудин… — И еще дальше по коридору: — Господин Рудин.

— Думаю, Рудин хочет, чтобы его оставили в покое, — донесся голос Ёте Асклунда. — День у него выдался тяжелый…

— Для господина Рудина зарезервировано место. Столик у окна. Мое имя Бьёрк, ресторан мой, так сказать.

— Это я про него говорил. — Опять голос Ёте.

— Я хотел пригласить вас на обед, господин

Рудин…

— Мило с вашей стороны… но мы все-таки… — Открылась и закрылась дверь. Мгновение царила тишина. И вновь скрипнула дверь — на пороге опять возник Бьёрк, глядя поверх моря гостей, а голос Ёте Асклунда произнес:

— Будьте любезны, две чашки чая в номер. Спасибо.

Обед получился до крайности неловкий. Ведь сорок человек посетителей не могли просто встать и уйти, раз уж заказ сделан. Алкоголя было выпито очень мало, народ ковырял еду и почти глаз не поднимал друг на друга, ребенок, заскучавший было, что картофель слишком горячий, схлопотал оплеуху.

— В общем-то не такой уж он большой артист, — тихонько сказал депутат Перссон немного погодя. — То есть комик он неплохой. Пожалуй что.

— В общем, да, — откликнулся журналист Эдвардссон. — Комик ведь даже тексты себе не пишет. Ну а повторять написанное кем-то другим…

— Об искусстве тут и речи нет. «Я точно знаю, что стану всего-навсего обыкновенной дворовой собакой». «Нынче на ковре в гостиной случился

небольшой казус…» Помилуйте, ну что смешного в таких вот фразах? Если вдуматься, а?

— Я лично радио никогда не слушаю, — сказал Бьёрк. — По крайней мере, развлекательные программы. Раньше было куда лучше.

— Да, что верно, то верно, — кивнул депутат и бросил презрительный взгляд за окно: множество запрокинутых вверх лиц смотрело на него. — Не понимаю, откуда в людях столько любопытства. Подумаешь — деревенский комик прикатил! Ваше здоровье, Бьёрк.

К полуночи посетители разошлись, остался один персонал. Стина Эрстрём убрала со столов, принесла на кухню мусорное ведро и присела закусить — Царица Соусов придвинула ей оставшиеся бутерброды. Сиднер в пижаме сидел подле Арона, который заполнял бумаги к завтрашнему дню. Г-жа Юнссон считала чаевые, бросая медяки в копилку Армии спасения.

— Ты автограф-то у него взяла? — спросила Царица Соусов и сдобрила свой бутерброд ложкой-другой майонеза. Г-жа Юнссон покраснела.

— Хорошо ты обо мне думаешь. Я — женщина порядочная. — И чтобы опровергнуть столь ужасные подозрения, она опустила в копилку несколько десятиэревых монеток.

Тут в дверь постучали, и в щелку просунулась голова Фридульфа Рудина.

— Извините за беспокойство. Можно войти?

Царица Соусов знаком велела Стине Эрстрём очистить стул.

— Мы правда не помешаем?.. В смысле, постояльцам вход сюда, наверно, воспрещен?

Ёте Асклунд, сцепив руки на животе, стоял у него за спиной, такой же нарядный и аккуратный, как раньше.

— Популярным быть нелегко, — объявил Ёте присутствующим. — Издержек иной раз больше, чем удовольствия. В газетах не про все пишут.

В точности как Фридульф, он со всеми поздоровался за руку, а учитывая его многозначительное заявление и крепость рукопожатия, все восприняли это как должное. Перед ними стоял обновленный человек.

— Можно вам что-нибудь предложить, господин Рудин? Рюмочку водки? Бокальчик пива?

— От стакана молока не откажусь.

Стина Эрстрём взгромоздилась на стойку и болтала ногами, отдавая себе отчет, что участвует в чем-то не очень ей понятном. Она ковыряла пальцем в зубах — ведь, не дай Бог, кто заметит, что рот сам собой расплывается в ухмылке.

Фридульф огляделся по сторонам:

— Мне всегда нравились кухни. В доме нет места лучше. Отец мой был…

— …портной. — Царица Соусов протянула ему стакан.

Стина Эрстрём нахмурила брови. Ишь, как ловко ввернула, ну а ей что прикажете говорить? Тоже ведь охота словечко вставить. Ладно, потом.

— Верно, в Мункфорсе. Надо же, как порой тоскуешь по иным вещам.

— За популярность приходится платить. — Ёте Асклунд осмотрелся, смерил взглядом всех и каждого. Пусть несведущие хорошенько запомнят.

Стина Эрстрём сплела руки на коленях. И это она вполне могла бы сказать. Почти что. Подумала об этом одновременно с Ёте. Почти что. Она буравила взглядом Фридульфа, который пил молоко, держа стакан обеими руками. Может, про это сказать?

Что-де холодное молоко — штука замечательная.

Ведь никакой назойливости тут нет. Сказала — и дело с концом. По крайней мере, словечко вставила.

— Что может быть лучше холодного молока

вечерком! — воскликнул Фридульф, отставляя стакан.

Стина разочарованно вздохнула, но никто не обратил на нее внимания. Придется начинать сызнова.

— Ёте, как же ты ухитрился познакомиться с… господином Рудином? — спросила Царица Соусов.

— Добрался до Эмтервика и сел на поезд. Мне надо было, так сказать, исповедаться.

— И целый день ни в одном глазу. — Она похлопала Ёте по плечу.

— С таким человеком, как Фридульф, выпивка без надобности. С ним интересно, вот в чем дело. Все интересно. Я ведь пою, ты знаешь.

— Да уж, это всем известно.

— А звучит не ахти как. Вот об этом я и хотел потолковать с Фридульфом.

— Разговор у нас был очень интересный, — заметил Фридульф.

— Ты сказал, петь я умею, и неплохо. Но я ломал себе голову над тем, почему из меня ничего не вышло. А вот из Фридульфа вышло. В конце концов получается по-разному. Хотя изначально шансы были одинаковые. Ведь у обоих у нас отцы — портные.

Стина Эрстрём пыталась следить за разговором. Кто знает, долго ли он тут пробудет, Фридульф-то, а она так и не выдавила из себя ни словечка. Может, про кино что-нибудь? Или про музыку? Потому как остальные про музыку толкуют. И она вроде бы не перебьет, а поддержит разговор.

— Еще молочка?

Нет, надо же, опять эта Соусница все испортила!

Стина скатилась со стойки и первая подбежала к дверям кладовки, оттолкнула пухлую, округлую руку Царицы Соусов и потянулась за кувшином.

— Ну уж нет, — отрубила она, схватила кувшин и поднесла к стакану Фридульфа, но он отрицательно взмахнул рукой:

— Спасибо, достаточно.

Ну вот, выставила себя на посмешище. Стина отнесла кувшин на место и только тогда смекнула, что могла бы сказать: может, все-таки полстаканчика? Или, к примеру: что может быть лучше холодного молока вечерком? Хотя… Стоя к кухне спиной, она посмотрела на полки. Вздохнула. Придется действовать наобум. Нельзя уйти домой, ничегошеньки не сказав. Все аккурат замолчали. Она открыла рот.

— И что же вы, дядя, на это ответили? — спро-

сил Сиднер, который до сих пор только слушал.

— На что? А-а, отчего по-разному получается. Сказал, во многом это дело случая. Что до меня…

— Ты больше сказал, Фридульф, — перебил Ёте. — Сказал, что надо цель себе поставить и идти к ней.

Фридульф нахмурил брови, взгляд его упал на Арона, тот сидел погруженный в собственные видения, и Фридульф сказал прямо в них:

— Да, надо идти к цели. Все отбросить и идти к цели. Тогда чего-то добьешься. Целеустремленность, увлеченность в конечном счете самое главное.

— Это долгий путь, — сказал Арон.

Тут уж Стина Эрстрём не выдержала. Никто здесь, стало быть, слушать ее не желает. И она с горечью буркнула прямиком в кладовку:

— А из меня выйдет разве что обыкновенная дворовая шавка. — Она схватила пальто и, не удостоив их взглядом, выбежала из кухни.

Дорогой Арон!

Ты спрашиваешь, откуда люди черпают мужество. Мужество жить дальше. Я

могу только сказать, что дает мужество мне — твои письма. Уже два года они не дают мне пасть духом.

Я что же, лгу — я так боюсь лжи, ведь я решила быть с тобой совершенно откровенной, — лгу, потому что жила и до того, как мы начали писать друг другу? Нет. Я тогда не жила. Ты воскресил меня из мертвых.

В солнечном восходе над горами я вижу тебя. В росе на траве, даже в низкой траве меж кучками овечьего помета, в хрусте схваченного морозом снега я слышу тебя. В книгах, которые читаю.

Знаешь, в библиотеке я отыскала несколько книг норвежца по имени Кнут Гамсун. «Пан», «Виктория», «Голод», «Плоды земли». На карте я увидела, что ты живешь недалеко от Норвегии. Какие книги! Есть в них что-то, что я хорошо знаю нутром, хотя листва опадает иначе, а игра красок по весне и по осени не такая, как у вас. Ты читал эти книги? Ночами, в сновидениях, я путаю тебя и персонажей Гамсуна. Ты одинок, ты ходишь по лесам, ты подстреливаешь птицу, ты молчалив

и замкнут, но по-иному, чем здешние мужчины… Да, благодаря книгам, которые я читаю, ты не даешь мне пасть духом, благодаря тому, что есть другие миры.

Если б мы встретились! Как бы все было? По твоим словам, ты говоришь по-английски намного хуже, чем пишешь, без словаря ты беспомощен как ребенок. Но разве это имеет значение? Я видела твою душу и люблю ее. Встретимся ли мы? Я не умею лгать: мне хочется одного. Чтобы ты приехал и освободил меня. Я прижимаюсь к письму щекой, возможно, от него тоже будет пахнуть ягнятами и шерстью.

Твоя Тесса

В этом письме был желтый цветок, она называла его кауваи[42].

Дорогой Арон!

Не знаю, смеяться мне или плакать, но все же смеюсь. Хотела сделать тебе

---

[42] Примечания: 42

Кауваи — новозеландское дерево с красивыми желтыми цветами в форме колокольчиков.

сюрприз, наверно, так и есть? Когда я посетовала миссис Уинтер, что у меня нет ни одной фотографии, чтобы послать тебе, она сказала, что после мужа у нее остался фотоаппарат и пленку купить можно, только вот снимать она не умеет. Ей ведь уже семьдесят, маленькая, толстая, беспомощно-неловкая; как видишь, фотографии у нее и впрямь не получились. Как бы то ни было, давай посмеемся.

Мы расположились среди простынь в ее саду. Когда она собралась щелкнуть первый кадр, в почтовой конторе зазвенел колокольчик, и она обернулась, так что вместо меня на снимке простыни, новозеландские простыни. В определенном смысле они тоже небезынтересны, Арон, на таких простынях я грезила о том, как мы лежим рядом. На заднем плане видно часть двери в гостиную миссис Уинтер, где я много раз плакала, если тебе почудится там ручеек, знай, это мои слезы. На второй фотографии тоже простыня, крупным планом. Ветер надул ее пузырем, как раз когда миссис Уинтер нажала

на спуск. А я там, позади. Третий снимок. Ну как? Годится этот кусочек меня? Будем составлять портрет по кусочкам. Может, прислать тебе в следующий раз пальцы или ухо? Что ты предпочитаешь? Двойная экспозиция последних кадров являет глазу разрозненные фрагменты неба, грядок и опять-таки простынь. Если присмотришься, можешь различить мой силуэт. Это ведь тоже я: пустой силуэт, который ты можешь наполнить любыми добрыми пожеланиями. Ты уж постарайся, Арон, милый, хороший, я повсюду на этих фотографиях — справа, или слева, или вверху, или внизу.

Поцелуй меня в подбородок.

Люблю тебя,
Тесса

В конверт она вложила прядку волос, темных, мягких.

* * *

Арон улыбался, потому что в этом письме сквозили едва уловимые знаки. Настолько слабые, что лишь ему одному дано их истолковать. Солн-

це светило на простыни, и она была там, за ними. Пока еще не время снимать покровы.

Он стоял у плиты, кипятил белье, когда она впервые пришла в гости. Конечно, он услышал, как она тронула дверь, однако решил схитрить, сделать вид, будто ничего не слышал. Но и ахнуть не успел, а она уже очутилась у него за спиной, легкие пальцы скользнули под рубашку.

— Не оборачивайся, — говорит Сульвейг.

— Я знал, что ты непременно заглянешь, — отвечает он ей, деревянным черпаком вынимая из бака белое белье.

А Сульвейг обнимает его за талию.

— Никто мне не верит, — смеется он.

Сквозь рубашку он чувствует дыхание Сульвейг, она прижимается к нему губами.

— Ты должен научиться жить с этим.

— Можно мне поглядеть на тебя, Сульвейг?

Но она крепко держит его, не дает отвернуться от плиты.

— Еще не время.

— Почему ты так долго мешкала?

— О, знаешь, там столько дел… Белье можно полоскать, на вид чистое.

— Ты видишь сквозь мою спину?

— Разумеется, это время не прошло даром.

— А почему ты вообще исчезла?

Она смеется.

— Просто шутки ради. По-моему. Так чудесно — увидеть все.

— Но меня ты с собой не взяла? И где же ты побывала?

В ее голосе внезапно звучит жесткость:

— Только не это, Арон. Об этом ты спрашивать не должен.

— Знаю.

Ему хочется утонуть в ее объятиях, вобрать ее в себя, килограмм за килограммом.

— Иногда не мешает подв*и*гаться. Но и ты совершишь далекое путешествие. Если, конечно, хочешь вновь встретиться со мной.

— Сульвейг.

Ее имя отдает на вкус летним вереском и сосновым бором.

— Хочешь спросить о чем-нибудь еще? Мне пора идти.

Он пугается, переступает с ноги на ногу, осторожно, чтобы она не исчезла.

— Нет. Ты не можешь.

Он резко оборачивается с черпаком в руке, а она уже скрылась, дверь кухни распахнута, оттуда тянет холодом, Сиднер стоит на пороге,

смотрит на него.

— Паленым пахнет, папа. Что тут происходит?

Рукав рубашки лежит на плите и дымится, Сиднер подбегает, спихивает рукав с плиты, на кухне дышать нечем от испарений.

— Понимаю, — говорит Арон, не в силах расстаться с черпаком, опустить руку, отойти от плиты.

— Что ты понимаешь?

Нет, Сиднер, не надо. Еще не время. Она же сама так сказала. Скоро они всё узнают. Лучше немножко соврать.

— Никого не было. — Он чувствует, как хитрая усмешка выползает наружу, кривит уголок рта. — Совсем никого. Иной раз не грех и пошутить, Сиднер. — Эти слова он произносит очень отчетливо.

Он так рад, что вновь открыл для себя речь, и оттого повторяет:

— Иной раз не грех.

Будто он уже осмыслил это и оставил позади.

Все скоро уладится.

Действительность так резка. Четкие, ровные углы всех вещей. К примеру, черпак можно положить на мойку. Грязную воду от полоскания можно выплеснуть, прополоскать еще раз, опять

выплеснуть, опять прополоскать, опять выплеснуть.

Он ободряюще кивает Сиднеру:

— Полоскать белье очень просто.

Но Сиднер хмурится — он до сих пор по ту сторону, и оттого Арон невольно добавляет, чтобы мальчик не чувствовал себя вовсе посторонним:

— Иной раз.

— Что ты говоришь, папа. — Сиднер смотрит на обгорелую рубашку.

— Иной раз, — повторяет Арон с улыбкой и в тот же миг понимает, что слова эти не к месту. Только что были к месту. А теперь нет. «Иной раз» висит над плитой, выглядит так резко, так отточенно, он проводит рукой по воздуху, улыбается Сиднеру. — Иной раз очень легко забыться.

Так-то уже гораздо лучше. Произнеслось с легкостью, а теперь надо показать Сиднеру, что это не случайность, что он вправду легок на слова, и он бойко варьирует:

— И затаиться тоже легко.

Словно музыка. Словно меняешь взаимную соотнесенность звуков.

Впрочем, нет.

Чего доброго, выдашь себя таким манером. Проболтаешься про Сульвейг! Он же обещал ей

ничего не говорить, это будет предательство, нужно загладить содеянное, выполоскать бодрость, ведь она и есть *знак*. Обхватив голову руками, он подходит к столу, молчит, опустив взгляд на скатерть, чтобы потушить сияние, — удается легко, чересчур легко, он теряет опору, необходимо предъявить что-нибудь в совершенно других красках.

— Не мешало бы прогуляться в лес, за грибами. Втроем — ты, Ева-Лиса и я. Ягод набрать. На зиму запасти. Чтоб все было чин чином. Слышишь? Чин чином, Сиднер. Не как сейчас…

Он хлопает ладонью по столу, так что солонка падает на пол.

Сиднер стоит перед ним, касается рукой его ключицы.

— Что случилось?

Арон поднимает глаза:

— Как же ты вырос, Сиднер, мальчик мой.

— Ступай отдохни, папа. Я приготовлю обед.

— А ты правда сумеешь? На улице снег идет?

— Так ведь еще только сентябрь.

— Да, но… вон как холодно-то.

Тело на месте. Тишина тоже.

— Нам надо вместе держаться, всем троим.

— А разве мы не держимся?

— Ты так думаешь?

— Да, папа. По-моему, нам хорошо.

— Ты здорово вытянулся, а я и не заметил. Прямо не узнать тебя.

— Еще бы. Метр семьдесят четыре, чуть ли не выше всех в классе.

Закончив школу, пройдя конфирмацию и купив шляпу, Сиднер получает место в москательном магазине Вернера Нильссона, с жалованьем пять крон в день. Стоит за прилавком, продает краски, клейстер, предметы домашнего обихода, лечебные травы.

Дела в магазине пока идут блестяще, и там постоянно происходят события, расширяющие Сиднеров мир.

> «Для того, кому свойственно любопытство, – напишет он позднее, – мир есть постоянно растущая эмпирическая область. Но кому оно свойственно, а кому нет? Какие механизмы сковывают одних, а других наделяют этим даром? Я не знаю, потому что долгое время сам не понимал, вправду ли вижу, участвую или же как

зомби брожу по свету глухой, немой и замкнутый».

Хозяин, Вернер Нильссон, занимался главным образом витринами, поскольку окончил в Стокгольме художественно-промышленное училище; способный рисовальщик и декоратор, он работал в Копенгагене и в Стокгольме, где отделывал Красную Мельницу и Берновские салоны. И любил рассказывать о больших городах, не только Сиднеру, но и покупателям, поэтому многие твердили, что к Вернеру можно ходить, только когда есть лишнее время.

Уже в ту пору коммерсант из него был довольно странный, ведь прежде Сиднеру ни разу не доводилось слышать, чтобы кто-то почем зря раздавал вещи, да еще и приговаривал: «Это ничего не стоит!» Или отсоветовал покупку, хотя товар был в наличии. «Лучше сами сделайте, дешевле обойдется». Магазин располагался на Главной улице, в самом центре города. В спокойные утренние часы Вернер, стоя у окна, смотрел, как сворачивают за угол извозчики и такси Улы Автомобилиста.

Ула Автомобилист первым приехал в Сунне на авто, случилось это еще в 1908 году, и авто было марки «репио». Теперь в городе десятка два

автомобилей, а во всей Швеции их 48 000, три сотни людей уже погибли под колесами, однако ж автомобиль по-прежнему достопримечательность, особенно когда им управляет ветеринар Франц Линдборг. Машина у него идет зигзагом, наезжает на тротуары, а порой все завершается ударом о фонарный столб. Теперь это отнюдь не всегда вызывает веселье, и вскоре его поездки тоже становятся достоянием истории, в один прекрасный день местная газета волей-неволей высказывает то, что у многих на уме:

> «Вчера у Роттнеруса ветеринар Франц Линдборг, который управлял автомобилем в своей обычной манере, сбил пятилетнюю девочку. Ребенок получил перелом обеих ног; сбежавшиеся люди пытались задержать Линдборга, но он поехал дальше, находясь, по всей видимости, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Надеемся, что г-н Линдборг будет наконец лишен водительских прав, которыми долгое время весьма злоупотреблял».

Как раз в связи с автомобильными вояжами ветеринара Сиднер впервые знакомится с жиз-

ненной философией Вернера, ибо таковая у него имеется. Обутый в войлочные тапки, хозяин лежит в витрине, украшает ее к воскресенью восковыми куклами (витрина у него самая красивая в городе), а Сиднер, перенявший у Сплендида умение читать вслух, сообщает ему о проступке ветеринара.

— Дьявольская сила, — говорит Вернер. — Против нее человек ничего сделать не может.

Сиднер, хоть и не любит бранных слов, спрашивает, что это означает.

Вернер садится в витрине и излагает свой взгляд на человека:

— Существуют две силы, две могучие силы. Добрая и дьявольская. Меж ними постоянно идет борьба. Коли дьявольская сила проникнет в плоть — всё, крышка тебе. И сидит она во многих людях, вон, присмотрись, для примера, к судье Франке, к Б. П. Нильссону, к Бергу с Прибрежной улицы, к Альмерсу, ну, который на Брубюском Лугу живет, к Линдбергам из Саллы, к Ульсону, к Эрикссону… Да-да, для примера только. И в кофе дьявольская сила прячется, и в алкоголе, и в табаке. Я и сам как-то раз дьявольщины этой глотнул, сестра в термосе своем принесла… — Вернер озирается по сторонам в пустом магазине, понижает голос:

—…в ней тоже это сидит, в сестре-то. Она умудрилась перепутать кофе и чай, я отпил глоток и несколько дней прямо сам не свой был.

— Это когда? Прошлой весной? — спрашивает Сиднер.

Вернер энергично кивает.

— Сразу после Пасхи?

— Да. Ты, стало быть, запомнил.

Именно тогда Сиднер поневоле начал пить чай. Большую чашку перед работой, Вернер лично заваривал в конторе. Сам он каждое утро выпивал целый литр, с нервной, оживленной улыбкой обводил взглядом комнату, подносил чашку к губам, закрывал глаза, прислушивался, будто следил, чтобы чай вправду наполнил все телесные фибры, преграждая путь дьявольской хитрости и обману. Сколько чая он пьет вечером, не знает никто. Да и чай необычный — смесь смородинного листа, мяты, шалфея и подорожника.

Вернер пристально смотрит на Сиднера.

— Надо вставать, когда пьешь, Сиднер. Тогда просветление наступает скорее. — Он показывает глазами, улыбкой, благочестивым взглядом. — Чувствуешь?

Сиднер кивает, через некоторое время ему уже не терпится отлить. И хорошо, ничего дурного

в этом нет.

Затем ритуал усложняется.

— Когда пьешь, надо стоять у окна и глядеть на дерево, тогда тело осознает свое место в мире. Это тоже хорошо, дерево весной красивое, свет проникает сквозь юную листву, играет на булыжной дорожке сада. Зимой тоже замечательно, когда снег укрывает ветви и сад весь белый и ровный, как детское одеяльце. И убирать в саду нельзя, хотя соседи из магазина готового платья постоянно по этому поводу протестуют.

Сиднер подпадает под действие чая, ему хочется примкнуть к золотой, просветленной части общества.

— Читаешь газеты, — говорит Вернер, — и что видишь: дьявольщина, на каждой странице. Несчастья, злоба. Ты кофе-то, надеюсь, не пьешь?

Сиднер кривит душой, и Вернер меряет его взглядом с головы до ног:

— Н-да, не знаю. Но ты еще молод.

Лица Вернера почти не видно за зеленой литровой чашкой с красивым узором замков и садов, которую он по окончании утреннего ритуала запирает в сейф.

Руки у Вернера лихорадочно-беспокойные, все время суетливо перебирают, ощупывают банки

с красками, бутылки со скипидаром. Скользят по конторскому столу, что-то поправляют, убирают, раскладывают ручки строго параллельно бювару, смахивают пыль, трут, чистят. И тем не менее повсюду полнейшая неразбериха.

Где-то, думает Сиднер, у него наверняка зарыт клад, ведь он постоянно улыбается загадочной улыбкой, гаснет она, только когда покупатель одержим дьявольской силой.

Как и Фанни, Вернер — слушающий. Вслушиваясь, он глядит в сторону, куда-то наискось, за плечо. И немного погодя голос всегда приходит, голос уверенности, который преисполняет Вернера твердой решимостью, открывает его покупателям, курьерам и людям на улице.

Но никогда Сиднер не видел на его лице такого торжества, такой сияющей улыбки, как в тот день, когда он получает некую посылку и вскрывает ее у Сиднера на глазах. Обернутый в шелковую бумагу, там лежит кусочек металла. На обертке — французская марка.

— Урановая смолка, — говорит Вернер. — Мадам Кюри.

В те годы, когда Сиднер работает у Вернера, происходят перемены. Однажды в Копенгагене Вернер познакомился с неким ориенталистом и

астрологом, который явно оказал на него огромное воздействие. Составленный им гороскоп лаконично гласит: «Прежде чем достигнешь пятидесятилетнего возраста, ты совершишь поступок, который определит всю твою жизнь».

Где-то у Вернера была женщина, но он ее забраковал, обнаружив, что и в нее вселилась дьявольская сила, вернее сказать, пожалуй, она-то и стала первым свидетельством существования этой силы, многие так считают, она выманивала у него деньги, прилюдно над ним насмехалась, и в результате он начал еще больше прежнего прислушиваться к голосам не от мира сего.

А годы шли, скоро уже и пятьдесят стукнет. Но за месяц до пятидесятилетия ему на глаза попалось объявление, что на продажу выставлена усадьба Фрюберга. Большой особняк с двумя флигелями, в нескольких километрах южнее Сунне, дом весьма обветшал, требует ремонта, и никто на него не зарится. А Вернер покупает, и приобретенный дом окажет определяющее воздействие на всю его оставшуюся жизнь.

Вслед за покупкой количество одержимых дьявольской силой в Сунне и окрестностях катастрофически возрастает, ведь покупка съедает все Вернеровы средства, кредиторы наседают,

а дом все больше приходит в упадок. И скоро Вернер только и делает, что строчит письма и обвиняет человечество в злобе и гонениях, другой жизни у него нет. Он копит доказательства, отыскивает дьявольщину в лицах клиентов «в минувшую пятницу, когда вы заходили ко мне в магазин». Все магазинные дела ложатся на Сиднера, поскольку Вернер готовит мир к великим открытиям, которые явят всем его истинную натуру. Вместе со своими кошками — их у него тринадцать, пятнадцать, а скоро уже и два десятка — он стоит на верхнем этаже своего особняка, на столе, и, вооружившись огромным циркулем, бумагой и карандашами, расщепляет атом.

Много раз Сиднер разглядывал дверь Фанни Удде, с тюлевой занавеской, уложенной в форме песочных часов, но так и не мог решиться нажать на ручку и войти. Однако ж теперь, когда обзавелся шляпой и длинными брюками, да и вырос по меньшей мере сантиметров на десять, наконец-то набрался храбрости.

Китайский колокольчик зазвенел. В магазине было темно, и Сиднер не сразу разглядел Фанни в кресле за прилавком, тяжелую корзину прически

и глаза, устремленные на него, растерянно замершего на пороге. Держа шляпу в руке, он легонько поклонился.

— Я вот думаю, можно войти?

— Сиднер! Дорогой, как замечательно, что ты заглянул. Я часто тебя вспоминала, думала, почему же ты не заходишь.

Он огляделся по сторонам:

— Что, нету нынче клиентов?

Коммерсант и коммерсантка. Сам он запер Вернеров магазин всего получасом раньше, была суббота, и он по опыту знал, что после обеда недельный поток покупателей иссякал.

— Почему, — сказала она, — мне жаловаться не на что. Подойди-ка поближе, дай на тебя посмотреть.

Он шагнул к прилавку, положил шляпу, пригладил волосы.

— Рискнул, значит, зайти в одиночку?

— Ну да, я… А Сплендид разве не здесь? — Ввиду столь обидного намека он счел за благо задать этот вопрос. — Я думал…

— Он давненько здесь не появлялся. Все покинули старую даму.

— Вы не старая.

— Ты и волосы помыл. Можно потрогать?

Он наклоняется над прилавком.

— Невозможный ты человек, Сиднер, зайди сюда. Мне так далеко не дотянуться.

Сиднер покорно зашел за прилавок, стал с нею рядом.

— До чего же красивые и мягкие волосы. Женщинам такие нравятся. И на затылке тоже. Нагнись еще немножко, я потрогаю. Ты очень вырос с тех пор, как я последний раз тебя видела. И пахнет от тебя приятно, впрочем, в твоем магазине есть из чего выбрать. И выбирать надо только самое лучшее! — Она улыбнулась ему, ноздри затрепетали. — Старым женщинам это по душе. Ведь ты, наверно, думаешь, что я старая?

— Нет.

— Наверняка думаешь.

— Уверен, что не думаю.

— Будь честным, Сиднер. Со мной надо всегда быть честным. Всегда. Нельзя окружать себя льстецами. Верно?

— Я как-то не думал об этом.

— Но ты это запомнишь. Ну скажи честно. Чем я, по-твоему, особенно стара?

— Не знаю.

Ему нравились легкие нервные подрагивания ее губ, легкие складочки в уголках рта, странные

серые глаза, которые тщетно пытаются удержать мгновения настоящего, однако ж зачастую ускользают в грезах прочь, за окна.

— Лицом?

— Тетя Фанни, милая, я правда ничего такого не думаю.

— Но ты же видишь у меня морщинки? Чувствуешь?

— Нет. — Он бы рад убраться отсюда, уйти, однако Фанни мягко держит его запястье.

— Как ты можешь почувствовать, если стоишь руки по швам. Ты потрогай.

Он выполняет ее просьбу. Кожа у Фанни такая гладкая, что он невольно восклицает:

— Нет тут никаких морщин!

— Какие у тебя красивые руки. Я сразу заметила, еще когда ты 6 первый раз приходил. Да, прошлый раз. Я тогда подумала, что руки у тебя совершенно необыкновенные. Пугливые и все-таки любопытные. Руки, которые знают, что должны прикоснуться к миру. Например, к моему телу?

Сиднер сглотнул. Так, что ли, Сплендид проводил у нее время? Он сообразил, что был уверен, будто Сплендид почти всегда навещал Фанни, прежде чем зайти к нему. Будто здесь и вот так

он черпал толику знаний о мире. Может, она и с другими своими покупателями так же разговаривала? Его бросило в жар, когда она опять взяла его руки и положила их себе на грудь. Он зажмурился.

— Ну так к***а***к?

— Нет. Только я ведь не знаю, я никогда…

— Тогда я могу сказать: они не старые. Но что же в таком случае, скверный мальчик?

Он вовсе не считал ее старой, тем не менее надо было что-нибудь сказать, чтобы положить конец этому тягостному сеансу.

— Волосы, наверно? Эта ваша прическа, тетя Фанни.

— О, понимаю. — Она ублаготворен но и изящно откинулась на спинку плетеного кресла и мечтательно устремила взгляд в окно. Руки у Сиднера еще горели, когда она тихо, почти шепотом спросила: — Как по-твоему, докуда они достают?

— До плеч-то наверняка.

Она наклонилась к нему.

— Не угадал! Попробуй еще раз.

— До талии?

Тут он увидел, как она смеется, громко, весело, и под прикрытием этого смеха она опять притянула к себе его руку, провела ею по спине и

остановила на пороге.

— Такое тебе в голову не приходило, верно?

— Вот это да. Никогда не видел таких длинных волос.

— Еще бы! Мало кому доводилось видеть. Но в один прекрасный день, Сиднер… В один прекрасный день ты…

Тут китайский колокольчик опять зазвенел, и они отскочили друг от друга, как перепуганные птицы. По знаку Фанни Сиднер схоронился за двойными красными драпировками, мягкими, обволакивающими, тяжелыми. Он стоял в ее квартире, еще ничего почти не видя, одурманенный запахом духов и женщины. Никогда прежде он не видал такой странной комнаты. И сама Фанни представала здесь в ином свете — кругом фотографии Свена Гедина, его книги. «От полюса до полюса». «От Туркестана до Тибета». «На просторах Азии». А посреди комнаты — огромный черный рояль. О, руки у него задрожали, он подбежал к фортепианной скамье и, не задумываясь, заиграл «Von fremden Ländern»[43] Шумана, как бы убегая дальше, в очередные двери. Откинул

[43] Примечания: 43

Полное название пьесы Р. Шумана — «Von fremden Ländern und Völkern» («О чужих краях и народах» — *нем.*).

голову назад и уплыл прочь. Никогда ему не доводилось играть на таком инструменте! Звуки уносили его вдаль, лишь немного погодя он услышал из магазина голоса, приглушенные, спокойные, но только после нескольких реплик узнал голос Сельмы Лагерлёф.

— Ужасно устаю от разъездов по магазинам, однако ж иногда приходится это делать. Стульчик для меня найдется?

— Конечно.

— Если я не мешаю тебе, Фанни, деточка.

— Нет, что вы. Как было в Стокгольме? Вы навестили его, Сельма?

— Кого? А-а, ну да. Свена Гедина. Фанни, деточка!

— И что он сказал?

— Сказал… Ну, передал привет, спросил, как ты живешь.

— Во что он был одет? В белый костюм?

В голосе Сельмы зазвучали очень резкие ноты:

— Фанни! Свен Гедин — старик. Вряд ли он ходит теперь в белом костюме.

Щеки Сиднера обдало жаром, он не хотел слушать дальше, взял на рояле громкий аккорд, потом еще один и немного спустя снова услышал Сельмин голос:

— Кто у тебя там?

— Соседский мальчик… Вы его знаете, Сельма, его мать коровы затоптали… Правда, хорошо играет?

— Фанни!

— Ему всего лет семнадцать-восемнадцать, он…

— Что мне с тобой делать, Фанни… Хотя меня это не касается.

Что Сельма имела в виду? Жар проник Сиднеру в кончики пальцев, он ничего не понимал, не желал понимать. Играл мягко и тихо, чтобы находиться сразу и в этом разговоре, и в музыке.

— Шляпа у него, во всяком случае, есть!

Он словно воочию видел, как Сельма тростью подталкивает шляпу, отодвигает ее подальше от себя, так что шляпа падает на пол возле прилавка.

— Н-да, ты живешь в своем мире. Но мальчик, судя по всему, способный.

— Очень впечатлительный, тонкий, но застенчивый.

— Не стоит ему быть здесь, — обронила Сельма.

— Сказать… чтобы перестал?

— Я имею в виду в Сунне. Здесь не место для

талантов. А тебе надо подумать о собственной репутации. Дай-ка мне трость, Фанни. Пора восвояси, в Морбакку. Кстати… нынче осенью он, если сможет, отправится в лекционное турне. Стрёмстад, Гётеборг и все такое прочее. Если ты впрямь хочешь повидать старика.

Сиднер опять с головой ушел в музыку, и Фанни долго стоит и наблюдает за ним, склоненным над клавишами.

— Ну как, продали что-нибудь? — спросил он, меж тем как в воздухе еще трепетали отзвуки последнего аккорда.

— Нет, зашел кое-кто гардины посмотреть. Из таких, что ходят по магазинам, ничего не покупая.

— С ними тоже приходится быть вежливым. Фантастический рояль! В жизни не играл на таком инструменте. А вы сами играете, тетя Фанни?

— Я не умею.

— Но почему?..

Она отошла к окну, отщипнула листок герани.

— Это все мой муж.

— Муж?

— Ротмистр. У него были свои представления о том, что приличествует положению в обществе.

Хотел воспитать меня.

— Я и не знал, что вы были замужем.

— Я сама не знала.

Она села рядом с Сиднером на фортепианную скамью, и такой был меж ними теперь холодок, Сельмины слова лежали меж ними, он не желал закрывать глаза, чтобы не ощутить тяжести ее груди и ямочки на пояснице.

— Я была очень молода, Сиднер. Совсем девочка. Он был много старше. Не хочется мне об этом говорить.

— Да я вас и не заставляю.

— Вот и хорошо. Тебе многого не понять.

— Все я понимаю. — Он почти выкрикнул эти слова. Внезапно. Будто имел на нее права. Внезапно. Будто был частью этой гостиной с ее плюшевыми портьерами, зелеными креслами, стенными лампами над картинами, роялем. — Я не ребенок.

Он снова переступил порог музыки, с вызовом посмотрел на нее, удаляясь в чистые, тихие просторы. Играл сонату Бетховена, медленную часть, а когда повернул голову к ней, увидел ее глазами музыки, только музыки. Здесь все горизонты были далеко-далеко, человеческое в нем и в ней — словно крапинки на далекой льдине. Он

бродил в собственном времени музыки, тихонько покачивал головой, вслушивался туда, где не было ни ее, ни этого места и часа, а за окном густели сумерки, и Фанни, покорная законам музыки, зачарованно притихла, пока он играл, лишь теребила бахромку наброшенной на плечи зеленой шали.

— О-о, — вздохнула она, когда он доиграл до конца, но не смотрела на него, устремив взгляд себе на колени. — Если хочешь, приходи сюда в любое время и играй. В любое время.

— Спасибо, тетя Фанни, — сказал он, встал и вышел сквозь тяжелые запахи портьер.

— Верно, — сказала однажды Царица Соусов в гостиничной кухне, когда он помогал ей готовить бутерброды к свадебному банкету. — Ротмистр Удде, он вообще-то был учитель верховой езды. Вроде как. На тридцать лет старше Фанни. Когда они сюда приехали, она совсем молоденькая была. Он купил дом и магазин, а сам перешел через дорогу в гостиницу и по большому счету так там и остался до конца своих дней. Приходил к обеду и сидел, пока его не выносили. От пьянства и ревматизма он в конце концов уж и полсотни метров

до дома одолеть не мог. Но посреди улицы был зеленый газончик, там даже несколько кустиков таволги росло. На этом газончике он поставил себе кресло. Сидел там и спал или рассказывал байки про Евле и про Стокгольм, пока однажды ночью не замерз до смерти. После него, кроме пачки счетов, только и осталось, что кроссворд с одним-единственным вписанным словом. Я сама видела, — сказала Царица Соусов, — помогала занести его в дом. ГНЕВ, пять букв. Это он отгадал. ЗЛОБА, такая вот была отгадка.

Чего удивляться-то, что Фанни маленько странная.

Однажды августовским днем Фанни спросила, не хочет ли Сиднер съездить вместе с нею на автомобиле в Стрёмстад.

Свен Гедин выступит с лекцией, а собранные деньги пойдут на снаряжение новой экспедиции. Экспедиция эта отправится в еще не изученные районы Восточного Тибета и Китая. Правительство, конечно, выделило некоторую сумму, однако ж дополнительная пропаганда и взносы общественности обеспечат экспедиции желанную финансовую поддержку. Это будет последняя

большая исследовательская экспедиция. Затем человечеству придется выйти в космическое пространство или в глубины Земли — нового больше нигде не найти. Скоро в географии не останется белых пятен, все без остатка будет нанесено на карты. Свен Гедин — отважный путешественник и исследователь. В пустыне Гоби он пил кровь ягнят и верблюжью мочу. Спутники его умерли, но это печалило его меньше, чем гибель животных, приносимых в жертву, так сказать, ради людей. Тень Гедина простиралась далеко. Несколькими годами раньше в Сунне, в Вермланде, двое юнцов, по имени Сиднер и Сплендид, за неимением верблюдов и ягнят пили петушиную кровь. А пустыню им заменяли задворки каменотесной мастерской Слейпнера и Турина. Спрятавшись в жгучей крапиве и ольховых кустах, оба плевались и сыпали проклятиями.

Свен Гедин избрал себе жизненную стезю в тот ветреный день 1880 года, когда Норденшёльд[44] вернулся на «Веге» в Стокгольм. Тогда он, мальчик, вместе с родителями стоял высоко

[44] Примечания: 44

Норденшёльд Нильс Адольф Эрик (1832–1901) — шведский географ и геолог, исследователь Арктики; в 1878–1879 гг. на судне «Вега» впервые осуществил сквозное плавание Северо-Восточным проходом из Атлантического океана в Тихий.

на Фьелльгатан и смотрел, как падают в воду и гаснут ракеты фейерверка.

Может, и Сиднер примет главное свое решение, если услышит в Стрёмстаде Свена Гедина?

— Хотя, возможно, ты уже слишком взрослый, Сиднер. Ходишь в шляпе и вроде как управляешь магазином. — Она смерила его взглядом с головы до ног. — Ты такой большой, элегантный.

Ему было семнадцать, и он постарался стряхнуть ее взгляд.

— Сперва мне надо поговорить с отцом, верно?

— Попроси его зайти сюда.

— Ему, сказать по правде, нечего надеть. — Арон смотрел в пространство, поверх рулонов тканей и выкроек.

— Это я улажу. Вы знаете, господин Нурденссон, так тоскливо, когда своих детей не имеешь, а нужна помощь с автомобилем и прочими вещами.

— Сиднер не разбирается в автомобилях.

— Ну как же, папа. Мы со Сплендидом…

— Для вашего сына это будет великая минута. Необходимо дорожить детской любознательностью, развивать ее, пока не поздно. Сиднер, ты не заваришь своему отцу чашечку чая?

Арон вздрогнул. Неужто мальчик успел этак здесь освоиться? Он поблагодарил и отказался от

чая. Все эти ткани словно бы норовили затереть его, от тяжелого запаха духов было нечем дышать. А, собственно, зачем он ломает себе голову? Сиднер сам себе хозяин. У Арона своих дел хватает. Это ему скоро понадобится совет сына. Ведь река грез по-прежнему увлекала Арона прочь. И его нужно было удерживать.

— Ну что ж, тогда, стало быть…

Фанни была владелицей темно-зеленого «вольво».

Откидной верх опустили, на блестящем радиаторе реяли флажки. Сиднер сидел рядом с нею, гордый, ведь она имела водительские права и на «вольво», и на «форд». Ясное небо дышало щедрыми ароматами бабьего лета. Руки Фанни красиво лежали на руле, на шее сверкали драгоценности, в уши были продеты тяжелые серьги с красными камнями. Через несколько часов они остановились у постоялого двора.

— Закажи все, что хочешь.

Сиднер вполне разбирался в кулинарных изысках. По правде говоря, консервированная лососина, жюльены и мороженое изрядно ему надоели, потому что он частенько ел в гостиничной кухне. И тонкости манер он тоже был не чужд. Царица Соусов научила: иной раз он разыгрывал

перед нею короткие сценки, изображая приход в ресторан какого-нибудь посетителя. Самым популярным вариантом было явление Бьёрка, которого он копировал превосходно, недаром ведь Царица Соусов так громко его нахваливала. Он шумно потирал руки, слегка покачивался, отвешивал направо и налево глубокие поклоны, заглядывал на кухню: «Ну, курочки мои, чем нынче кормят?»

Сиднер тщательно изучил меню.

— Форель в кляре и минеральная вода.

— Ты держишься как настоящий светский человек.

— Очень мило с вашей стороны, тетя Фанни, пригласить меня в эту поездку.

Она подцепила вилкой кусочек индюшачьей грудки, положила в рот. Потом перегнулась через стол и пальчиком потрепала Сиднера по щеке.

— Когда ты говоришь «тетя», я кажусь себе ужасно старой. Меня зовут просто Фанни.

— Спасибо. — Он покраснел.

— Или, по-твоему, это… неловко?

Не сделай она паузы, он бы, наверно, не засомневался.

— Я… не знаю пока. Все наладится.

Но вслед за тем он умолк. Он ведь вообще боль-

шей частью молчал. Видел себя *ведущим речь*, а не *рассуждающим*, как Сплендид. Фразы у него были четкие, правильные, он не владел теми словечками, что градом сыпались с губ Сплендида. Как управляющий магазином, он поневоле заговорил, короткими фразами. Спасибо, спасибо, пожалуйста, приходите еще. Тело его было под стать речи: ни ненужных жестов, ни неопределенных кивков головой или взмахов руками. Он завидовал Сплендидовой манере рассуждать, тот был как будто ближе к вещам. Слова ощупью мельтешили вокруг, принюхивались, отступали, ошибались, начинали сначала. Собственные же его фразы стояли высказанные, предельно четкие, их не сделаешь неуслышанными.

У него страшно закружилась голова, ведь в эту самую минуту он кое-что утрачивал. Внезапно ему уяснилось, что он становится взрослым.

— Ну вот, я все для нас устроила. Ты вдруг очень отдалился, Сиднер.

— Я думал о Сплендиде. Ведь это он обратил мое внимание… на тебя. Он больше стоит такой поездки. Он бедный, отец у него больной.

— Сплендид мне ужасно нравится, если хочешь знать. — И с внезапной горячностью: — Ты ведь не думаешь, что я заставила тебя поехать

со мной?

Сиднер проглотил кусочек рыбы и уставился в тарелку.

— Нет-нет. Но он так… хорошо ко мне относился. С самого первого дня нашего знакомства. А я ничего не мог дать ему взамен.

Неправильные слова. «Относился». Будто настало время для прощального подарка.

— Вы конечно же прекрасно относились друг к другу.

— Не надо мне было ехать, — пробормотал он. А она взяла его руку, прямо через тарелки.

— Быть со мной совершенно неопасно. Совершенно.

Когда они добрались до Стрёмстада, в гостинице Сиднер держался в стороне, и ключи от номера взяла Фанни. На стеклянных дверях висела афиша. Доклад состоится в 19.00 в городском парке. Засим желающие могут отужинать вместе с д-ром Гедином, причем все сборы целиком и полностью пойдут на финансирование экспедиции.

Сиднер с сумками поднялся по лестнице. Фанни подошла к одной из дверей, отперла ее, Сиднер внес сумки и поставил на пол.

— А моя комната? Под каким она номером?

Фанни стояла перед большим зеркалом, снимая

шляпу, и посмотрела на него в стекло.

— Ничего другого у них не было, только этот номер. — Она широким жестом обвела комнату. — Можешь спать здесь. После лекции можешь спокойно прийти и лечь в эту большую кровать. Я-то вряд ли сегодня засну.

Она вынула из прически шпильку, зажала ее зубами.

— Я могу и в автомобиле заночевать.

— Милый мальчик, — сказала она.

Он огляделся: тяжелые красные шторы на окнах, желтое покрывало на кровати, такой огромной он в жизни не видывал.

— Тетя Фанни… а Гедин знает, что ты приехала?

Она покачала головой и вынула еще несколько шпилек. Руки ее были подняты вверх и занесены чуть назад, она выгнула спину, и взгляд Сиднера прилип к ее пояснице: вот сейчас роскошная грива волной сплывет вниз.

— Я, пожалуй, прогуляюсь, посмотрю город.

— Неплохая мысль. Городок красивый. Погоди… вот немного денег, вдруг тебе захочется зайти в кондитерскую.

— У меня есть свои деньги. — Он попятился к двери.

— Я знаю. Но ведь это я заманила тебя в поездку. Возвращайся к половине седьмого. А я пока приму ванну.

Сиднер сгреб шляпу и вышел.

Моря он никогда раньше не видел.

И сейчас стоял на набережной, вдыхая запах водорослей и дизельного топлива. Несколько больших плоскодонок направлялись к причалу, матросы спускали паруса. Ровно рокотали теннкулевские моторы, дачники в белых полотняных костюмах прогуливались по приморскому бульвару, к вокзалу подъезжал поезд. Здесь была конечная станция железной дороги. Как же далеко он забрался! До Норвегии рукой подать, сколько возможностей — все его существо трепетало от возбуждения. За тридцать эре он купил пакетик почти черных вишен. Поодаль оркестр играл венские вальсы, он нашел киоск с открытками, а потом зашагал к скале у входа в гавань, где приметил кафе. Панорама оттуда открывалась фантастическая: видно далеко, аж до Костерских островов. Множество судов, одни идут в гавань, другие — из гавани. На юго-западе в просвет видно открытое море. Горизонт чист, ничем не замутнен. «Здесь, у моря, чувствуешь себя будто в чужих краях. Скоро я услышу речь

Свена Гедина. Мы остановились в…»

Слово «мы» рвет фразу и задевает что-то глубоко под ложечкой. Он откусывает кусочек булки, пытается проглотить.

И тут его вдруг затошнило. Он бегом бросился за кусты, и его вырвало. Рвота обрызгала костюм, открытки в руке.

Фанни расхаживала взад-вперед по комнате, когда около семи он постучал в дверь. Выглядела она изумительно — длинное платье зеленого бархата, широкополая белая шляпа, глаза подведены синим, нежный аромат духов.

— Сиднер, дорогой, я так тревожилась.

Сиднер смотрел в пол.

— Я заплутал, — солгал он. — Спешил со всех ног.

— Это заметно. Ты упал?

— Нет-нет. — Он быстро прошел в ванную, ополоснул под краном лицо, причесался, кое-как оттер пятна с костюма.

— Надо поторопиться, — напомнила она из-за двери.

— Ты иди, я догоню.

— Нет, мы пойдем вместе, ты и я.

Городской парк был прямо напротив гостиницы; множество народу толпилось вокруг,

какой-то человек прилаживал громкоговоритель, ребятишки дудели в дудки, издали донесся гудок парохода. Фанни взяла Сиднера под руку.

— Мы весьма элегантная пара, ты не находишь?

Улыбнуться бы ей, но на это не хватало сил. Он сделал вид, будто всматривается в движение, возникшее поодаль в толчее.

— Не он ли там идет?

Нет, не он. Только когда все расселись да еще подождали минут пятнадцать, к сцене подкатил большой автомобиль. Дверцы открылись, и все встали — из автомобиля вылез д-р Гедин. Кто-то зааплодировал.

— Какой же он старый! — вырвалось у Сиднера.

— Да-а, — протянула Фанни. На нее словно нахлынуло огромное удивление. Глаза расширились, она прикусила губу и крепко сжала руку Сиднера. — Да-а.

— Хотя мы ведь знали, что он старый.

— Ну… да… Пожалуй, — едва слышно выдохнула она, а Сиднер подумал, что ей впору было кричать. Громко, отчаянно. Фанни поднесла пальцы ко лбу. — Я так плохо себя чувствую, Сиднер.

Она неотрывно смотрела ему в глаза.

Сиднер ворочался с боку на бок в своем постельном одиночестве. Не уснешь, в номере духота, хотя окна в парк распахнуты. Из ресторана внизу долетали смех и шумный гомон, но к этому он и дома привык, это бы ему не помешало. Порой он с надеждой думал, что слышит звонкие переливы Фаннина голоса, но тотчас его охватывали сомнения. С трудом он убедил ее пойти на торжественный ужин, она цеплялась за его руку, ловила взгляд и не говорила ни слова. Будто он посылал ее на заклание. Что случилось? Непонятно. Однако ж явно что-то скверное. Он вертелся с боку на бок, переворачивал подушки, сбрасывал их на пол, снова поднимал. Встал, пошел в уборную, пристально посмотрел на себя в зеркало; он ненавидел Фанни за то, что она так с ним обошлась. Вернувшись в постель, впал в беспокойное забытье и очутился в далеких пустынях, скакал вместе с Фанни и Свеном Гедином через высокие горные перевалы, прибыл к китайскому императору, и китайский император сказал ему: сними шляпу.

Проснулся он оттого, что Фанни, обнаженная, стояла перед ним, совсем-совсем близко. С распущенными волосами! Глаза у нее были как два огромных колодца, серьезные, без улыбки. Она

стояла совершенно неподвижно, он успел только выдавить «нет», раз и другой, — и утонул в ее мраке, беспомощно там застрял. Она откинула простыню и, не сводя с него глаз, медленно расстегнула и сняла с него пижамную куртку, стянула брюки, и его член восстал от ее ласки, а она, раскинув ноги, легла на него. Во рту у него пересохло, он обхватил руками ее спину и, хотя оба лежали почти не шевелясь, сознавал, что к ним стремительно приближается нечто подобное смерти. Они все крепче прижимались друг к другу, стремясь к тому пределу, где на него вдруг обрушились волны света, он падал в бездну, и она падала тоже, неумолчно повторяя на языке закрытых глаз: как хорошо, как невыразимо хорошо. Потом он погрузился в сон, расшитый узорами птичьих песен из ближнего парка, и долго слышал ее безудержный плач.

Как говорил великий Будда: той ночью, о монахи, все стояло в огне.

Ангел Сплендид исполнил свою миссию, и теперь Господь вновь призывает его на то место, где он был зачат.

Воскресное утро в сентябре. Арон, Сиднер и

Ева-Лиса завтракают, когда в дверь стучат и на пороге появляется Сплендид. Он тоже обзавелся шляпой и сейчас держит ее в руке.

— Добрый день. — Он смотрит на Сиднера. — Как насчет прогулки?

— Что это вдруг? — спрашивает Сиднер.

— Просто так, захотелось.

— Не знаю, — говорит Сиднер, хотя и понимает, что пойти надо, ведь вокруг Сплендида витает загадочное молчание.

— Господи, Сиднер, ты совершенно безнадежный, — говорит Ева-Лиса. Оборачивается к Сплендиду. — Вот такой он с тех самых пор… да, с тех пор как из Стрёмстада вернулся. Сидит и смотрит в одну точку.

— Я знаю. Все-таки хорошо бы тебе пойти.

— Давай, — говорит Ева-Лиса и быстро переглядывается со Сплендидом.

Стремительный обмен.

Он берет с полки шляпу, надевает, напоследок робким взглядом обводит кухню.

— Господа мальчишки! — смеется Ева-Лиса.

Только возле Сульбакки Сплендид нарушает молчание:

— Вообще-то, Сиднер, я просто должен сказать тебе одну вещь. Мы уезжаем отсюда.

— Что ты сказал?

— В Карлстад. Папа хворает, ему надо в больницу. Там нам будет полегче.

Сиднер садится на обочину дороги, смотрит на озеро.

— А как же я? — неожиданно вырывается у него.

— Ты сдюжишь. Иной раз надо, как говорится, красть самому.

— Что ты имеешь в виду?

— Сам прекрасно понимаешь.

— Он что, очень плох, папа твой?

— Угу. Твердит, что помрет вскорости.

— Боишься?

— Ясно, боюсь. Мне так хочется, чтобы он увидел, как я Лечу. Хоть разок. Но…

— А он боится?

— Нет, говорит, пожил в свое удовольствие, с тех самых пор как упал. Говорит, Господь дал ему послушать птиц, так что грех жаловаться. Говорит, получил столько любви, сколько мог принять. А ежели человек может сказать такое, стало быть, бояться ему нечего.

— Без тебя будет грустно.

— Без тебя тоже. Но можно ведь послать весточку друг другу. Так и сделаем, беспременно. И еще

одно! Очень охота послушать, как ты играешь. В церкви или дома у тебя. А можно и там, и там. Я подумал, хорошо бы сыграть папаше, коли совсем туго придется.

— Чтобы научиться, нужно много времени.

— Да это, поди, незачем. Звуков-то небось не так уж и много. Ежели сделаешь это для меня, буду жутко тебе благодарен. Считай, как говорится… прощальный подарок мне подаришь.

— Конечно. Ты наверняка справишься. Ты ведь все можешь. И все знаешь. — Сиднер переполнен обидой и не старается скрыть ее. — Допустим, я скажу так: ты встречаешь женщину. Красивую и привлекательную во всех отношениях. И вдруг она… ну, как бы хочет тебя. И берет. Если ты понимаешь, о чем я.

— Я слушаю.

— А потом… даже не желает с тобой говорить, в упор не видит. В чем тут дело?

— Н-да, это все непросто.

— Будто подменили ее. Не злится, нет, ничего такого.

— Не гони лошадей-то. Хотя ежели ты про Фанни толкуешь, так сам ведь знаешь, что насчет реальной жизни у нее чертовски туго. И ничего тут не поделаешь.

Видно, в юдоли смерти полным-полно дел, думал Арон, потому что Сульвейг давненько его не навещала.

Но однажды она пришла снова. Арон чинил гостиничную дверь, пострадавшую в четверг после очередной буйной попойки: кто-то умудрился пробить рукой стекло. Он сидел в винном погребе, который теперь служил и мастерской. Вынул разбитое стекло, алмазом вырезал новое, закрепил гвоздиками, обмазал замазкой. И вдруг смекнул, что она здесь, у него за спиной.

— Вот хорошо, — сказал он. — Я ждал. Как ты меня тут нашла?

Он почувствовал, как ее пальцы напряженно замерли.

— Прости. Ясное дело, ты меня где угодно сыщешь.

— Верно. Кругозор у меня шире, чем у тебя.

Голос у нее резкий, и она права.

— Зачем же ты тогда за меня вышла?

— Не знаю.

— Ты встретила кого-то другого?

— О, конечно. — Она расхаживала вокруг, рассматривала инструменты, поднимала рубанки,

проводила рукой по острым лезвиям.

— Осторожно, не порежься.

— Это неопасно. — Она глубоко воткнула в палец острое шило. — Видишь, Арон, крови нет! Совсем нет!

В ее голосе сквозило презрение, теперь он ничего не сможет ей рассказать. А о чем, собственно, он собирался рассказать? О днях, что ползли вперед, о письмах, что он писал? Да, о той надежде, что мелькала на горизонте, словно парус, который поворачивает к земле и снова исчезает из виду. О чем он хотел спросить ее — об этом или о той стирке? О рваном детском белье, о пуговицах, которых недоставало в жизни?

Или Сульвейг знала все о снеге и грязных полах, о новой шляпе Сиднера и первых лаковых туфлях Евы-Лисы? В таком случае он как рассказчик без надобности, и обращать внимание на мир совершенно незачем, — впрочем, в нем, в Ароне, никогда не было нужды. На фортепиано она прекрасно играла без него. Его появления только стесняли музыку, сковывали ее на минуту-другую, разбивали вдребезги. А его разговоры — как она завлекала его в них, вместо того чтобы наслаждаться журчащими излияниями, своими собственными и других людей. Сколько раз

ей приходилось его дожидаться! Вся ее жизнь была таким ожиданием, неудивительно, что она стала нетерпелива. А вернулась конечно же посмотреть, справляется ли он! Послана сюда инспектором от усопших. Пришла по-хозяйски, как приходил Бьёрк, кстати сказать, то, что они называли друг друга по имени, было чистейшим лицемерием, поскольку ничуть их не сблизило, надо бы изменить эту ситуацию; но Бьёрку сейчас не позавидуешь, дела идут через пень колоду, бумажник пока на вид вроде бы толстый, однако бумажник очень уж близок к телу, против ситуации в мире толстый бумажник бессилен, ситуация в мире, Сульвейг, она тебя тревожит? Тебя тревожит, что у меня течет кровь? Я порезался стеклом, видишь? Но это, разумеется, чепуха, совету усопших нет до этого дела. Негоже соваться к ним с каждой мелкой царапиной. И вообще негоже так выпячивать свою персону!

Нет, надо быть естественным, как она прежде, когда, бывало, шла на скотный двор, ранними утрами, оставляя отчетливые следы в росистой траве. Она приносила кофе, он сидел рядом, в одежде, пахнувшей хлевом, а она — чистая и прохладная, как стакан воды, волосы повязаны шарфом; порой шарф соскальзывал на глаза, и

тогда она прищурясь смотрела вверх. Помнишь, Сульвейг? То утро, когда ты пришла с газетой, которую достала из почтового ящика. Чарлз Линдберг[45] достиг цели! В то утро. Мы тогда были сами себе хозяева; Бьёрку не понять, отчего руке так больно открывать дверь гостиницы, отчего шее так больно кланяться, — там, в лесу, мы не кланялись, Сульвейг.

Она села прямо напротив него, на кучку осколков дверного стекла.

— Расскажи про Бергстрёма, про его сиротливые, беспомощные воскресные руки.

— Ты в ту пору носила под сердцем Еву-Лису, мы сидели на камне, кофе пили. Да ты ведь сама все видела!

— Я забыла. Ты должен рассказать так, чтобы я могла взять с собой краски… туда.

— Бергстрём был в выходном костюме, стоял перед нами в начищенных башмаках, сцепив на животе руки, дочиста отмытые, почти что гладкие, моргал глазами, откашливался. «Слышь, Арон, я вот подумал, может, придешь на Поляну, ровно в два. Коли сподручно». Потом он повернул-

---

[45] Примечания: 45

Линдберг Чарлз (1902–1974) — американский летчик; в 1927 г. совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан (из США во Францию).

ся, и лес вмиг проглотил его, а ты сказала: «Ко мне это не относится». В два часа я туда и отправился. Лес добрый, курящийся испарениями, кругом бабочки порхают — крапивницы, павлиний глаз. Первое, что я углядел на Поляне, были его руки: Бергстрём, будто окаменелый, стоял в еловом сумраке, только руки и виднелись отчетливо. Неожиданно из лесу толпой высыпали соседи, все, кроме меня, в выходных костюмах; ни один толком не знал, зачем сюда явился, все стеснялись собственных рук, день-то был воскресный, в работе их не спрячешь, мы и поздоровались за руку, словно опасаясь признать один другого, искоса поглядывали на Бергстрёма, который явно уединился, особняком стоял, высоко над нами, в сумраке.

Но вот он откашлялся и сказал: «Дело в том, что… Дело в том, что я…» Он вроде как застрял в непролазных дебрях торжественной речи. Сделал новый заход: «Дело в том, что я долгое время…» Споткнувшись об это «долгое время», он поневоле отступил и начал снова: «Ну, в общем, мне давно хотелось…» С таким вступлением он тоже не сладил и, раздосадованный неминуемым возвращением на обычную словесную стезю, по которой все мы ходили в будни, волей-нево-

лей отбросил изыски: «Стало быть, мужики, вы знаете, я давненько уж строю тут мельничное колесо, и теперь оно вроде как готово, вот я и подумал, что не худо бы нам…» И тут, будто без малой толики торжественности обойтись никак невозможно, ведь она оправдывала выходные костюмы и вообще все, на что он рассчитывал, когда при полном параде приглашал их на эту Поляну, — тут он прищурился и выпятил губы: «…что не худо бы отметить этот день и…»

Он сглотнул и выплеснул на них свое отчаяние, извиняясь, что будни проникли и сюда: «Словом, мужики, глядите сами!..» Сделав широкий жест в направлении ручья, он шагнул из сумрака на Поляну, и мы потеснились, пропустили его вперед, чтобы он мог на свободе указывать и вверх, и вниз по ручью. А там, аккуратно уложенные горлышками в одну сторону, красовались среди камней целые батареи поллитровок, вокруг которых игриво плескалась вода, Бергстрём же, обратившись ко мне, особо подчеркнул: «Раз уж ты, Арон, непьющий, для тебя найдется вон там… легкая бражка», — большущий бочонок, помнишь?

После в тот день была попойка, возня в траве, пятна от зелени на костюмах — никто из нас

этого не забыл. В темноте далеко разносились отзвуки смеха. Из лесу мы вышли, обнимая друг друга за плечи. Я тоже был как во хмелю. Но ты не можешь этого помнить, Сульвейг. Ты ведь спала. На большой широкой кровати.

— Которую ты продал, Арон!

Голос звучал где-то сбоку от нее. Справа.

— И дом продал!

Теперь голос шел слева. Тусклый, холодный. Она презирала его. Наверно, всегда презирала. Он ведь выклянчил себе место рядом с нею. Да, конечно, так оно и было. Он не дал ей вернуться в Америку. «Может, поедем туда, Арон? Дом купим?» — «Ты так хочешь?» — «Нет, просто иной раз думаю: что, если б вернуться туда. Посмотреть, узнаешь ли хоть что-нибудь или нет. Пройти по давним дорогам, навестить давних соседей». — «Ты этого хочешь?» — «Человек не может не думать о прошлом, никуда от этого не денешься». — «Выходит, ты жалеешь...» И не слишком ли поспешно она отвечала: «Нет-нет, что ты, мне здесь очень хорошо, мы ведь вместе».

Без сомнения, туда-то она и отправилась, заморочила их, обманула смертью и похоронами. Едва они ушли с кладбища, она выглянула, оделась и была такова. В Америке ее ждал большой

дом: средь океана кукурузы она и трактор припрятала. Там растут сиропные клены — кажется, так она их называла? Или сахарные? И муж у нее там тоже был. Они стояли рядышком во дворе и разговаривали по-американски. Он замялся, но все же сказал:

— Я только хотел напомнить о своем существовании.

Сульвейг с мужем что-то сказали, но Арон не понял, и ее муж выудил откуда-то словарь, подал ему. Арон принялся лихорадочно листать, однако слова располагались не по порядку, и, чтобы составить хоть одну фразу, нужно бесконечно много времени. Они, правда, старались помочь, усадили его за садовый стол, где лежали бумага и ручка, ободряюще кивали, склонясь над ним. Потом Сульвейг зевнула, сделала мужу знак, и оба скрылись в доме, шторы опустились, стало темно. Когда Арон постучал, никто не ответил. Он зашагал прочь, вышел к морю. У берега было причалено судно — и корпус, и гладкая выпуклая палуба из свинца; капитан стоял на пирсе. «Если вам в Швецию, прыгайте на борт». — «А вы разве не поплывете?» Капитан покачал головой: «Там хватает места только для одного. Иначе потонем». Арон оттолкнул суденышко от берега

и скоро очутился в открытом море. Заштормило, а на борту ни нагеля, ни щелки какой, чтоб хоть пальцами ухватиться, волны швыряли его из стороны в сторону, он был один-одинешенек посреди Атлантики, крепко вцепился в тиски, уронил голову на верстак. Сульвейг!

— Скажи, что вернешься…

— Тогда разбуди меня!

Он огляделся, но в винном погребе ее не было.

Только голос. Она поместила свой голос внутри него. А туда путь неблизкий.

На той же неделе она поднялась в квартиру. Принесла сумку с едой. Арон расстроился: вот незадача, они ведь только что поели, тарелки грязные, с обрывками свиной шкурки да остатками макарон. Со стыда сгоришь.

— Еду-то не всегда легко раздобыть. Детям вроде как безразлично, а все равно спешка. Надо бы свечек стеариновых купить, — сказал он.

— Выходит, я некстати.

— Да, время не лучшее. Когда угодно, только не сейчас, видишь, прибраться еще не успел.

— Не нуждаетесь больше во мне?

Арон потянулся к ней, налетел на дверной косяк.

— Ты с кем разговариваешь, папа?

Но ему сейчас не до разговоров с живыми. Слова у них грубые, непомерно отчетливые. Мешают. После он все Сиднеру объяснит. Он слышал на лестнице ее шаги, открыл дверь.

— Подожди!

— Там никого нет!

Рука Сиднера легла Арону на плечо. Арону хотелось стряхнуть ее, он встретился глазами с Сиднером, парнишка ростом уже выше него, время-то бежит, а сам он скрючивается, росту в нем все меньше; дернув плечом, Арон попытался сбросить руку сына.

— Иди сюда, папа. Что с тобой такое?

Арон рухнул на стул у стола.

— Ты по маме горюешь? — спросила Ева-Лиса.

Он кивнул, провел ладонью по глазам.

— Папа, — сказал Сиднер, — послушай-ка меня. Случилось кое-что очень серьезное. С Бьёрком все кончено. Обанкротился он. Нынче утром. Ты ведь знаешь, норвежцам, которые хотели купить древесину, он отказал, к французам переметнулся. А те заплатить не смогли. Конец ему, стало быть. И лесопильне конец, и гостинице, и всему. Рабочие сейчас на лесопильне собрались, ты бы сходил туда, а?

— Я не понимаю.

— Нет, понимаешь. Должен понять. Пожалуйста, скажи, что хотя бы это сделаешь. Твоя работа здесь закончилась. Пожалуйста, пойми хотя бы это.

Арон посмотрел на сына. Он был совсем новый, незнакомый. Справился. Плавно вступил в реальный мир. У Сиднера все будет хорошо. Арон последний раз всхлипнул и невольно улыбнулся. Хотел протянуть руку, поблагодарить сына: пора отцовской ответственности миновала. Можно совершенно расслабиться, предаться собственным увлечениям, как говорил Фридульф.

— Зачем мне идти на лесопильню? Я же там не работаю.

— Ты тоже служил у Бьёрка. А не у дел остаются все. Скоро явится полиция, опечатает винный погреб, чтобы Бьёрк туда не ходил и не крал собственные запасы. Теперь все это принадлежит кредиторам. А они говорят, кроме спиртного, больше и взять нечего. Похоже, ты безработный, папа.

— Ничего, как-нибудь уладится, — сказал Арон. — У нас еще есть деньги от продажи дома, до поры до времени хватит. Не беспокойся.

В тот день по городку словно ураган пронесся; лесопильни, работа, мечты о будущем — все

рухнуло словно карточный домик. Через неделю Бьёрк переехал из своего большого особняка в домишко, который поставил для шабашников, — одна комната да кухня, но тепло, Бьёрк выживет.

В письмах Тессы все больше цветов, листьев и прядок волос.

Скоро стали приходить маленькие бандероли в коричневой оберточной бумаге. Коробочки, полные камешков, гальки, сверкающего песка: «Вот здесь я сидела нынче утром и думала о тебе, утопив ноги в песок». «Эти веточки плавали сегодня утром в ручье».

Арон убрал с комода в комнате все, кроме фотографии Сульвейг, и рассыпал там песок, выкладывал узоры из камешков, втыкал веточки-деревца, мало-помалу усложняя ландшафт. Даже флаг соорудил: «Лоскуток от платья, которое я хотела надеть сегодня, когда пришло твое письмо. Но побоялась, из-за Роберта, поэтому посылаю лоскуток, чтобы ты увидел».

Сиднер и Ева-Лиса непременно присутствовали на торжественных церемониях у комода, когда Арон благоговейно вскрывал бандероли. С удивлением наблюдали, как исподволь вырастает

там Новая Зеландия. Птичий скелетик, кусочек коры дерева каури[46], жуки, пауки. Перья, бирюзовые и нефритово-зеленые перья сизоворонок и зимородков, высохшие рыбешки с по-прежнему блескучей чешуей — «всякая всячина, подобранная на берегу».

«Мне хочется, чтобы ты увидел все, на что смотрела я».

Флакончик дождя, разбитая чашка, клочки шерсти. Щепка от обеденного стола, обрывок простыни.

Кровь.

«Все стремится к тебе».

Засохший апельсин.

«Собиралась его съесть. А он запросился к тебе».

Вилка — «ведь моя рука все равно откладывает ее, хоть и хочется есть».

Рождественским утром они зажгли на комоде свечи, язычки пламени озарили ландшафт далекой земли антиподов, и он засверкал, заискрился, так как посредине лежала вещица, присланная Тессой в последней бандероли, — маленькое ювелирное украшение, очень дорогое, «целой

[46] Примечания: 46

Каури — агатис новозеландский; высокое стройное дерево с очень прочной и ценной древесиной.

фермы стоит». Кулон из рубина и нефрита, в форме кораблика, на крохотной мачте — бриллиант, который ярко взблескивал всякий раз, как кто-нибудь шевелился и огоньки свечей трепетали от движения воздуха. Сиднер и Ева-Лиса немножко подержали кулончик в руках, прежде чем Арон повесил его на веточку священного дерева каури.

«Теперь у меня нет ничего, о чем можно сказать: это я; теперь я — одно только ожидание. Ты приедешь сюда, наденешь эту вещицу мне на шею, и я стану твоя в вечной любви. Кулон я получила в подарок от мамы, давно-давно. Она сказала, чтобы я носила его, только когда полюблю».

— Это — знак, — сказал Арон, и весь воздух словно бы улетучился из комнаты.

Таихапе.

Дорогой Арон!

Очень тяжко и нет сил. Я снова очути-

лась на самом дне моей жизни, потому что поняла: приехать сюда ты не сможешь. Это дорого, а тебе нужно думать о детях и о работе. Да и что бы здесь произошло? Меж тобою и мной? Меж Робертом и тобою? Мне кажется, надежды у тебя очень уж возвышенные. И в письмах твоих мне многое непонятно, насчет знаков, насчет масок, которые я ношу. И еще одно: ты должен любить меня, а ведь, в сущности, не знаешь, кто я такая.

Вчера, когда получила твое письмо, я еще была красива. Смотрела на себя в зеркало в спальне у миссис Уинтер, важничала, вела себя как самая настоящая дурочка. Но мне нравилось то, что я видела. Нравилась моя грудь, мои волосы (они совсем темные), мои глаза (карие), нравились мои губы, плечи, все, что предназначено для тебя.

Но сегодня, когда вернулась из овчарен, когда увидела реальность, когда Роберт встретил меня кислым взглядом и молчанием — наверно, он все понимает, не может не понимать, — я вдруг разом осознала, что добром это не кончится,

да-да, глянула на ружье в зале и чуть не вскрикнула. (Знаю, я не в меру экзальтированная. Миссис Уинтер говорила со мной об этом, она искренне обеспокоена и постоянно упрашивает меня не обольщаться надеждами. «Не горячись, Тесса. Путь сюда длинный, на земле длиннее не бывает, случиться может много чего, только бы не чересчур много».)

Нынче я опять уродлива, и прячусь, и знаю, что должна поговорить с Робертом, но сил у меня пока недостаточно. (Миссис Уинтер посмеялась и сказала: «Можете устроиться у меня, поживете на чердаке до парохода в Австралию».) Однако я вижу, как ты поднимаешься на холм, вижу тебя каждое мгновение дня, мы падаем друг другу в объятия и целуемся.

Твоя Тесса

Итак, решено: Арон едет в Новую Зеландию.

Он уложил в портфель несколько смен белья, рубашку, зубную щетку, мыло и словарь.

— Остальное куплю, кто их знает, как они там

одеваются, на другой стороне земного шара.

— А потом вернешься домой с новой Сульвейг, — сказал Слейпнер, устроивший у Берил Пингель прощальную вечеринку.

— Ты даже не представляешь себе, как это верно, — улыбнулся Арон. Боялся он только одного: что в краю мертвых она усвоила другой язык. Что узнала так много нового и, увидев его теперь, отвергнет. Но об этом лучше помалкивать. Очень важно, чтобы те, кто остается дома, были спокойны. И без того их ожидает сильный шок, когда Сульвейг вернется. Объяснений много потребуется. Хочешь не хочешь, а придется кое-что порассказать о «других измерениях».

— Ей защита понадобится, чтоб вокруг не больно-то кучились, — сказал он. — Вопросов, поди, много будет.

— Sure, — кивнул Турин. — But we'll fix it[47].

Арон не стал их разубеждать. Вон они какие трогательные. Берил напекла свежих булочек и приготовила целую картонку бутербродов, крутых яиц и термосов с чаем и кофе — по крайней мере, на первые дни пути через Европу хватит. Ева-Лиса (из куколки девчоночьего тела уже

---

[47] Примечания: 47
Точно… Но мы все уладим *(англ.)*.

потихоньку вылуплялась женщина) показала ему свою комнату; окна смотрели на фруктовый сад. Голубые обои, ночной столик, лампа возле кровати.

— Разве не замечательно?

— Ясное дело, замечательно. И тебе тут наверняка нравится, да? А то ведь Сиднер сказал, что ты вполне можешь жить дома, как раньше.

— Я за ним присмотрю, — гордо объявила она. Открыла дверцу шкафа, достала платье. — Берил мне сшила. Двадцать восемь пуговок на спине.

— Надень-ка, я посмотрю. И расскажу… ей.

Главное — не проболтаться.

Немного погодя Ева-Лиса вернулась; прошло то время, когда она мигом натягивала платья через голову. Чуть порозовев, она замерла на пороге.

— У меня и туфли новые будут, Берил обещала. Ну как, нравится?

За ее спиной появилась Берил, широкое лицо в смешливых морщинках, руки скрещены на груди.

— Ты все расходы записывай, — начал Арон.

— Да ну тебя, — отмахнулась Берил. — Сам знаешь, как я рада, когда есть на кого шить… а никого другого у меня нет.

— Но я охотно заплачу.

— У меня свои денежки знай копятся. И завещать их церкви я не собираюсь. Просто счастье, когда в доме есть такая хорошая девочка, я бы и Сиднера к себе взяла, да он уж самостоятельный совсем. Взрослый молодой человек, вон как вымахал-то.

— С ним все в порядке будет. Да и мы скоро вернемся…

Чуть не сорвалось с языка: мы с Сульвейг… — а тогда…

— Ну, с пропитанием теперь и впрямь будет полный ажур. — Арону ужас как нравится произносить такие фразы, и он продолжает: — Вправду ешь — не хочу. Одним-то воздухом никого не напитаешь. Отварная свекла — хорошая штука! — Арон смеется. — И картошка. — А вот это уже лишнее: — Отчетливая такая.

«Эти слова должны были насторожить меня, – напишет Сиднер через много лет в письме из Новой Зеландии, – но у меня не было опыта, я не знал, что означает эта Отчетливость. Хоть мы все и находили, что держится он на удивление бодро, однако ж волнений в тот день было с избытком. Мысли о грандиозности путешествия и чув-

ство осиротелости перемешивались с практическими советами и смутными надеждами. Ведь нам казалось, что Арону вправду необходимо туда поехать. И может статься, так оно и было».

Итак, Сунне остался позади, и ландшафт потекзаструился прямо сквозь Арона. А он день за днем оцепенело сидел в вагоне. Германию поливало дождем, в Швейцарии была ночь, над Италией встало неожиданно ясное утро. Как хорошо — не нужно ни с кем разговаривать. Даже необходимость предъявлять проводнику билет он воспринимал как досадную помеху созерцанию, каким обернулось все его существо, а созерцал он землю, где и он сам, и другие жили мелкими ячейками, в тесноте, с убогими, мелкими мыслями. «С пропитанием теперь и впрямь будет полный ажур». Трогательный мирок. «Дважды два — четыре».

Много времени он отдал этому мирку, пора и честь знать. Инструмент, которым он пользовался, лежит на своем месте. Те, что остались там, нипочем не смогут сказать, будто он бросил все как попало. Гвозди уложил шляпками в одну сторону. Долго укладывал, но разве время имеет значение? Важно, что Земля — это посадочная

площадка для Сульвейг. И эта вот поездка — усилие его любви, и он заслужил ее любовь, ее желание вернуться. Высоко в небе ночного пути ему виделись мириады и мириады атомов, стремящихся навстречу друг другу, они уплотнялись, образуя формы — ноги, руки, волосы, глаза. Все сгустится в одно: там, на земле Новой Зеландии, она дождется его и сбросит маску Тессы. Вряд ли воссоединение будет легким. Незачем строить иллюзии. Мало ли что прилипло к ней на долгом пути, так сразу не стряхнешь, давняя привычная речь будет сочиться как сквозь фильтр. Надо запастись терпением и выслушать все, что она узнала. Не спешить.

Не делать резких движений, которые могут спугнуть ее, ведь это легче легкого. Смерть-то наверняка куда изобильнее этой вот жизни. Здешние премудрости усваиваются быстро, изменений немного, слов мало, желания так ограниченны.

Да, он будет спокоен. И если она выкажет хоть малейшее поползновение удалиться, он последует за нею. Как на давних прогулках вдвоем.

Корзиночка со снедью. Одеяло.

Все-таки он правильно сделал, что уехал, — жить дальше по-старому было бы недостойно.

Слишком много усталости накопило его лицо, чтобы дома ей захотелось узнать его или внутреннее его существо, которое больше всего ее притягивало, с которым она, собственно, и желала быть вместе. Ведь на самом-то деле у нас не одно-единственное «я», думал он, их много, сильных и слабых, внутри нас бушует неистовый хаос доброй и злой воли. Порой одно из этих «я» берет верх и начинает командовать, и его шаги по гостиничным коридорам, на кухню, в винный погреб, в сырой подвал направляло совсем не то «я», что верховодило в годы с Сульвейг, и дела ему подсовывало неподходящие. А жизнь как-никак состоит из дел. Из требований. Нивы, их собственные нивы, представляли собою такое требование, длинные ровные ряды пшеницы и овса, жито, каждый год по весне пробивавшееся из-под земли и славшее им привет, — вот что было делом его жизни, вот что наполняло его руки силой, ведь для уборки урожая он нуждался в каждой мышце своей руки, а вернувшись вечером домой, нуждался в ее глазах, что днем смотрели на него с обочины поливочной канавки; в ту пору почти не оставалось места для всех этих мыслей, которые одолевали его за гостиничной работой, за бессмысленным исправлением бездумных

чужих глупостей. Убирать мусор после шумных вечеринок, чинить двери, отмывать блевотину в туалете, месяц за месяцем наблюдать, как хозяин идет навстречу краху! Нет, в таких условиях он никак не мог найти себя. А думая о Сиднере, даже здесь, посреди Италии, с радостью слышал его голос: «Мой папа едет в Новую Зеландию!» У Сиднера будет теперь больше света, больше пространства, появятся новые мечты. Благодаря Аронову путешествию он дальше продвинется в познании, в любви, в стремлении к большой жизни.

В Генуе Арон написал письмо:

> Надеюсь, ты не в обиде, что я уехал, ведь от тебя наверняка не укрылось, что я давно уже стал утрачивать то, во что мы с Сульвейг верили. Возможно, мой поступок выглядит как бегство от всего, с чем я не в силах справиться, но на самом деле это не так. Возможно, со временем ты меня поймешь.
>
> Здесь, в Генуе, жарко. Улицы обсажены пальмами, Средиземное море поблескивает голубоватой зеленью, наверняка это другой цвет, не тот, какой ты видел

в Стрёмстаде, во время странной своей поездки. По возвращении ты замкнулся в себе, молчал, надеюсь, там не произошло ничего дурного. Пароход — он называется «Нептун» — отплывает через три дня, сейчас он стоит в гавани на погрузке, иногда я вижу поблизости людей, по-моему, это пассажиры приходят посмотреть на него; завтра вечером я поднимусь на борт, а пока живу в гостинице, где можно кое-как объясниться по-английски. Постояльцы — публика пестрая: и бедняки, и богачи, из самых разных стран. Может, все же стоило взять тебя с собой. Денег бы хватило, и… (зачеркнуто целое предложение, которое написалось как бы само собой: ведь Сульвейг твоя мама, мы ведь прекрасно знаем друг друга…)

Шлю тебе множество приветов,

твой отец Арон

Ему отвели койку в восьмиместной каюте на одной из нижних палуб, но в том путешествии он был *человек в себе.* Ночи проводил на баке — лежа на одеяле, смотрел в звездное небо (однажды за минуту-другую насчитал тридцать пять падучих

звезд) и улыбался: это Сульвейг на своем пути взрывала звезды и сбрасывала вниз. Вселенная содрогалась от ее жажды вернуться на эту малютку Землю, где пароход, качаясь на волнах, упорно одолевал долгий путь мимо континентов, через каналы, на Земле, где она когда-то любила. Мглистая вуаль Млечного Пути — пыль вокруг ее босых ног, о-о, он не мог, не смел спать перед лицом такого Чуда. Ночь за ночью не смыкал глаз, а волны журчали-плескались о форштевень, охваченные свечением воды вскипали огромными каскадами, зажигая блеском и нижний мир, звезды отражались в океане, соленые брызги оседали на его щеках: он находился в средоточии космической драмы, главной героиней которой была Сульвейг.

Интересно, знает ли она, что он ее видит, хотя ей, конечно, недосуг сейчас думать об этом. Она боролась. Спешила. Бежала от смерти, и Арон тихонько звал ее к себе, притягивал едва внятным напевом, не сводил глаз с тех точек на небосводе, куда определенно ступали ее босые ноги.

Ночи были реальностью, не то что дни.

Его раздражал и яркий свет, и вообще все вещи, помехой вставшие на пути. Кабестан, мачты, дым, лица пассажиров, которые иной раз

подходили к нему, задавали вопросы, пытались завести разговор. Его раздражали запахи еды, доносившиеся из громадной столовой, где подавали завтраки, обеды и ужины; рис, томаты, тушеное мясо пахли слишком резко, он переворачивался на живот, пробовал задремать, но одновременно изнывал от страха: что будет делать Сульвейг, если его взгляд перестанет как следует направлять ее шаги; мгла туманила обзор, свет утомлял глаза. От арбузов, погруженных на Кипре, его мутило, нарастающий зной изматывал тело, он отчаянно тосковал по темноте, когда снова мог быть с нею, когда все обретало ясность, устремлялось прямиком к звездам. Когда все было музыкой: покачивания парохода, плеск и брызги волн. Все вокруг пело:

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht
Mein Leben, Mein Licht
Befördre den Lauf
Und höre nicht auf…

Порт-Саид: пыльные пальмы вдоль низкого берега. Галдеж торговцев, подплывавших в маленьких лодочках. Штурман всех без разбору на

борт не пускал, иных беспощадно гнал прочь. Пассажирам, толпившимся у поручней, он говорил: «Вот этому доверять можно, честный человек. А этому нельзя, ни под каким видом. Кыш отсюда, валите на берег!»

Арон разглядывал новые предметы, разложенные на баке: кокосовые орехи, верблюжьи кошмы, кожаные сумки, латунные курительные столики, низки жемчуга, серебряные безделушки. Были тут и девушки, шептали ему на ухо: «Foggie, foggie, Mister, only two packets cigarettes»[48]. Он не понимал, о чем речь, слишком глубоко ушел в себя; девицы так и вились вокруг, задирали юбки, а он знай мотал головой, стараясь улизнуть, и во время этого бесхитростного бегства его настигал зной, душная пелена влаги и ж***а***ра, от которой невозможно отделаться. Язык во рту прямо как наждачная бумага, каждая пора сочится потом.

Ни дуновения. Ни облачка — тени ждать неоткуда. Даром что пароход уже покинул гавань и прошел через канал, как все равно через пески, да и Красное море было ничуть не лучше. Арон лежал навзничь на палубе, а не то бродил, цепляясь за поручни.

---

[48] Примечания: 48

Переспать, переспать, мистер, всего две пачки сигарет *(ломаный англ.).*

И мучился не он один. Пассажиры, на Средиземном море такие веселые и шумные — вечерами они устраивали танцы, пили вино, пели песни, играли на музыкальных инструментах со всех концов Европы, — теперь притихли. Даже смотреть друг на друга перестали. Люди как бы усохли, присмирели, и число их убавилось. Из душа в туалетных комнатах вяло текли тепловатые струйки, очереди туда выстраивались длиннущие, многих мутило и рвало. Краем уха Арон слышал, что в одной из соседних кают кто-то умер — не то женщина, не то ребенок.

Аден. Он мог бы отослать отсюда последнее письмо в Швецию, но ничего не написал.

Потом стало легче. Индийский океан встретил их прохладой, длинные волны толкали пароход в корму, уводили на юго-восток. Качка сделалась незаметной. И здесь, в открытом океане, Арон впервые увидел дельфинов.

Они приплывали большими стаями; три-четыре десятка вдруг возникали прямо по курсу, час-другой играли в носовой волне, потом, заскучав, пропадали, а немного погодя являлась новая стая. Они будто смеялись, охваченные безудержным весельем и «совершенно свободные», так он позднее написал Сиднеру.

«Будто их жизнь — сплошной досуг. Я с трудом выношу безделье, чересчур много размышляю. Намедни ко мне подошел один швед, завел разговор. Дескать, вид у меня несчастный, может, требуется помощь. Зовут его Эдман. Я и не предполагал, что привлек чье-то внимание. У Эдмана в Австралии живет сестра, он едет к ней в гости. Она фермерша».

Арон сознавал трезвую сухость этих строк. Перо цензурировало сокровенные мысли, ведь он хотел приберечь сюрприз на потом. Сперва Тесса должна сбросить маску.

— Гляди, — сказал Эдман однажды вечером, — вон там Южный Крест. В нашей семье я вторым сподобился его увидеть. А ты?

— Не знаю.

— Не знаешь? Ты из моряцкой семьи?

— Да нет.

Он не хотел проговориться.

Но внести ясность надо.

— Моя жена его видела.

— А теперь, стало быть, отправила тебя поглядеть.

Арон кивнул.

— Или, может, она вперед выехала? Ты уж извини, я, наверно, многовато болтаю, но так вроде время быстрей идет.

Эдман был мужчина крупный, сильный, работал на верфи, объездил чуть не всю Европу. Ну и что дальше? К какой части человечества он принадлежит? Можно ли на него положиться?

— В некотором смысле… — сказал Арон и взглянул на звезды, высматривая Сульвейг: пусть скажет, как ему отвечать. И решил, что вполне ловко вывернулся. Эдман сидел в шезлонге по ту сторону ответа, как по ту сторону решетки.

— Что ты сказал? — Эдман не понял.

Арон счел за благо рассмеяться. Сульвейг не отзывалась, видно, недосуг ей, он опять засмеялся, чтобы скоротать время, но, глянув на Эдмана, сообразил, что допустил ошибку, и поспешно сказал, будто спасаясь из топкой трясины:

— У нас и дети есть, мальчик и девочка.

Эдман расслабился. Сразу видно, можно продолжить:

— Мальчик замечательный. Малость застенчивый, правда. Восемнадцать скоро стукнет. Работает в магазине. Краской торгует.

Но это почва ненадежная, даже здесь. Вспоминая последние годы, Арон заметил, что и эти

образы полны зыби и качки, голова отяжелела, и он улегся на палубу, вроде как желая всего-навсего расправить члены, так многие делали, народу на палубе уйма, многие лежали на спине, Эдман сам может убедиться, коли ему интересно, и Арон решил привлечь к этому его внимание:

— Сколько народу лежит нынче вечером на палубе. Вечер-то вон какой чудесный. — Но тяжести в голове еще прибыло, он перевернулся на живот, ткнулся лбом в доски настила. Теперь Эдман мешал ему, он нуждался в безмолвном пространстве и потому сказал: — Будь добр, оставь меня в покое, а? Мне нужно разобраться… разобраться… а тут такая теснота.

Эдман наклонился к нему:

— Зачем ты все время так делаешь?

— Все время?

— Ну да, я давно заметил. Каждый вечер, каждую ночь бьешься лбом о палубу. Не спится, что ли? Голова болит? Могу доктора позвать, на пароходе есть доктор.

— Доктор? Да что он понимает?

— Думаю, это от жары, — сказал Эдман. — Жара тебе в мозги ударила. Ничего удивительного. Солнечный удар. Не мешало бы прикрывать голову-то. Большинство так и поступает.

— Дело вовсе не в этом. Оставь меня в покое, а? Эдман пожал плечами.

— У меня и в мыслях не было навязываться.

Он встал с шезлонга, отошел к поручням, и Арон рискнул опять лечь на спину, устремив взгляд к звездам, на путь Сульвейг.

В Сиднее Арон сошел на берег, но Австралии толком не замечал, все глубже уходил в свой внутренний мир. Порой он видел перед собою фронтон какого-то дома, порой — гостиничную койку, тарелку с бифштексом и картошкой, стакан холодной воды. А прямо напротив неизменно сидел Эдман.

— Не могу я оставить тебя одного, пока не посажу на пароход, — сказал Эдман, глядя в сторону, — а я навел справки, ты уж прости, и узнал, что отходит он только через неделю. Тем временем можешь съездить со мной на ферму к моей сестре, так будет лучше всего. Это недалеко, часок-другой на поезде. Потом я отвезу тебя обратно в Сидней. Ты нездоров, Арон. Боюсь, в море тебя впрямь хватил солнечный удар.

— Да ведь дождь идет, — сказал Арон.

— Он давно вдет, мы и с парохода под дождем

сошли, позавчера вечером. Я, конечно, не знаю, что у тебя за дела в Новой Зеландии. В общем, меня это не касается, только очень уж ты чудной. Кстати, ты знаешь, где мы живем-то?

— Нет. Разве это имеет значение. Ведь всё — только знаки.

— Не знай я, что ты трезвенник, непременно бы решил, что ты самый настоящий забулдыга.

Жили они в гостинице «Империал», неподалеку от порта. И когда выходили на залитую дождем улицу, над головой высились подъемные краны, мостовую пересекали железнодорожные рельсы, временами звенели сигналы, предупреждая, что составы дают задний ход и маневрируют среди пакгаузов.

— Почему ты ничего не ел?

— Аппетита не было.

По крайней мере, это сказать можно. Фраза отчетливая. Но еда не имела для него ценности. Напротив, она обременяла тело, его мутило при одном взгляде на куски мяса и овощи.

— Женщинам нужны крепкие мужики, — говорил Эдман.

Арон бродил под дождем, но вряд ли отдавал себе в этом отчет, ведь дождь задевал лишь внешнюю его оболочку, а оболочка эта была да-

леко-далеко. Там, вовне, мимо него пролетали по воздуху люди с воспаленными лицами, парили меж монолитами домов, совершали в воздухе пируэты, иные махали ему рукой, он не обращал внимания. И в сне не нуждался.

Они явно находились в гостинице, потому что Эдман сказал:

— А вот я без сна не могу. Хотя заснуть трудновато, на улице ужас как шумно.

— Тут ты, пожалуй, прав. Шум просто адский. Ну да ничего, утихнет.

— Ладно. Завтра поедешь со мной. Одному тебе здесь не сдюжить. Того гляди, с ума спрыгнешь.

Арон засмеялся.

— Я бы тебе рассказал. Но нельзя.

— Спи или попробуй помолчать.

— Могу уйти, если мешаю. Посижу где-нибудь в парке, их здесь много.

— Нет уж, оставайся здесь. Ты ведь нипочем не найдешь обратную дорогу.

Утром или вечером. Раньше или позже. Они сидели в парке под перечными деревьями, и тут настал едва ли не мучительный миг, когда кто-то продырявил оболочки, и все его существо вдруг очутилось в реальности, и с небывалой мощью навалился страх, автомобили гудели и

тормозили, люди кричали, углы и грани вещей были так остры, что он вообще не смел к ним приблизиться.

— Терпеть не могу городов, — говорит Эдман, — наконец-то поезд помчит нас к моей сестре. Ненавижу их с тех пор, как в восемнадцать лет пришлось уехать на работу в Гётеборг.

Эдман достал банку сардин, отломил кусок хлеба. Арон с раздражением слушает его чавканье.

— Самое забавное, Арон, что за все это время ты не задал мне ни одного вопроса. Про меня. Не знаешь, ни кто я, ни откуда.

— Верно.

— По правде-то, ничего забавного тут нет, и вряд ли ты питаешь ко мне антипатию, вряд ли ты действительно такой, каким себя выставляешь. Что-то у тебя пошло наперекосяк.

Сардины исчезли у него во рту, как раз когда Арон протестующе мотнул головой. Он мог проследить их путь по узкому пищеводу, видел сардины внутри Эдмана. Красный томатный соус остался у него на губах.

— Сам понимаешь, трудновато общаться с человеком, который все время молчит, оттого я и болтаю больше обычного. С женой я развелся — или она со мной. Мне, выскочке, не терпелось

зажить получше, доказать супружнице, что я кой-чего стою. Она ведь никогда в меня не верила. Не верила, что я умею не только молотить кувалдой по железу на верфи. Вдобавок мы вполне могли вернуться на мою родину — знаешь такое место, Дингле, я родом оттуда, усадьбой по-прежнему владеет родня, — но жене, вишь, претило быть крестьянкой. Да и я, в общем, туда не рвался, с самого начала я малость завидовал всем, кто уезжал в город и получал там работу, ну завидовал и завидовал, так уж было заведено. Ведь все знай твердили: здесь будущего нету. Езжайте в город, ребята. Несколько лет прошло, пока я дотумкал, как обманывался. Не хочешь последнюю сардинку? А хлебца? Не-ет, не возьму я в толк, что с тобой такое.

Арону казалось странным, что Эдман никак не поймет. Мысли-то его все на виду, он открыт. Все люди открыты.

— Не ты один, — сказал он вслух, наблюдая за сардинкой, скользнувшей в нутро Эдмана.

А потом был поезд, очень медлительный австралийский поезд, громыхающий прочь из Сиднея, на север.

— Сестра перебралась сюда двенадцать лет назад. Она хворала и думала, что умрет. Купила

землю, завела овец, как все. Прошлый раз, когда я у нее гостил, их было четыре сотни. Лютая до работы деваха. Огорожи поставила, и пряла, и красила, и ткала. Потом купила первый в округе трактор. Первые пять лет совсем одна. Как тебе здешние места? Красиво, а?

— Угу.

— Я просто проверяю, слушаешь ты или нет, Арон. Вот увидишь, поездка тебе на пользу пойдет. Воздух там хороший. Ей на пользу пошел.

Так вот, как я уже говорил, первые пять лет она жила одна, народ, понятно, судачил про нее, мол, наверняка что-то не так с бабенкой, раз мужика себе не завела.

Но в один прекрасный день заявился в тамошнюю округу мужчина, с виду настоящий барин. Чертовски элегантный. Замшевые перчатки, желтые, бородка на моряцкий манер, трубка в зубах и капитанская фуражка на голове. Наведывался он на фермы, где были одинокие женщины, только они все, понятно, боялись его как огня. Вера первая встретила его приветливо и отворила ворота. Никто знать не знал, откуда он взялся, а вот спиртное он на дух не выносил, это точно, хоть я тут не судья, сам-то иной раз пью как сапожник. После развода. Да и раньше тоже бывало.

Зовут его Мартин, щеголя этого, Мартин Эслевсен, тоже из Швеции, и прямо у забора он начинает читать стихи, Дана Андерссона[49], и Фрёдинга[50], и прочих всяких, я-то в стихах не разбираюсь, и свои вирши он ей тоже писал:

Ты по лугам ступаешь,
Постелью нам — трава…

Один его стих мне особенно нравится:

Мы встретимся у ветреного мыса,
Подушкой нам — гранитная скала.

Словом, долго ли, коротко ли — в конце концов они поженились. Она забивала столбы под огорожу, а он писал картины. Когда овцы ягнились, он сочинял стихи. Да ты сам увидишь.

Эдман, будто птица клювом, стучался в окошко Арона, но, считай, без толку, внутрь его не пускали. Так продолжалось всю неделю, которую они провели у Веры и Мартина Эслевсен, на ярком солнце, под коричными яблонями, или на веранде, затененной цветущими деревьями, — Арон

---

[49] Примечания: 49
Андерссон Дан (1888–1920) — шведский поэт и прозаик.

[50] Примечания: 50
Фрёдинг Густав (1860–1911) — знаменитый шведский поэт-импрессионист.

сидел, а разговор тек мимо него, он сознавал, что порой они все трое пытались установить с ним контакт, но слова не трогали его. Хотя временами обретали такую остроту и отчетливость, что били его под ложечку, заставляли убегать прочь, бродить по дорогам, по холмам. Его приводили обратно. Силком кормили, провожали в комнату, укладывали спать, и он не сопротивлялся, пока Эдман однажды не сказал: «Твой пароход скоро выходит в рейс, ты правда намерен ехать дальше, в таком-то состоянии?» Он сказал «да».

В столовой в тот вечер, когда пароход вышел из сиднейской гавани, Арон увидел Сульвейг. Она сидела за одним из столиков, ела бифштекс, пила вино, на груди у нее, поверх глубокого выреза, была салфетка, и Арон, зажатый в очереди к раздаче, пришел в такое волнение, что выскочил из очереди, стал протискиваться сквозь толпу все более сердитых пассажиров, оттолкнул чью-то вытянутую руку, отпихнул какого-то мужчину, крича: «Мне надо пройти, извините!» Крик вырвался прежде извинения — и он получил удар по зубам, сильный удар, пошатнулся и упал, сбив с ног пожилую даму, увидел грозно густеющие тени вокруг, кое-как поднялся, теперь на счету была каждая секунда, он скорее чувствовал,

нежели видел, что Сульвейг вот-вот покончит с едой, и исчезнет, и станет для него недостижима, скрытая Бог весть под каким именем, и объятый страхом он наподдал кулаком ближайшую фигуру, вырвался на волю — суматоха в столовой удвоилась, краем глаза он приметил, как она исчезла за стеклянной дверью, и побежал следом, она мелькала на лестницах, он слышал хлопки дверей и наверху, на баке, наконец-то догнал ее — и увидел, что это не она. Не было ее здесь, никогда, ни сейчас, ни раньше, он пробился сквозь оболочки своих видений и нагой, одинокий стоял во мраке над волнами, сознавая, что Сульвейг умерла, ушла навеки и безвозвратно, а сам он здесь и никогда не сможет приблизиться к ней, а пароход то поднимался, то опускался, звезд не было, ничего не было, покой и тишь низошли на него, он неторопливо шагнул к поручням, повесил пиджак на крюк возле спасательной шлюпки, развязал галстук, повесил рядом, расшнуровал ботинки, аккуратно поставил один подле другого, брюки свернул и положил на палубу, потом взобрался на поручень и прыгнул далеко во мрак, в бурливые, всепоглощающие воды.

IV

Высотное здание, незавершенное, вне времени. Вместо строительных лесов — органные трубы, гигантские духовые инструменты. Это здание целиком сложено из музыки. Множество этажей, и всюду полным-полно мастеровых, десятников, женщин. Иные, замерев в неподвижности, песней воздвигают стены, все выше и выше. Я вошел туда под вечер. Знал, что опоздал и что к работам меня не допустят, и потому изнывал от страха. Значит, быть мне постояльцем. Внутри, у самого входа, стоял хор, и один из хористов, приложив палец к губам, указал на дирижера, расположившегося на верхнем ярусе. Это был Турин. «Я вам не стюардесса, еду-питье подавать не стану», — сказал он и сверху замахнулся мухобойкой на меня и мою жену. Сейчас прихлопнет, но тут Сульвейг — она находилась то ли на десятом, то ли на одиннадцатом этаже, прямо у границы мрака, — запела альтовую арию. Быстрокрылой ласточкой звуки устремились в вышину, скользнули сквозь кучи разбросанных инструментов и горы партитур, вверх по недостроенным лестницам, взвились в темное небо. Я устыдился, что помешал, и мысли

мои были столь отчетливы, что Турин, взглянув на меня, сказал: «Это слова надежды, а не реклама пеленок». Хористы смотрели на меня с торжеством, а песнь Сульвейг меж тем воздвигала стены. «Вот так мы и делаем, — объявил Арон. Он держал Сиднера за руку. — Мальчик знает». Внезапно снаружи взревел мегафон, непальский король кричал: «Все, кто внутри музыки, должны немедля выйти вон, иначе мы будем стрелять немыми пулями». Вокруг короля, на всех холмах окрест здания, пылали факелы, темная людская масса беспокойно шевелилась. Пахло горелой резиной, и я обнаружил, что мы в Катманду. «Так ведь мы только что пришли», — сказал я. Жена тронула меня за плечо. «Лучше послушаться короля». — «Но мы будем здесь жить». — «Незачем это, — сказала она. — Поживем у Уилсона». Вскинула руки над головой и вышла вон. Уилсон шагнул ей навстречу, с королевским мегафоном в руке. Поцеловал ее в лоб и воскликнул: «В моем доме для всех места не хватит!» Хористы разом бросились к выходу, я узнал многих музыкантов, старых друзей, они прятались от меня, а я очень хотел объяснить им свое отсутствие, но никто меня как бы и не замечал. «Погодите, — крикнул я, — неужели вам непонятно, что здание рухнет,

если вы исчезнете!» А они показали на короля, который готовил трапезу возле храма обезьян: в траве на пальмовых листьях лежали бананы, виноград, папайи, стояли высокогорлые кувшины с вином. «Праздник-то будет на воздухе». Когда я оглянулся, почти все лампочки уже погасли, со мной остались лишь Турин, Сульвейг, Арон да Сиднер, однако нас разделяли многие этажи, и я вдруг понял, что пули из королевских ружей уже выпущены, и вот они сразили Сульвейг и Арона, а я с криком проснулся.

* * *

Я умею так кричать. И ты тоже умеешь. Мы живем от крика до крика. А в промежутках ручейком пробивается вода. Исчезает и появляется вновь, один, два, ну, может, три раза за всю нашу жизнь, чтоб мы могли смочить губы и идти дальше. И сюда я добрался именно потому, что средь камней в юдоли мертвых мне были указаны эти взблески. Я сподобился услышать музыку, когда менее всего ожидал этого.

Народ решил, что в ресторан Турин начал хо-

дить из-за Ларса Мадс*е*на[51], но дело обстояло совсем не так. *Отец внебрачного ребенка,* Турин сам несмело протолкался в круг света, чтобы люди приняли его. Облюбовал он дальний столик в углу возле кухни. Сидел там, беспокойными руками теребя гостевой журнал.

Волосы его светились будто горящий куст, а брови, белые, как рожь на восходе солнца, поднимались и опускались с любопытством, но и смущенно, едва только появлялся очередной посетитель. И сказать по правде, с виду он разительно переменился: купил себе блейзер, темные очки и фотоаппарат. Смахивал перхоть с рукавов и с плеч, а временами попыхивал сигарой. Заурядному каменотесу подобные замашки не по чину, но можно ли считать его заурядным? Чем дальше в прошлое отступало Интервью, тем больше забывалось, что Турин не произнес почти ни слова, только бурчал да хмыкал, зато Мадсен так ловко работал языком, что в результате Турин с его кустарными электрогенераторами и поэтичными сказочными зверушками из глины предстал сущим гением, одиноким пилотом, что кружит над лесами в своем «Тайгер-моте», и все

[51] Примечания: 51

Мадсен Ларс (1904–1974) — режиссер, репортер Шведского радио (передачи о народном быте).

теперь видели его именно таким.

— Это ведь ты по радио выступал, — бросал кто-нибудь, садился напротив и, глядя ему на руки, как бы заново слышал из его уст все сказанное Мадсеном, а поскольку был слегка задет Туриновой неразговорчивостью, думал про себя, что в тот раз, когда с ним толковал Мадсен, право же, стоило раскрыть едало. Но все-таки оттаивал, когда Турин ощупью тянулся к гостевому журналу и просил оставить там подпись.

— Да, уплатил опять же, — изрекал Турин и, напустив на себя солидный вид, сдувал с гостевого журнала несуществующие хлопья пепла, — надо отпраздновать, you know[52].

Ведь затем он тут и сидел. Затем и купил себе блейзер и темные очки.

— Be my guest![53]

Гостевой журнал он действительно завел незадолго до встречи с Мадсеном, по совету невестки Виктории, и на первой странице первым и единственным стояло имя Мадсена, но дальше журнал рассказывал другие истории. Были там имена пробста Верме и председателя Ведомства попе-

---

[52] Примечания: 52
Знаете ли *(англ.).*

[53] Примечания: 53
Будьте моим гостем! *(англ.).*

чения о несовершеннолетних, были и четкие подписи губернского судебного исполнителя и торговца готовым платьем Петтерсона, с датой и всем прочим, — и выходило, что блейзеру теперь уже пять лет. По всей видимости, Турин не очень-то правильно истолковал совет Виктории, потому что таскал журнал с собой везде и всюду, но ведь он как-никак приглашал их в покои своей Гордости, посвящал в тайны Уплаты, ответственности за Содержание. Знаки того, что он не одинок.

Он откидывался на спинку стула.

— Н-да, пора опять куда-никуда съездить. — Умолкал, давая словам отзвучать. — Денег маленько осталось после уплаты, you see! — Слово «уплата» он произносил так, будто оно состояло из огромных букв, которые минуту-другую светились над столом, а потом добавлял, вновь смакуя его сладость: — Платить-то недешево.

Мало-помалу людям это стало надоедать, можно ведь и о другом покалякать. О полетах. О радиопередачах, о надгробиях и о том, что он, собственно, за человек, Мадсен этот. Ты же с ним встречался.

— Он вправду такой чудак?

— Кто?

— Мадсен.

— Ой, а я-то про Гари думал. — Турин отпивал глоток, чтобы переход получился натуральный. — Растет он, пять годков уже.

— Вон как.

— Толковый мальчонка.

Собеседник пытался вильнуть в сторону:

— Куда же ты надумал съездить?

— Well, может, по Гёта-каналу прокатимся. Полторы сотни крон за двухместную каюту. Not very cheap[54], хотя…

Разговоров о Гари люди старались избегать по деликатности. Не хотели, чтобы он запутывался во вранье о мнимых посещениях «семьи» в Карлстаде, в болтовне о несбыточных поездках вместе со «своими». Ведь многие видели, как он бродил там вокруг дома, глядел на освещенные окна второго этажа, где жила она, сеттербергская девчонка. Многие сворачивали, чтобы не столкнуться с ним, когда он, понурившись, брел обратно на вокзал. Если избежать встречи все-таки не удавалось и он оказывался в том же купе, все изображали удивление:

— Ба, значит, ты тоже в город ездил, Турин.

— Ездил, своих навестил.

---

[54] Примечания: 54

Ну… Не очень дешево *(англ.)*.

— И с погодой тебе повезло.

Туриновы ночи были сплошной деньрожденной пирушкой для мальчонки. Гари сидел у него на коленях и смеялся. Гари просил его наделать зверушек из глиняного кома, лежащего на садовом столе. В своих грезах Турин рассказывал об Америке, о светляках и кукурузных полях, об индейцах и неграх.

— Он и учится легко, — твердил он себе и сам верил этой выдумке. — В конце концов небось в Америку уедет. Здесь, — Турин обводил рукой зал ресторана и улицу, — здесь Гари не место. Сунне — это так, чепуха, just nothing, you know.

Да, Турин искренне верил собственным выдумщикам. Похвальба стала цементом, с помощью которого он строил свой дом. Похвальбой он замазывал щели, чтобы его мир не просочился наружу. Тот удушливый, текучий мрак, что настигал его каждую ночь, когда он, проведя вечер в ресторане, шел короткой дорогой, наискосок через сад, тяжелой походкой плелся через железнодорожные пути к своему дому возле озера. Но неуклюжей похвальбы явно не хватало, слишком она стала жиденькая, водянистая, убогая. Ему бы схорониться за бахвальством покрупнее, за этакой Эйфелевой башней в лесу, за перелетом

вместе с Гари через Атлантику, за вечным двигателем. Вот о чем он размышлял, когда Мадсен беседовал с ним по радио, — о том, что водяная мельничка на ручье, и пилотский диплом из Америки, и диковинные зверушки, подвигшие Мадсена к лирическим излияниям, сущая чепуха, пустое, just nothing. Половики у дверей чертога, который он выстроит.

А теперь извольте вытереть ноги и войти в дом Пустого.

В дом Отказа.

Однажды она приходила сюда, сеттербергская девчонка, в полурасстегнутой блузке, а ведь это тягчайший из грехов. Под блузкой же была сплошь мягкая нежность. Волей-неволей он заглянул прямо в этот рай, когда она попросила стакан воды. Наклонилась к нему, положила ладонь на его руку, слегка покачнулась. Он предложил ей сесть на неприбранный диван, поспешно спрятал подштанники, старую рубаху, носки. В комнате стояла кислая вонь, от поганого ведра возле приоткрытой дверцы гардероба. Турин будто впервые увидал свое жилище. Грязные чашки на столе, тарелку в раковине, сальные столовые приборы. Увидал мух на окне, которых бил на досуге, брал за крылышки и складывал в

кучку. Здесь он обретался с тех пор, как умерла мама. Обретался в ожидании, что какая-нибудь внешняя сила вновь перенесет его на давнюю веранду, на Средний Запад. Ведь именно там он дома. Там есть о чем мечтать — Калифорния, Флорида, Нью-Йорк: стань среди кукурузных полей, где угодно, и думай о будущем.

Здешний дом не для гостей. При жизни мамы, когда Сульвейг была ребенком, ветры задували в дверь и в распахнутые окна — а после он медленно, но верно превратился в мастерскую. Сеттерберговская девчонка, спотыкаясь, пробралась меж проводами и инструментом, повсюду — радиодетали, стружки, обрезки досок, американские журналы по авиации. Она улеглась на диван и спросила, нет ли у нее температуры. Прошлось пощупать ей лоб, а потом она потянулась к его штанам, и он отчетливо помнит, как заикнулся было: «Для чего ты сюда пришла…» — и оборвал на полуслове, ослепленный прикосновением. И немного погодя: «Если хочешь, приходи еще, you know».

Но она будто и не слышала.

Надела трусики и ушла, даже не оглянулась. А снова пришла лишь затем, чтобы сообщить, что беременна, стояла на пороге, недовольно

морща нос, смотрела не на него, а на озеро у крыльца, и он несчастным голосом спросил: «Может, выйдешь за меня. Хотя я…» — «Что „хотя“?» — «Ну… — Словно из глубокого колодца: — Я в общем-то неплохой человек».

«Алименты будешь платит, и хватит».

Красавицу Биргитту Господь наделил отзывчивой душой сиделки. Словно янтарь в оправе пышной, цветущей плоти, ее душа лучилась светом, и этот свет струился из ее глаз, озаряя убогий мир, который она поневоле видела перед собою, с тех самых пор как неумеренные возлияния на разгульных вечеринках двадцатых годов довели ее до беды. Биргитта была очень хороша собой. Казалось, ее вынули из картины эпохи итальянского Возрождения и перенесли под уличные фонари Сунне, и она еще толком не опомнилась от такой перемены обстоятельств. Чуть склонив голову набок, рассыпав по плечам темные волосы, она стояла там и тихонько мурлыкала «My Heart Belongs to Daddy», а на губах у нее играла смутная улыбка, предназначенная вовсе не этому холодному мгновенью.

Побывав в Штатах, она приобрела там кой-какие нелепые привычки, в частности все время рвалась петь. И однажды вечером, когда ненаро-

ком забрела к гостинице и услыхала из открытых окон ресторана граммофонную музыку, она помимо своей воли вошла внутрь и поднялась по лестнице, закутанная в меховое боа скользнула под хрустальные люстры, раскинула руки и сумела вознестись ввысь, чуть не вровень с певцом на пластинке, когда он взял заключительную ноту. Грянули аплодисменты, но много ли понимают какие-то там аплодисменты? Кантор Янке, который отмечал тещино семидесятилетие, обвел взглядом по-ноябрьски унылый полупустой зал и обнаружил пару красных рук, принадлежавших Турину.

Турин разводил их в стороны и, ударяя одну о другую, производил несуразные звуки, которые на сломанных крыльях устремлялись к ней.

— Your pronunciation is very good. Be my guest![55]

Красавица Биргитта стояла поодаль, у граммофона, пленница своей пышной плоти, святая в узилище собственных членов, глаза ее блестели, а золотой зуб — память о давней кухонной потасовке в бытность ее экономкой — ярко сверкал навстречу Турину. Она сделала книксен — сперт-

[55] Примечания: 55
У вас отличное произношение. Позвольте вас угостить! *(англ.).*

ва семейству Янке, потом Турину — и плотнее завернулась в свое боа. К такому она не привыкла, в Сунне на нее смотрели как на уличный инвентарь, презрительно морщили носы у нее за спиной и громко насвистывали «Night and Day». И все же она умудрялась жить: примечала источники, почти незримые родники, пробивающиеся из-под твердокаменных реплик, из-под неутоленной тоски жестов, что неуверенно искали простых одолжений. И сейчас далеко-далеко, в тумане, она увидела, как тянется к ней голос Турина.

— Be my guest!

И как Турин, когда она робко приближается, медленно передвигает наискось по столу гостевой журнал, держит его перед собой будто щит, а сам, глядя в сторону, бормочет:

— Может, напишешь тут… свое имя.

— Милок, — говорит Красавица Биргитта, опершись ладонью на его запястье, и он весь становится мягким, будто воск, чувствует, как ее рука проникает сквозь плоть и кровь, до самой кости. Огонь прожигает его нутро, закрадывается в дальние, позабытые уголки, освещает их, и Турин, прозрев, прямо-таки ослеплен собственным бытием. Потом он вздрагивает. Это уж чересчур

— *так* к нему прикоснуться.

Ему хочется встать и выскочить вон. Но Красавица Биргитта, не отпуская его руки, листает гостевой журнал, и он жалеет о своей затее, даже имени ее теперь боится. Ведь каждый раз, как посмотришь на страницу, ожог обеспечен, наверняка.

— You know a lot of people[56], — говорит она по-английски, тем самым обособляя их обоих.

Он поднимает голову, а она легонько проводит пальцем по его лбу, будто пришла с той давней веранды, среди светлячков.

— They laugh at me, you know[57], — говорит он.

— Nobody is laughing, nobody. The colour of your hair is so beautiful[58]. Надеюсь, я тебя не пугаю? — Она садится напротив. — Ты боишься женщин?

— Love is so ugly[59], Биргитта.

— Нет, в любви нет уродства. Просто тебе, наверно, не довелось ее увидеть. Ее ведь надо искать.

---

[56] Примечания: 56
У тебя много знакомых *(англ.).*

[57] Примечания: 57
Знаешь, они смеются надо мной *(англ.).*

[58] Примечания: 58
Никто не смеется, никто. Волосы у тебя такого красивого цвета *(англ.).*

[59] Примечания: 59
Любовь так уродлива *(англ.).*

Хотя сама я тоже не сумела ее найти. Вот глянула на тебя и сразу подумала: Турин-то сидит ломает голову над любовью и прочей чертовщиной. А головоломные размышления — это грех. Турин, о чем ты думаешь?

— О Гари, о сынишке моем.

— Вон как! Закажи-ка мне бутылочку винца. Маленькую.

— Не разрешают мне с ним видаться. Рылом, дескать, не вышел.

— И ты на это соглашаешься?! Решил, поди, что этак даже удобно. И, по правде, вполне доволен? Утешение в этом находишь? Ты говори, не стесняйся: может, я ошибаюсь, может, болтаю слишком много, я ведь маленько под градусом и в таких случаях не очень-то деликатничаю, а все-таки вижу, как дело обстоит.

— Yes, you see me[60]. Продолжай.

Он стучит в кухонную дверь, г-жа Юнссон отворяет и морщит нос, увидев за столом Красавицу Биргитту.

— Будьте любезны, полубутылку вина для барышни Ларссон, — говорит Турин.

— А не хватит ли?

---

[60] Примечания: 60
Да, насквозь меня видишь *(англ.).*

— На улице нынче студёно. Она хороший человек, госпожа Юнссон. Вдобавок моя гостья.

— Только не докучайте семейству Янке, — ворчит г-жа Юнссон.

— Мы тихонько, — говорит Турин.

Красавица Биргитта листает гостевой журнал.

— Господи Иисусе, я ж единственная женщина на всю тетрадь. Турин, ты что, ни разу… Я вправду первая?

— Да нешто осмелишься… Напиши свое имя, Биргитта. Дату поставь и все, что полагается. Уж будь добра. Расскажи еще что-нибудь про меня!

— А польза-то будет от разговору? У тебя на душе когда хорошо бывает?

— Когда про Гари думаю. Когда надеюсь, что его отпустят ко мне и мы сможем посидеть в саду. Тогда я угощу его шоколадками и лимонадом. Вволю угощу. Или вот Америка… ну, когда я представляю себе, как мы с ним отправимся в Америку. К примеру, полетим через Атлантический океан на самолете, вдвоем, я да он, как Чарлз Линдберг, you know.

Красавица Биргитта накрывает ладонью руку Турина, сверкает золотым зубом.

— Человек должен действовать, Турин. Это — самое главное. Мысли его большого значения

не имеют. Ах, какое винцо!

— Ты, поди, дока по части всяких там напитков, как я слыхал.

— Это верно. Я не думала про выпивку, я пила. И пью. Глупое занятие, да жизнь иной раз отчаянно холодная.

Той ночью Турин глаз не сомкнул. С Красавицей Биргиттой он расстался возле гостиницы. У него и мысли не мелькнуло, что она могла бы пойти с ним. Пока он не оглянулся с верхушки железнодорожной насыпи и не увидел, что она так и стоит в снегу под фонарем.

Он ворочался на кровати, слушал мартовский ветер. Дверь столярки скрипела, в раковине копошились крысы, а кошки где-то шастали. Если б Биргитта пришла с ним и увидела этот тарарам… Нет, он по привычке отбросил плотские мысли. Так-то оно лучше, без соблазнов. Но комнату для Гари он непременно приведет в порядок. Накупит игрушек. Принесет пирожных из кондитерской Берил.

Где-нибудь на верхнем этаже. Он туда уже несколько лет не заглядывал. Все там оставалось по-старому, как было, когда умерла мама. Турин

встал с постели, поднялся наверх и до рассвета сидел на чистой застеленной кровати.

Утром он сел на поезд и поехал в Карлстад, купил там в киоске три плитки шоколада — хоть какой-то гостинец дли Гари, коли удастся повидать его, много времени утекло с тех пор, как он последний раз видел мальчонку в окне квартиры. Пронизывающий ветер гулял на улицах, у реки намело высокие сугробы. Сперва Турин хотел постучать в квартиру, сказать: «Я мешать не буду, только погляжу на мальчонку, посижу чуток, приласкаю его маленько. Карина, милая, — скажет он, — я ведь не злодей какой. Позволь часок присмотреть за ним, а сама займись своими делами», — интересно, что у нее за дела? «Может, ты не прочь маленько отвлечься». Хорошо звучит — «маленько отвлечься»; ему тоже хотелось отвлечься от мыслей о Гари и теплом детском тельце. Обнять бы его, хоть на минутку! Турин прихватил с собой и мешочек глины. «Гляди, — скажет он, — я тебе зверушку вылеплю. Кто тебе больше нравится: носорог? Или слон? Ладно, вылеплю слона». Нет, не так: «Папа вылепит тебе слона». Звучит хоть куда. «Папа налепит слонов, а мама пока сходит в магазин. Садись ко мне на коленки. Этому я, вишь, в Америке выучился. Ты

знаешь, где Америка-то находится?» — спросит он, и Гари ответит: «Нет, папа, не знаю». — «Она далеко-далеко, за Атлантическим океаном. Когда-нибудь мы полетим туда, ты да я, на моем самолете». — «У тебя есть самолет, папа?» — «Да, разве мама тебе не говорила?» — «Нет, она ничего не говорила».

Сердце у Турина больно сжалось. Неужели она впрямь ничего не говорила? Как она могла! Но он все понял по выражению ее лица, когда последний раз встретил ее на углу улицы и стоял, протягивая руки, умоляя… хоть несколько минут… хоть одну минуточку, Карина! Почему? — спросил он тогда. Почему ты такая невозможная? Он ведь и мой сын, я никогда не увиливал, наоборот… Если ты не прекратишь тут шнырять, я пойду в полицию.

Стало быть, она ничего не говорила, продолжал он сочинять, думая, что вообще-то надо рассердиться, хорошенько рассердиться, как сердились другие люди, он видел. Вот в чем мой изъян: нету во мне гнева. Я не умею сердиться. Не знаю, как это делается. Ну так вот, я… постучу в дверь и, как только она откроет, крикну во все горло: хватит, Карина, пора и честь знать! Ты вдоволь надо мной покуражилась. Я требую, чтобы мне было дозво-

лено брать Гари к себе, хоть ты и ненавидишь меня, брать мальчонку к себе… Турин посмаковал эти слова: Брать его к себе, ведь он как-никак мой сын… видеть его время от времени… Ему у меня понравится… свежего хлебца из пекарни Берил Пингель вволю поест… Супу молочного и каши, свеклы свежей со Слейпнеровых грядок, Виктория ему когда-никогда костюмчик сошьет, а я на качелях покачаю в саду под яблонями.

— Ты-то сама когда последний раз качала его в саду, отвечай! — неожиданно громко выкрикнул он прямо в пустоту улицы.

Он стоял на площади, чувствуя, как холодный ветер задувает под воротник, ноги замерзли, в Штатах такой стужи никогда не бывало. Эх, коли Чарлз Линдберг сумел, то и я сумею… резервные баки…

— Резервные баки, Карина! — опять вырвалось у него вслух, слова покатились прочь по тротуару. Запах мастики в подъезде принудил его остановиться: это был чужой мир. Он почуял затхлый душок собственной одежды, увидел перед собою дом, где текли его дни, — гнев растаял, Турин бросился вниз по лестнице и только у входной двери растерянно замер.

Прости, Карина, я тебя понимаю, воспитанием я

не вышел. Сущий чурбан, недотепа, дурень. Жить со мной Гари только во вред будет. Я и себя-то в чистоте содержать не умею, а ежели он захворает… когда я на работе… простудится… малыши ведь легко простужаются… сок… холодный сок, можно, ясное дело, загодя купить или у Виктории позаимствовать, оно конечно, но как быть с бельишком… дочиста ему нипочем не отстирать… Турин обхватил ладонью шоколадки в кармане. Суну их в почтовую щель, а потом уйду и больше никогда… Из квартир в подъезде доносились утренние звуки — музыка по радио, звяканье тарелок в раковине. За одной дверью играли на гармонике, за другой охали женщины, он чуял запах бифштексов с луком и завидовал даже латунным дверным табличкам — вот бы потрогать их пальцем. Под вечер народу в квартирах еще прибавится: придут с работы мужья, из школы вернутся дети, у всех будет кому сказать «привет», спросить «как нынче дела?». Некоторые обнимутся, некоторые просто поглядят друг на друга. Но они будут вместе. Чистые, воспитанные люди. Чистая, красивая мебель. Простыни, ах, сколько боли причиняли эти простыни, хлопавшие на ветру во всех садах, кроме его собственного. Запах моющих средств и ветра.

НЕТ! Он сказал «нет». Больше его не обманут. Хорошо, что ему довелось видеть всю эту безысходность: вечером начнутся склоки, пьянки, крик. Ребятишки швыряют одежу как попало, бабы скулят, что нету денег на хозяйство. Люди прилипали друг к другу, становились пленниками. Уж он-то знал, насмотрелся — чай, Слейпнер с Викторией рядышком. Лицо у Виктории остренькое, желчное — вот во что они превратились! Слейпнер по утрам вовсе тусклый, когда в мастерскую приходит! Криво усмехается: мол, сам знаешь Викторию-то… И однако же терпит. Беспрестанно, день за днем, идет прахом все, о чем Слейпнер когда-то мечтал ребенком.

С другой стороны: о чем, собственно, он тогда мечтал? Если вдуматься. Учиться на пилота не хотел, насчет переезда в Швецию не переживал, даже от Виктории не отбрыкивался, когда она не давала ему слушать радио. «Бабы есть бабы, что с них возьмешь…» Может, он вполне доволен. Может, они вообще все довольны. Довольны, хоть и побаиваются. Довольны, что есть к кому приткнуться во сне, и побаиваются думать о чем-то большем.

— Freedom, — пробормотал Турин, втягивая но-

сом запах мастики, — means nothing to them[61].

А как же Сульвейг и Арон? Хотя они ведь стояли особняком. Принадлежали к иной породе. У них была музыка, и эту дверцу они могли когда угодно открыть и войти. Рядом с Сульвейг всегда возникало ощущение, что она как бы одета музыкой, и это одеяние не карябало, не раздражало, мир не карябал ее, не раздражал. Она и Арона облекла в такие одежды, почти. Он был на пути к этому, когда она умерла. Именно Сульвейг владела ключами от той дверцы и унесла их с собой, не диво, что Арон… что он уехал… может, надумал отыскать ключи… оставил детей…

Где-то наверху вдруг отворилась дверь, и Турин ретировался во двор. Там в углу стояли мусорные баки, от которых несло рыбой, за ними он и схоронился. На крыльцо вышли Карина Сеттерберг и Гари.

— Побудь здесь, во дворе, пока я не вернусь, слышишь?

Гари не ответил, прислонился к дереву и посмотрел на мать.

— На улицу не выходи.

Гари и теперь не отозвался. Турин смотрел. Его

---

[61] Примечания: 61
Свобода… для них ничего не значит *(англ.)*.

сынишка, пяти лет от роду, в кепочке с наушниками, заслонявшими чуть не все лицо, теплые варежки, короткое пальтецо, теплые чулки. Заложив руки за спину, мальчик покачивался вперед-назад возле дерева и молча провожал взглядом Карину, которая исчезла на улице.

Турин вышел из своего укрытия:

— Здравствуй, Гари. Я твой папа.

Гари молчком взглянул на него и отвернулся.

— Может, поздороваешься со мной?

— Ты не мой папка, — сказал Гари.

— Именно что твой.

Турин протянул ему шоколадку. Гари выхватил ее, сорвал обертку. Мальчик был некрасивый. В меня пошел, думал Турин, хотя волосы под кепочкой другого цвета, и глаза тоже. Но неказистостью точно весь в меня. Гари, не глядя на Турина, ел шоколадку.

— Большой-то какой стал. Тяжелый, поди. Можно я тебя подниму?

— Ворюга поганый, вот ты кто, — сказал Гари и отпрянул, едва Турин нагнулся к нему.

— Это мама… так говорила… ну, что я…

— Я сам вижу, — отрезал Гари.

Турин никогда не бранился, и слова Гари больно его ранили. Но мальчонка небось другого и

не слыхал. Видать, жил среди брани, и Турин сказал:

— Хочешь, сходим вместе в кондитерскую?

— Нет, — буркнул Гари.

— Пирожных тебе куплю, сколько захочешь.

— С малиной?

— И с малиной, если такие у них найдутся.

— Мама велела мне ждать здесь, пока она не придет. Нет, ты все ж таки поганый ворюга.

— Почему ты этак со мной разговариваешь, Гари?

— Все — поганые ворюги, у тебя есть еще шоколадка?

— А потрогать-то тебя можно?

Гари выпрямился перед ним, но глаз не поднимал. Турин подхватил его на руки, прижал к себе худенькое тельце, хотел заглянуть в лицо, увидеть, как он смеется, но мальчик даже не думал смеяться: мрачно смотрел на Турина и нетерпеливо протягивал руку за шоколадкой. Турин вынес его на улицу.

— Здесь неподалеку есть кондитерская. Да и в кармане у меня еще полно шоколадок. — Он сказал так, потому что неподалеку находилась стоянка такси.

Снег сыпал на них, ноги то и дело скользили, и

Турин думал: может, Гари интересно будет проехаться на автомобиле. У Турина всегда было при себе много денег, он считал их частью свободы, но тратил редко — фантазии не хватало, и они просто копились. «Только в такси я и надумал взять его с собой, — заявил он позднее перед судом. — Когда мы уже сидели на мягком заднем сиденье и он опять обозвал меня поганым ворюгой. Тогда-то мне и пришла мысль, что, если взять мальчонку с собой, у него будет возможность отвыкнуть от этаких речей. Промолчи он, и я бы…» — «Вы сознавали тогда, что нарушаете закон?» — спросил обвинитель. «Закон… — ответил Турин. — Закон иной раз очень-очень жесток».

Детская пирушка, о которой мечтал Турин, так и не состоялась; время года он выбрал неподходящее и с горечью это осознал, когда, трижды сменив такси и выехав из Карлстада, нес в потемках к дому отяжелевшего от шоколада и фруктовой воды и наконец-то заснувшего Гари. Сад, холодный и голый, лежал под снегом, качели, где они могли бы сидеть в теньке и лепить глиняных зверушек или тихонько качаться вдвоем, — качели были скованы морозом, люпины

и плодовые деревья затаились поодаль, а над озером плыли холодные тучи. Все изначально пошло вкривь и вкось, но Турин понял это лишь сейчас; он будто тешил себя надеждой, что хотя бы сад окажется неподвластен временам года, что канава у забора как раз и будет границей меж зимою и летом, меж днем и ночью, меж одиночеством и общностью. Всего-навсего один прыжок через канаву. Малюсенький прыжок — и перед Гари откроется его лицо, и оба они соединятся в улыбке возвращения домой.

В доме — «в этом свинарнике», молнией сверкнуло у Турина в голове — было холодно, нетоплено, грязно, на кухне даже свободного местечка не нашлось, чтобы осторожно положить ребенка; сейчас, как и *в тот раз,* повсюду — на стульях, на столах, на кроватях — валялись журналы, провода, инструмент. В конце концов Турин, одной рукой сдвигая с кровати какой-то хлам, уронил на пол ватерпас, громкий стук разбудил Гари, да так неожиданно, что мальчонка напустил в штаны; его будто прорвало от уймы углекислоты и сладкого шоколада. Гари неистово брыкался, угодил ногой Турину в лицо, а тем временем запашок и теплая влага — больше ничего теплого в доме не было — пропитывали одежду.

— Тише, тише, уймись, — попробовал он успокоить Гари, но тот укусил его за руку. — Надо сходить на улицу, в нужник.

Когда же он с мальчиком на руках пересек темный двор, откинул крючок, поднял крышку, открыв непроглядно-черную дыру толчка, а дверь захлопала на ветру, Гари вовсе обуяла паника.

— Не бросай меня туда! — завопил он, со звериной силой цепляясь за Турина.

— Что ты, что ты, — сказал Турин, — просто посидишь на толчке, сходишь по-большому. Чтоб одежу не марать.

Но Гари отчаянно упирался, посадить его на толчок оказалось невозможно. «Да и смысла не было, — признал Турин в своем длинном и обстоятельном рассказе перед судом, — он уже все вывалил». — «Пожалуй, мы опустим эти подробности», — сказал обвинитель, кашлянув. «Как же опустим-то, — возразил Турин, — ведь эта дырка… я как увидел ее… так подумал, что не гожусь даже… couldn't even wipe his ass…[62] стоял там и думал, что мне и накормить его нечем, кроме бобов да свинины… молока нету… ничего нету… все неправильно, вкривь и вкось… и эта дырка…

---

[62] Примечания: 62

…даже зад ему подтереть… *(англ.).*

вот там мне самое место… as if this hole was…[63]» — «Ответчик, будьте добры хотя бы изъясняться по-шведски», — перебил его обвинитель. «Yes, yes, yes», — простонал Турин, закрыв лицо руками.

В доме он кое-как стянул с мальчонки перепачканные штаны, кое-как дочиста обтер его экземпляром американского журнала «Пайлот» и укутал в собственную фуфайку. Завернул в одеяла, предварительно сняв залитые супом пододеяльники, растопил плиту, согрел воды, простирнул замаранную одежду, развесил на веревке над плитой, сел за кухонный стол и устремил взгляд на неподвижного Гари.

— Хочешь кофейку? — спросил он. «Но дети кофе не пьют, а об этом я не подумал, — продолжал он свой рассказ, и присяжные согласно кивнули. — Только вот чт***о*** скажешь мальчонке, который даже не глядит на тебя? Хуже нет, господин обвинитель, когда ребенок тебя не замечает. Жизнь теряет всякий смысл».

И он сказал:

— Завтра поедем обратно к твоей маме.

«Если одежа высохнет, сказал я. Только она не высохла. В доме было сыро и холодно, самому-то

---

[63] Примечания: 63
…будто эта дырка… *(англ.).*

мне без разницы, да и не для кого согревать тамошние стены». Вдобавок день был субботний. Магазины закрывались рано, и, когда он наконец собрался за покупками, торговлю уже прикрыли. Он боялся потерять ребенка из виду. Сидел на страже за кухонным столом, смастерил на пробу парочку глиняных зверушек, но Гари зверушки не заинтересовали. Он скулил, что хочет есть, но Турин все же сумел втюрить ему чуток бобов со свининой и морсом напоил, так что по правде-то волноваться не стоило. Вечером стало повеселее, Гари долго глазел на радиоприемники, на всякие клеммы, на инструмент и теперь примостился играть. «Вроде как затеялось что-то. Я было подумал, что мы поладим. Что он заинтересовался моими изобретениями. Что я, пожалуй, могу подойти к нему и поучаствовать в игре, запустить электрический генератор, очень уж нравилось ему на искры глядеть, господин обвинитель. Если б не искры эти, я бы точно открыл, когда постучали. Но дверь была заперта, занавески опущены, а мальчонке я зажал рот ладонью. Это мой единственный дурной поступок. Я бы с радостью открыл, потому что молотил в дверь и кричал мой племянник, Сиднер. Отец его уехал в Новую Зеландию, а мать, моя сестра, померла. И

ничего у нас с Гари не заладилось, я все испортил, зажав ему рот, после он цельный вечер хныкал и ревел. Проголодался, должно. Да и простыл. Той ночью я вышел в нужник». — «Снова-здорово», — вздохнул обвинитель. «Когда не к кому прислониться, господин обвинитель, поневоле пробуешь молиться. Вот я и стал на колени, возле толчка». — «Ну-ну, — сказал обвинитель, — это мы, пожалуй, опустим». — «Не-ет, — возразил Турин, — коли единственное, к чему ты мог прислониться, готово исчезнуть… впадаешь в отчаяние… будто тебя подвели к самому краю тьмы…»

Просто счастье, что в воскресенье рано утром Турин опамятовался от громкого покашливания: в дверях нужника стоял полицейский Хеденгрен и сочувственно смотрел на него.

— Эх, Турин, Турин, что же ты натворил?

Турин встал, опустил крышку на толчок, глаза у него были пустые, он озяб.

— Ты пришел забрать мальчонку?

— Значит, он у тебя?

— Сам ведь знаешь.

— Я догадывался, но зачем ты это сделал? Мало того, в открытую. Шапку надеть и то не сообразил, рыжую шевелюру весь двор видал. Заявление на

тебя поступило.

Турин зашагал впереди него к дому, но на пороге остановился, глядя на Гари: мальчик спал под одеялами, большой палец он засунул в рот.

— Мой сынишка. Хоть разок-то отцу, надо быть, можно… Я ведь ничего худого не хотел. А она не позволяет даже…

— Знаю, Турин. Кофейком не угостишь? Подняли ни свет ни заря, иной раз думаю, лучше б садоводством заниматься, чем в полиции служить.

— Меня тоже заберешь? — Турин передвинул кофейник на горячую конфорку, еще и рукой сверху придавил, чтоб поскорей согрелся, потом вымыл чашку, налил кофе и сел напротив полицейского.

— Сам Мадсен у тебя интервью брал для радио, и вообще. Замечательная, между прочим, была передача. На самом-то деле какой он, а?

— Это хорошо, — пробормотал Турин, — хорошо, что ты меня заберешь.

— Знал бы я тогда, что он в Сунне, взял бы лодку, окуней бы поудили, Турин. Втроем — он, ты да я. Вчерась вот пять кило налимов натаскал, угощу тебя, когда…

— В кутузке сидеть буду?

Хеденгрен отхлебнул горячего кофе, вынул из кармана бумажку.

— Гари? Так его кличут?

— Не я его крестил-то. А нельзя ему еще чуток поспать, Хеденгрен?

— Мне по телефону позвонить надо, сообщить, что мы его нашли. Они там ждут, в Карлстаде. Натворил ты делов.

— Так ты ступай, а мы после подойдем.

— Не могу, Турин.

— Я ничего худого не сделаю.

— Знаю, зла в тебе нету, но будет лучше, если ты сразу пойдешь со мной. Как по инструкции положено. Незаконный увод, противоправное лишение свободы — скверная штука, Турин.

— Дай мальчонке поспать. А мы посидим посмотрим на него. You know, it might be the last time… You know, I had hoped…[64]

— Я по-английски не разумею, Турин.

— Просто посидим. Тихонечко. Он — все, что у меня есть. А скоро и его не будет.

---

[64] Примечания: 64

Пойми, может, это в последний раз… Знаешь, я надеялся… *(англ.).*

И вот апрельским днем Турин Бринк сидел в зале карлстадского суда и слушал, как обвинитель оглашает исковое заявление, предъявленное ему, Турину, матерью их общего ребенка, барышней Кариной Сеттерберг, и на основании § 15 п. 8 Гражданского кодекса требует наказания в виде лишения свободы. Пока обвинитель долго и нудно описывал преступное деяние, Турин удивленно оглядывал публику, привлеченную сюда газетами, которые умудрились ввернуть в заметки о похищении имя Ларса Мадсена. Турин вдруг предстал как радиознаменитость, а газеты вдобавок тиснули фотографию, где он был снят вместе с Мадсеном, — в свое время ее сделал репортер «Фрюксдальс-Бюгден», на месте давнего Туринова причала. Сам Мадсен по поводу деяния не высказывался, только в ответ на вопрос сообщил, что готовит новый цикл репортажей из южношведской провинции и что летом они пойдут в эфир.

Барышня Сеттерберг — сейчас она сидела рядом с обвинителем — вовсе не рассчитывала на такое стечение народа, когда вошла в зал и нервозно огляделась по сторонам. Она заметно раздобрела,

коротко подстригла волосы (особенно на затылке) и сделала перманент, в руках она сжимала сумочку и скомканный носовой платок.

— Итак, одиннадцатого марта ответчик Бринк приехал в Карлстад, где его видели многие соседи, и с помощью шоколада и леденцов увел с собой мальчика Гари Сеттерберга, посулив, что якобы поведет его в кондитерскую. Затем, по свидетельству таксиста, господина Видмана, силой заставил мальчика сесть в машину означенного таксиста и поехал в Чиль, где вышел на углу улиц Главной и Железнодорожной, чтобы тотчас пересесть в другое такси, которым управлял владелец, проживающий в Чиле господин Эдерлинг. Во время этой поездки Бринк тоже упорно пичкал ребенка сластями, по словам господина Эдерлинга, «в непомерных количествах». В Вестра-Эмтервике обвиняемый вновь поменял машину, чтобы сбить со следа возможную погоню, и на сей раз пересел в «вольво» проживающего в Беккебру господина Бенгтссона, каковой доставил мальчика в Сунне и высадил обоих «неподалеку от моста». Мальчик спал, усталый и замурзанный. Господин Бенгтссон слышал ту мадсеновскую передачу, узнал обвиняемого и попытался заговорить с ним, однако ответов на свои

вопросы не получил, что показалось ему, «мягко говоря, странным». Обвиняемый Бринк украдкой отправился затем к своему жилью; прибыл он туда во второй половине дня и запер ребенка в доме, причем не давал ему возможности посетить туалет и не кормил, так что к моменту вмешательства полиции в ночь на тринадцатое мальчик находился в плачевном состоянии, был «сильно простужен и грязен», а одет в непомерно большую для него фуфайку обвиняемого, прямо на голое тело. Вернувшись домой и обнаружив пропажу ребенка, истица, барышня Сеттерберг, не на шутку встревожилась! А когда расспросила соседей и узнала, что ребенка увел рыжеволосый мужчина, позвонила в полицию. Обвиняемый Бринк, правильно ли изложены обстоятельства дела?

— Не было у меня леденцов, — сказал Турин. — Этак все переврать можно.

— Но прочие обстоятельства дела вы признаёте?

— Шоколад у меня был, а леденцов не было.

Направляясь к свидетельскому месту, Карина Сеттерберг уронила сумку и оттуда выпала коробочка лакричных конфет, которые раскатились по полу. Истица растерянно глянула по сторонам

и принялась их подбирать. Суд терпеливо ждал.

— Я давно чуяла опасность, из-за его приставаний, — сказала она и замолчала. Не могла вымолвить ни слова и с мольбой смотрела на обвинителя.

— Расскажите своими словами.

— С самого начала?

— Да, с самого начала.

Она сунула в рот лакричную конфету и долго ее жевала.

— Как он пришел и увел мальчика?

Судья и обвинитель разом кивнули.

— Я к соседке ходила кофий пить. А когда вернулась, он пропал. Ну, я поднялась в квартиру, но его и там не было. Я бегом на улицу. Опять без толку. Я же наказала ему не уходить со двора. Стала звать. Не откликается. Я в дом, к нижним соседям, только и эти мальчика не видали. Тут уж я заплакала, а люди, видать, услыхали, вышли на лестницу, спрашивать начали, что со мной приключилось. Ну, я говорю, мол, Гари пропал, а госпожа Карлссон, Бритта то есть, и скажи, что видала, как мальчонка толковал с одним таким рыжим и тот шоколадки ему давал, тут я и смекнула, что это был… он.

Она опустила голову, теребя ремешки сумки.

— У вас были причины подозревать, что это Бринк?

— Этаких рыжих волос ни у кого больше нету… Вдобавок он часто возле нашего дома шнырял.

— И вы, стало быть, чувствовали, что он способен замыслить подобное деяние?

Карина нахмурила брови, задумалась и сказала:

— Да-а. Я давно чуяла опасность.

— Бринк делал какие-нибудь намеки на это?

— Ну, напрямик-то нет. Просто я все время чувствовала себя вроде как беззащитной, вроде как под угрозой. Он ведь иной раз часами под окошком торчал, глаза пялил.

— В квартиру вы его никогда не приглашали?

— Нет.

— Потому что боялись? Он же как-никак отец ребенка.

— Я из-за него вконец измаялась. И мальчик тоже.

Тут вмешался судья:

— А мальчик когда-нибудь встречался с отцом?

— Нет.

— Почему же он тогда «измаялся»?

— Я же ему показывала, как этот стоит да зенки

пялит.

— А вы сказали ребенку, что это его отец?

Карина сглотнула и крепче стиснула в руке платок.

— Больно уж он чудной. Глядит этак диковинно.

— Но смотреть «диковинно», как вы говорите, вовсе не означает непосредственной угрозы.

— Да, но глядеть-то он глядел. Страсть до чего диковинно. — И вдруг, будто вспомнив школьные уроки, она отбарабанила как по книжке: — Случившееся меня чрезвычайно потрясло. А ребенок пострадал. Ведь его не кормили. Все это время.

— Может быть, вы пугали мальчика отцом?

— Так ведь… — Глаза у Карины забегали, словно искали в воздухе защиты, объяснений, каких-нибудь слов.

— Существовал ли повод для страха?

— Не знаю, — сказала Карина Сеттерберг.

Судья — он был человек образованный, родом откуда-то из Южной Швеции, и мечтал о процессах поважнее этого — взглянул на Турина: неуклюжая фигура, отвисшая нижняя губа, светлые брови.

— Теперь рассказывайте вы, Бринк, своими словами, с самого начала. Своими словами, — по-

вторил он, будто по плечу хлопнул.

— Своими, — сказал Турин, — нешто кто со мной поделится словами-то? Life is a penal colony for a lonely man[65].

Судья приподнял брови:

— Что по-шведски означает…

— Ежели вам понятно, господин судья, мне этого хватит. Жизнь — тяжелое наказание, пять лет я платил на Гари алименты, а мне даже прикоснуться к нему не позволяли. Пять лет я мечтал, но не о том, чтобы она пришла ко мне, — он кивнул на Карину Сеттерберг, — это невозможно, а о том, чтобы она хоть разок… руки-то эти вот, господин судья, куда их девать?.. Они будто кричали в тот день. Криком кричали. — Турин вытянул руки над барьером, чтобы все могли их увидеть и услышать. — От них все и пошло…

— Вы хотите сказать, что потеряли контроль?

Турин сочувственно глянул на обвинителя, встрявшего между ним и судьей.

— Голова у меня на особом положении не состоит, — ответил он, и по залу пробежала улыбка, но тотчас и погасла, когда Турин продолжил: — Хотя у самих у вас, господин обвинитель, кро-

---

[65] Примечания: 65

Жизнь для одинокого человека все равно что исправительная колония *(англ.).*

ме головы, похоже, ничего и нету. Остальное-то тело, по-вашему, вроде как довесок?.. Никчемные отростки?

— Ближе к делу, — буркнул обвинитель, стараясь показать, что с телом у него все в порядке: расслабил живот, небрежно подпер голову рукой. — Когда у вас, Бринк, непосредственно возникла мысль о похищении?

— Мысль? Если б мысль!

Золотой зуб Красавицы Биргитты сиял ему навстречу будто с заалтарного образа в темной церкви. «Главное — действовать. От мыслей недолго и свихнуться». Она вроде как забросила щедрую наживку. А он клюнул, попался на крючок и забился в конвульсиях. Он и правда начал действовать, и действие завладело им, подарило полчаса покоя, когда они с Хеденгреном сидели и пили кофе, глядя на Гари. Подарило несколько шахматных партий в кутузке, вкусный обед с налимом и водкой… «но об этом, Турин, молчок», и тотчас же в дверь постучали, прибыл молодой судебный стажер из Карлстада, чтобы ознакомиться с личными обстоятельствами задержанного. Стоя за свидетельским барьером, Турин усмехнулся — ему вспомнилось свежее лицо, городские очки, аккуратная прическа, платочек в кармане,

портфель. Хеденгрен вскочил, мигом спрятал рюмки в карман, сорвал с Турина салфетку (он ведь хотел, чтобы обед прошел по-настоящему торжественно, Хеденгрен-то), гаркнул: «В туалет сходил, а теперь в камеру, живо!» — и загнал его за решетку, откуда он немедля был снова вызван, чтобы ответить на вопросы о том, в какой мере он привержен к спиртному. Нет, что-то уж больно весело выходит, с таких позиций он защищаться не станет. Не примет их условия.

— Вы бы держались закона, — сказал он. — Коли я, по-вашему, совершил преступление, наказывайте, и дело с концом. Все равно никто меня не ждет, кроме кошек. Just the cats…

Но обвинитель продолжал задавать вопросы, и Турин отвечал то безучастно, то резко, то с огромной усталостью, а то и веско — когда, например, его спросили, имел ли он основания подозревать, что мать недостаточно заботится о ребенке.

— Какие еще подозрения? — воскликнул он. — Я про это ничего не знаю. У каждого человека свои печали. И все имеет причины.

На Карину Сеттерберг он смотрел с большой нежностью. А она прятала глаза, судорожно жевала свои конфеты, почесывала живот — и вдруг разрыдалась. Во время заключительной речи об-

винителя, который требовал сурового наказания, ибо ответчик завладел ребенком противоправно, она знай всхлипывала, а белая рука обвинителя снова и снова похлопывала ее по плечу, чтобы утихомирить и успокоить. Потом он сказал, что, хотя преступление безусловно серьезное, необходимо учесть, что ответчик совершил его без злого умысла… И, услышав, что наказание может составить от четырех месяцев до шести лет тюрьмы, Карина встала и сказала:

— Отец-то Гари вовсе не он, а Турстен Бодлунд. — Она посмотрела Турину прямо в глаза. — Я вот что хочу сказать, Турин. Я уже была в тягости, когда тем вечером пришла к тебе, ну а Турстена вся округа знала, он в арвикской команде левым защитником играл, вдобавок женатый, и денег от него не дождешься. Мы аккурат перед тем встречались на Кольснесе. Прикидывали, как быть… Вот и надумали насчет тебя, Турин… что ты небось клюнешь, при твоем-то характере. Турстен в «Новой кондитерской» ждал, пока мы… ну…

— Имели половое сношение? — подсказал судья, откинувшись на спинку кресла.

— Можно и так сказать. Я ведь здорово под газом была. Коли уж совсем начистоту.

Сиднер сидит у Фанни в гостиной, уже много месяцев пустой, играет «Детские сцены» Шумана, и тут в дверь заглядывает Ева-Лиса.

— Вот ты где! Замечательно играешь.

— Не-ет, до этого мне далеко. Хотя приятно, конечно, что ты так думаешь.

— Сельма Лагерлёф звонила.

— Гм. Что-нибудь важное?

— Не знаю. Просила тебя перезвонить. Наверно, краска нужна из магазина. — Ева-Лиса озирается по сторонам. — Повезло тебе, что можно пользоваться тети Фанниным роялем.

— Я же цветы ее поливаю, за домом присматриваю. Кое-что мне за это полагается.

— Как у нее тут шикарно — прямо войти страшно. Чудно все-таки, слова никому не сказала, взяла и исчезла. А как называется пьеса, которую ты играешь?

— «Von fremden Ländem und Völkern». По-твоему, у нас не так красиво?

— Почему же, просто у нас по-другому. Поскромнее, без шику. Слушай, а можно мне платья примерить? — шепчет она, наклонясь к роялю. — И бусы, которые в шкатулке?

— Только потом убери все на место.

— Само собой. Надо же, до сих пор пахнет ее духами. Все же она невероятно аристократичная, правда? Однажды я зашла, а они с Сельмой сидели тут и разговаривали. Тортом меня угостили. Так здорово было — сидеть рядом с ними. Я подумала тогда: вот как ты будешь жить, Сиднер, когда женишься.

— Никого я себе не найду, Ева-Лиса.

— Найдешь, обязательно найдешь. Я считаю, ты жутко стильный. И вообще. Поэтому она будет не из Сунне и не из Карлстада. Возьмешь жену из Стокгольма и станешь меня стыдиться.

— С какой это стати?

— Фанни ты тоже очень нравился, она и в Стрёмстад тебя пригласила, чтобы ты этого, Свена Гедина, услышал. Чего так странно на меня смотришь-то? Между прочим, торт, которым меня угощали, был с малиной. Как по-твоему, Сельма сама ягоды собирала?

— Вряд ли.

— Ну все равно! Вот бы так прославиться, как она! С ума сойти!

— Что это за разговоры?

— Как человек должен одеваться, когда люди с него глаз не сводят, а? Я бы выбрала что-нибудь

синее. Или зеленое. Только не черное, как она. Хотя, может, и черное надо иметь. Ты небось думаешь, я веду себя по-детски. Признайся!

— Ты лучшая сестренка на свете.

— Почему от папы нет никаких вестей? Мне иногда кажется, что он… Иди позвони Сельме, а то беспокоиться будет.

Он послушно идет к телефону. Ева-Лиса догадалась правильно: Сельма спросила, не привезет ли он ей несколько банок краски, синей, и немного шпаклевки, буфетную надо перекрасить.

— А еще мне требуется помощь с книгами. И кстати, Сиднер, зайди заодно в «Новую кондитерскую» и возьми тортик «Принцесса». Посидим с тобой, потолкуем.

Окна были открыты, пели птицы, когда Сиднер вошел в кабинет Сельмы; она сидела за письменным столом.

— Ты очень вырос с тех пор, как я последний раз тебя видела. Сколько тебе сейчас?

— Восемнадцать, скоро девятнадцать стукнет.

— Краску-то принес?

— Десятнику отдал. Надеюсь, колер подойдет. Торт я оставил на кухне. Тетя Сельма, от Фанни ничего не слышно?

Сельма грузно поднялась со стула, опираясь на

трость, подошла к окну и посмотрела во двор.

— Я хочу, чтобы ты помог мне с книгами. Скоро мне умирать, и дело, о котором я собираюсь тебя попросить, несколько щекотливое, но надеюсь, на тебя можно положиться. День нынче погожий, я все утро сидела тут, слушала птиц. Их песни никогда не надоедают. Впрочем, у тебя, наверно, нет времени на птиц, ты же так молод.

— Времени у меня полно. Мне столько не нужно.

— Да, пожалуй. Я знаю, тебе туго пришлось. — Она обвела тростью книжные стеллажи. — Ты когда-нибудь видел такое множество книг?

— Даже в библиотеке не видел.

— Думаешь, я их все прочитала?

— Б***о***льшую часть, наверно.

— Все так думают. Стыдно сознаться, но прочла я очень мало. Взгляни. — Она наугад взяла с полки книгу. Открыла, показала пальцем. — «Величайшей из всех, Сельме Лагерлёф с восхищением от преданного автора». Посвящения, приветствия. И здесь то же самое, и там. Даже не знаю, сколько их у меня. Писателей развелось чересчур много. И все шлют мне свои книги. Одни просто в знак благодарности, другие в расчете на отзыв или предисловие, третьи привозят рукописи, просят

помочь с изданием. Но я не в силах. Стара уже и, Бог весть, способна ли вообще судить о чужих писаниях.

— Еще как способна, — ввернул Сиднер.

— Обойдемся нынче без пустословия, мальчик. Раз в жизни я имею на это право. Хотя корить тут некого, сама виновата. Так вот, я, видишь ли, написала завещание. Этот склеп станет…

— Склеп?

— Конечно, Морбакка и есть склеп. Морбакка станет музеем. Из тщеславия или по другой какой причине — над этим ты можешь поразмыслить, когда я умру. Но сюда заявится много народу, начнут копать да вынюхивать. Особенно литераторы.

Она опять села за стол, положила трость параллельно зеленому бювару.

— Так вот, Сиднер, я хочу, чтобы ты разрезал страницы. В книгах, которых я не читала. Чтобы с виду казалось, как будто читала. Можно рассчитывать, что ты сохранишь секрет по крайней мере лет сорок после моей смерти?

— Хоть сорок пять, тетя Сельма. Мне сплетничать не с кем.

— Я слыхала, ты человек старательный.

— В общем, да. Первое и единственное мое

достоинство. Быть старательным означает всегонавсего внушить себе, что занимаешься важным делом. Торговать краской! Я не затем родился на свет.

— Ладно, давай начнем. С буквы «А». Я буду сидеть тут, а ты громко читай фамилию и название, тогда и решим, что делать. Вот тебе нож для бумаги.

Сиднер вытащил первую книгу.

— Альберг Эмма. «В обителях отрады».

— Та-ак. «В обителях отрады», стало быть. Разрежь страницы. Женские романы, пожалуй, не мешает разрезать. Их авторы стараются как могут. И на пути у них множество препон. Я, кажется, встречала ее. Маленькое, невзрачное существо. Книга-то печальная, как на твой взгляд?

Сельма закрыла глаза, слушая, как солнце журчит по полу, по книжным корешкам.

— Если я начну читать, никакого времени не хватит.

— Твоя правда. Если книга веселая, читать ее незачем, а если печальная — название лжет. С иронией мы, женщины, пока не в ладах. Следующая.

— Альберг Эрик. «За гранью зримого». Сельме Лагерлёф с восхищением.

— Ух ты, вот это название! Разрежь семь страниц, чтобы он понял, как я старалась. За гранью зримого, надеюсь, царят тишина и покой. Следующая.

— Альм Альберт. «Под сенью тополей».

— Малыш Альберт! Такой бездарный! Понимаешь, Сиднер, он никогда не изменит литературу. Живет в Ландскруне. Там и учительствовал. Все запятые в книге наверняка на месте. Все предложения грамматически правильны. Когда разрежешь книгу — и непременно всю, от первой до последней страницы, ведь в его жизни это будут редкие минуты счастья, — ты увидишь, что под сенью его тополей гнездятся греческие боги. Больше учености, чем жизни. Хотя, может, и найдется простое, красивое стихотворение, посвященное матери.

— Да, есть одно. И называется: «Матери».

— Так я и думала. Она заботилась об Альберте. Каждое воскресенье я видела их в окно, они шли в церковь, и он вел ее под руку. Временами я завидовала его безмятежному спокойствию. Хотя о жизни других людей мы знаем так мало.

— Книга уже разрезана. Она ведь совсем тоненькая.

— Ну и хорошо. Во всяком случае, он не задает-

ся. Правда, и большим писателем ему не бывать, так уж устроено на свете.

— Эдвинссон Карл-Эдвард. «Песнь улиц».

— Звучит выспренне. Разрежь, пускай не думают, что я боялась модернизма. Ну, как там: строчки истекают абсентом, гудят от кошмарного хохота продажных женщин? По-твоему, я ханжа? Можешь не отвечать. А я расскажу тебе единственную смешную историю, какая мне известна, только она совсем не смешная. Суть у нее та же, что и у нашего с тобой сегодняшнего дела. Ты знал такого Эмануэля Ларссона? В общем, умер он прошлый год. И когда он умер, его жена поехала в Сунне и купила ему пижаму. Чтоб в описи имущества было обозначено, что он пижаму имел! Это не ханжество, а забота о чести. Следующая!

— Фридрихсен Эбба. «Анна, жена арендатора».

— О Господи! Я ведь посулила этой дурочке незамедлительный ответ. Неужто книга впрямь не разрезана?! Эбба! Я ведь любила ее. Грибы под белым соусом она готовила изумительно. Ясное дело, на сливках. Щедрой рукой сливки добавляла. А сливки блюду на пользу. И сама красивая такая! Дом тоже загляденье. Дорогие картины, настоящие ковры, короче говоря, стиль! Пожалуй, я дам тебе рекомендательное письмо, на случай,

если ты соберешься в Стокгольм, тогда и концерты будут, и вечеринки. Тебе это понравится?

— Я наверняка оробею.

Сельма нагнулась над столом, прищурила глаза.

— Знаешь, я тоже робела. Но когда ты знаменит, люди этого не замечают. Она твердила, что обожает меня, вычитывала в моих поступках то, чего там никогда не было. Во всем усматривала глубокий смысл, в любой пустячной фразе, слетавшей с моих губ. Одного в ней я понять не могу — страсти к писанию книг. Она ведь в жизни не видела арендаторского хутора, даже издалека. Очаровательная женщина, но разве писателю нужно очарование? Нет. А теперь позвоню-ка я насчет торта.

Сиднер кивнул и достал с полки очередную книгу.

— Лунд Эгон. «И все же лошадь видит сны».

— Эту разрезать не будем. Он прекрасно использует свои стокгольмские связи. Шнырьет в коридорах журнальных редакций, дружит со всеми редакторами, которые могут оказаться ему полезны. На моих похоронах он скажет, что мы вели глубокомысленные беседы. Я — и глубокомысленность! Если хочешь знать, мне всегда

стоило большого труда говорить остроумно. Я чувствовала фальшь в каждом произнесенном слове. И слова были тяжелые, как валуны… Слушай, обо мне ведь наверняка говорят, что я ужасно скучная? Только не виляй!

— Ну-у… в общем никто не говорит, что вы очень веселая.

— Вот как. А все потому, что в разговорах я вечно вроде бы защищаюсь. Вопросы будто атакуют меня прямо в лоб. Я никогда не успеваю поиграть словами, покрутить вопросы так и этак. Сейчас это меня не смущает. Сейчас народ готов слушать все, что я ни скажу, хотя бы и полную чушь.

Вошла кухарка с тортом и кофе. Были на подносе и две рюмочки.

— Надеюсь, вам понравится, — сказала она и, сделав книксен, удалилась.

— Конечно, понравится, — ответила Сельма. — Что у тебя там за книга?

— Мальгрен Нильс. «Сильный».

— Поставь на место, как есть. Мне хочется поднять дух слабых, ободрить слабые существа внутри нас. Если мною и руководила какая-то идея, так это — дать голос слабым. Как думаешь, мальчик, будет война?

— Она снится мне по ночам. Я вижу во сне, что

мама жива, и папа здесь, и летят самолеты.

— Вам, молодым, придется тяжко. В войну у детей связь с жизнью хрупкая, как у яблоневых цветков в саду.

— Вы боитесь смерти, тетя Сельма?

— Почему ты спрашиваешь, чудак человек?

— Мне просто кажется, я должен спросить.

— Умереть бы у открытого окна, в такой вот день, как нынче… Птицы в саду, вода журчит, а рядом человек, на которого можно положиться… Птицы и прочее не проблема, но на кого я могу… Отведай-ка торта.

— Вкусный.

— В «Новой кондитерской» хорошо пекут. Особенно торты «Принцесса»… главное, не слишком пересластить.

— Как это — писать книгу?

— Ах, Сиднер, о тортах с тобой не поболтаешь. Уж не намерен ли ты…

— Мне бы надо стать бессмертным.

— Кому-кому, а мне тут смеяться негоже. Подожди годик-другой, там будет видно.

— А что делать? Плохо у меня с жизнью. Меж мною и жизнью словно перегородка стоит. Но когда я кричу… то есть когда пишу… мне представляется, что это будет услышано, пройдет

прямо сквозь жизнь и достигнет высей… Я смешон, да?

— Разумеется, как и я.

Во дворе зашуршали шаги, послышался шепот, и разом все стихло. А потом чистые девчоночьи голоса запели:

У нас на лужайке черника растет.
Приди, моя мята душистая.

Сельма встала, плотнее закуталась в шаль.

Коль хочешь, дружок на лугу подождет,
Где розы, шалфей и ромашка цветет.
Приди, моя мята душистая.

— Извини, мне надо появиться на балконе. Примерно на второй строфе. Дай-ка трость, спасибо. Ужасно мило с их стороны. Знал бы ты, сколько раз на моем веку я слышала эту песенку! Впрочем, я никогда об этом не говорила. Мне и правда приятно, честное слово. Только вот в музыке я полный профан.

Сиднер стоял у окна, слушал песню, а потом голосок маленькой девчушки, которая вышла вперед:

— Мы, ученицы Молькумской сельской школы, хотим выразить вам, величайшей писательнице Скандинавии, свое благоговейное восхищение и благодарность за все, что вы значили для нас через ваши чудесные книги и рассказы. Спасибо.

— И вам спасибо. — Сельма помахала рукой. — Спасибо, дети мои. Спасибо, спасибо. — Продолжая махать рукой, она растерянно попятилась в комнату и со вздохом опустилась на стул. — Кошмар, сущий кошмар. Мне совершенно нечего им сказать. Ни слова не нахожу.

— Все и так было хорошо.

— Хорошо! Сейчас они там стоят, глазеют на балкон и собираются петь «Ах, Вермланд». А я ушла, и учитель говорит: «Пойте, пойте. Вы должны понять, она старая и усталая, ей наверняка недолго осталось жить. Пойте. Она и в комнате услышит». О чем мы с тобой говорили?

— Не все ли равно.

— Нет, не все равно. Ты спросил, как это — писать книгу. Нудное, утомительное занятие. Будто через пустыню бредешь: долгие переходы без единой капли воды, без единого деревца, под которым можно было бы отдохнуть. Но вот наконец оазис — там слова текут рекой, там распускается каждый листочек, все жаждет стать стихотво-

рением. Слышишь, под балконом опять запели! И перо летит по бумаге, ты как бы попадаешь в тропики эмоций. А представь себе, сколько всего любой человек воспринимает глазами, сколько минувшего, сколько неведомого грядущего заключено в каждом его жесте и сколь мучительно хрупко его настоящее — нежный росток золотничной травки меж двух шатких камней. Вот это тебе и нужно запечатлеть. Н-да. Принимаешь решение — и счастье замысла оборачивается работой и страхом, ведь надо выбрать, откуда начать рассказ. Можно вооружиться биноклем и наблюдать за персонажем с отдаления, скользить взад-вперед над его мирком, охватывая взглядом всю панораму, где он — лишь малая частица. Можно притаиться в полуметре от него, тогда книга будет совсем другая, можно проникнуть в его нутро, это самое трудное, самое хлопотное, нельзя же создать человека наполовину и бросить! Нужно склониться поближе к живому человеческому сердцу и записать ритм дыхания, разглядеть тончайшую мимическую игру его лица. А в общем, не знаю. Я просто пишу, без всяких теорий. Но когда пишу — знаю. Вернее, знала. Теперь это в прошлом, теперь мы едим торт и… может, рюмочку хереса? Он настоян

на шиповнике, обжаренном в духовке. Знаешь, как пахнет шиповник, когда его обжаривают в духовке? Будто сама осень лежит на противне. Этот шиповник мы с Фанни собирали в прошлом году, в сентябре, второго такого сентября мне, верно, уже не увидеть. Ты присматриваешь за ее цветами, хорошее дело.

— Она надолго уехала?

— Да нет, не очень. Она — человек хрупкий, слабый, Сиднер.

Руки у Сельмы дрожали, когда она поднесла рюмку к губам. Произнося его имя, она не сумела удержаться от веской многозначительности. Сиднер посмотрел на нее и сглотнул, ему вдруг стало трудно дышать.

— Может, продолжим… с книгами.

— Нет, Сиднер, не стоит.

Опять это имя. Будто пика, целится прямиком в него.

На подоконнике засвистела птица.

— Тебе нравится Фанни?

Он отодвинулся на стуле подальше.

— Что вы имеете в виду, тетя Сельма?

— Ты не задумывался над тем, почему она так внезапно уехала?

— Еще как задумывался! С ней ведь ничего не

случилось?

— Фанни родила ребенка, Сиднер.

— Ребенка?! Фанни?.. Почему вы рассказываете мне об этом? Вы затем меня и позвали?

Он упал на колени, обхватил голову руками.

— Правильно, Сиднер. Кричи, разрушь тишину этого склепа.

— Мой и Фаннин? Быть не может, — прошептал он и взглянул снизу вверх на Сельму, а она качнулась к нему, медленно подняла руку, нащупала его голову.

— Но почему она ничего не сказала? Я же взрослый. Она спокойно могла бы…

— Фанни просила меня рассказать, чтобы ты имел возможность исчезнуть. Уехать, куда угодно. Если уедешь, она никогда о тебе не спросит.

— Она хочет, чтобы я… исчез? Ничего не понимаю.

Сельма притянула голову Сиднера к себе на колени и тихонько баюкала его, гладила по волосам.

— Плоха я по этой части… Прежде мои руки такого не делали.

— Это мальчик или…

— Мальчик. Ему уже две недели. Тебе неприятна моя ласка?

— Нет.

— Она рассказала мне о поездке в Стрёмстад. Как ее оскорбило или шокировало, что Свен Гедин… Н-да-а, бедная глупышка. У нее какие-то превратные взаимоотношения с реальностью. Она слишком погрязла в мечтаниях. И все реальное пугает ее. Н-да, *это* она рассказала, но разве кто способен рассказать все. Вдобавок мне. Жизненные истории обходят меня стороной. — Она взяла его лицо в ладони. — Об этом знаем только мы трое — Фанни, ты да я. Но замешаны в этом только вы с Фанни, а я нет. Она тебе нравится? Хотя по возрасту вполне годится тебе в матери.

— Что же мне делать?

— У нее есть теперь любимое дитя, о котором она так долго мечтала. А сейчас иди-ка к роялю. Однажды я слышала, как ты играешь.

— Знаю.

— Сыграй мне что-нибудь. Что угодно. Терпеть не могу, чтобы на меня смотрели, когда я плачу.

Турину было суждено жить: когда он хотел повеситься, оборвалась веревка, когда попробовал вилкой проткнуть вену на запястье, пришел тюремный священник, а сей добродетельный и

достойный пастырь, опьяненный собственной трезвостью, на все имел готовые ответы, которые каменными глыбами громоздились у входа в путаные туннели вопросов. Турина приговорили к двум месяцам исправительных работ, в воздухе пахло весной, и, стоя у решетки окна, он видел внизу, за стеной, школу для девочек. На переменках по сетчатке его глаз сновали тонконогие ученицы, продолжая свою суету и ночами, когда он апатично лежал на нарах и глядел в потолок, меж тем как в мозгу вертелся единственный жгучий вопрос: «Ну можно ли так обращаться с человеком?» Как такое возможно, господин пастор? Как, господин судья? Как, Господи? Мечты ему удалили, вырезали, будущее отняли, выдернули проводок из кое-как собранной розетки. На подоконник к нему иной раз садился голубь — сизые перья поблескивали на вешнем солнце. Они смотрели друг другу в глаза, и Турин отчаянно желал хоть на секунду обрести умение думать по-птичьи. Проникнуть в чужие мозги, увидеть мир по-другому, тогда это «как» обнажится перед ним. Или все будет кончено?

Заходил адвокат, по делу Карины Сеттерберг. Она дала под присягой ложные показания, и если он подпишет кой-какие бумаги и ответит

на ряд вопросов, то получит свои деньги назад. Но Турин отвернулся к стене: «Деньги мне жизнь не возвернут».

Даже не появись я на свет — да, я уже родился и, верно, лежал у Фанниной груди, — Сиднеру все равно было бы трудно вывести Турина из апатии. Целую неделю он стоял перед зеркалом, разглядывал свое лицо, словно примечая, как день ото дня стареет, и сидел у Турина в камере совершенно сломленный, так ему казалось.

— Как женщины только могут вот так обращаться с человеком, Турин?

— My fellow-sufferer[66]. Жизнь есть жизнь, в ней без этаких слов и поступков не обойтись. Мы слепые, you know. Мы всего лишь продукты. А жизнь — disappointment[67].

— Изъян, что ли, какой у нас в роду, Турин? Ты-то опять собираешься покончить с собой?

— А что толку? От расплаты не уйдешь. В другом бытии.

И оба тяжело вздохнули.

— А здорово, наверно, избавиться… Умереть

---

[66] Примечания: 66
Мой товарищ по несчастью *(англ.).*

[67] Примечания: 67
Разочарование *(англ.).*

и уйти.

— От чего избавиться-то… little brother? Гари нельзя назвать симпатичным ребенком, но он был мой… так я думал. Пусть бы все продолжалось по-прежнему. Лучше бы мне жить этой ложью, чем превратиться в якобы живое не пойми что. Без забот… без таких вот забот ничто не удержит человека на правильном пути. Мальчонка был для меня что свет в окошке, brother.

— Но как же мы позволяем так себя обманывать?

— Кого только не обманывают, Сиднер! Чем, по-твоему, живут священники? Большинство из нас за милую душу любое вранье заглатывает. A penal colony — вот что такое жизнь. Но про вранье про это я говорить не стану. Правда, конечно, не так привлекательна. А объявлять жизнь загадкой — тоже вранье, хорошая выдумка, чтоб нам было с чем колупаться. По-настоящему обмануть могут одни только дети. Они ведь не просят, чтобы их родили на свет. Я разве просил? Чего бы ради мне сюда проситься? Кому я был в радость, кроме кошек? Как-то они там? А, один черт. Хоть какая-нибудь женщина поглядела на меня с интересом?

— Ну, вряд ли все так уж безнадежно, Турин, — .

перебил Сиднер, которому тоже хотелось высказаться, но Турин не слушал.

— Разве мама говорила: Турин, радость ты моя? Нет! А в жизни я чего-нибудь добился? Рабство отменил? Нет, братишка, я делаю надгробия. При этом много всяких мыслей в голове бродит. Сидишь высекаешь фамилии да имена, одно за другим. Маленькие, изящные имена, узкие цифры дат. Хорошо тебе, завернул ненадолго в эту жизнь — и привет, обычно думаю я. Свое рождение мы оплачиваем сначала жизнью, потом смертью, как говорил этот, Шопенгауэр. Двадцать лет я высекал имена и даты, ставил точку в их жизни. И двадцать лет народ смеялся надо мной, но дети не смеются.

— Я лично никогда над тобой не смеялся.

— Ты ни над чем не смеялся.

— Мне бы, наверно, стоило покончить с собой. Все люди, которых я знал, исчезают, оставляют меня. Единственный раз я был в постели с женщиной — и рождается ребенок! Как было бы чудесно, если б она пожелала… жить со мной. Я бы…

— Да-а-а, — вздохнул Турин, барабаня пальцами по столу. Солнце ворвалось в окно, нарисовало на полу крест. — Ты-то наверняка вскорости найдешь себе подружку. А вот я!..

— Привет кому-нибудь передать?

— Налей кошкам сливочек от меня. А впрочем… — Турин, кажется, почувствовал облегчение, увидев, что Сиднер собрался уходить. — Встретишь Красавицу Биргитту…

А вот эту историю рассказала Красавица Биргитта; Сиднер передал-таки ей привет, и после она целых две недели укрывала Турина меж своими бедрами.

— Oh Lord, в какой же бедности прошло мое детство. Ничегошеньки у меня не было, кроме банки из-под чая. Дом стоял на равнине, и часто его будто одеялом укутывал густой туман. Я мечтала залезть под это одеяло и играть в прятки с другими детьми. Но играть было не с кем. Да я бы и не осмелилась, ведь под покровом тумана папаша мой на карачках полз через поля домой, к маминым юбкам на веранде. Чем уж они его притягивали, не знаю, но что-то в них было, иначе он бы домой не ворочался. Вечно пьяный, ширинка мокрая, рот полон табачной жвачки и крови, глаза заплыли после потасовки в Арвике, oh Lord, горюшко горькое. Вот и сидела я во дворе на своем дереве, прислонясь к стволу,

по крайней мере, летом было хорошо. Банку от чая я подносила к глазам, близко-близко, она была круглая, черная, блестящая, с крупной надписью: TEA FROM DARJEELING[68]. И с четырьмя картинками. На первой — носорог среди высокой желтой травы, а поодаль в этих травяных дебрях — полуголые люди с копьями. На второй — высокие горы со снежными вершинами. Небо синее-синее, да, на всех четырех картинках. На третьей — река, пенным потоком падающая со скал, внизу женщины стирают белье, расстилают его на камнях. А на четвертой — птица в costly[69] сверкающем оперенье. Один глаз птицы смотрел на меня, и чем ближе я придвигала лицо, тем больше он теплел: я вдыхала запах чая и сухой травы и грезила, снимала с себя одежду, она была грязная, нуждалась в стирке, и я клала ее под водопад, училась стирать в реке. Потом мы пили в высокой траве TEA FROM DARJEELING, носороги смотрели на нас, а синяя птица взблескивала в небе над снежными вершинами, oh Lord, какое счастье. В Дарджилинге всегда было лето. Сады полнились розами и… калужницами… других

---

[68] Примечания: 68
Чай из Дарджилинга *(англ.).*

[69] Примечания: 69
Роскошно, изумительно *(англ.).*

цветов я тогда не знала. Костерок для чая из Дарджилинга, музыка для чая, ветер, глаза, губы для чая из Дарджилинга! Хочешь спросить, Турин, была ли я красива? В Дарджилинге — очень, на бедрах повязка из ярко-алого бархата, цветы чая в волосах, падавших на голые плечи, я часто смеялась, только вот иногда ужасно зябла. Ведь и в Дарджилинге у меня была банка, пустая, черная, с четырьмя картинками. На одной — туман, а в тумане мужик на карачках, с заплывшими глазами; на другой — дом, на пороге стоит женщина, кричит в темноту; на третьей — дорога, которая не ведет никуда; на четвертой — некрасивая девочка на дереве, сопливая, с опухшими веками; она замирала от страха, слыша, как шум подползает все ближе, дробится на отчетливые звуки — чавканье, когда ладони и коленки тонули в глине, шорохи, когда они пробирались через пашню, подкрадывались к дереву. Я ведь вправду снимала одежду и, намереваясь бежать от него, сидела закутанная только в одеяло. Думала, тогда он меня не догонит.

Ни куклы у меня не было, ни медвежонка, только ДАРДЖИЛИНГ.

Ни книг, ни слов, только их изнанки, Турин.

Там, на равнине. И в школу я уносила с собой

эту равнину, вопли и его руки. Они лежали на парте, ощупывали меня на полу в классе.

А однажды, когда был трезвый, папаша увидел мою банку и сказал: «Хорошая штука, очень мне пригодится». — «Она моя!» — крикнула я. «В самый раз для стряпни», — объявил он, отобрал у меня банку и проделал у верхнего края две дырки, зубило прямиком сквозь птицын глаз прошло. Потом он приладил проволочку заместо ручки и скрылся в лесу. С каждым его возвращением банка была все чернее от копоти, скоро картинки стали вовсе неразличимы, я плакала. Oh Lord, что же теперь творится в ДАРДЖИЛИНГЕ, думала я, но не могла мысленно добраться туда и дурнела, что внутри, что снаружи. В голове только дурное. И в глазах дурное, когда они смотрели на него и на бедняжку маму, которая вечно глядела в пол.

Как-то ночью папаша опять явился домой пьяный, растопил плиту, повалился на кухонный диван — такой, похожий на большой ларь, его еще крышкой надень закрывают — и захрапел. Под утро мама проснулась, а на кухне горит, скоро весь дом заполыхал, однако ж папаша спал мертвецким сном, не добудишься. Мама целый час надрывалась, волокла диван — и папашу вместе с ним — на улицу, хоть огонь вокруг бушевал

вовсю. Сантиметр за сантиметром сумела-таки перетащить эту бандуру через все пороги на веранду, а потом и во двор, к флагштоку. Папашу она от огня диванной крышкой накрыла, а сама обернула лицо мокрым платком, которым время от времени шлепала по дивану.

Как он ее бил, Турин! Как обзывал! А она вытащила своего мучителя из огня — здоровье себе подорвала, рассудка едва не лишилась. Я прямо оцепенела возле флагштока, когда она подняла крышку: он преспокойно дрых, на боку, с улыбкой на губах. Бедняжка, сказала мама. Бедняжка горемычный. И без чувств упала на землю.

А папаша потянулся, просыпаясь, заморгал глазами и встал. Дом горел, издали доносился вой сирен — ехали пожарные. Он взглянул на маму, на дом, на диван, прикинул расстояние, покачал головой и буркнул: «И на кой черт все это надо».

Уверяю тебя, Турин, если б не видала я моего Дарджилинга, гор, водопада, травы, он бы присосал меня к себе, замкнул в своей безнадежности. Тогда он униженно посмотрел на меня, протянул ко мне руку, но я отшатнулась. Все, хватит, больше он меня не замарает, не заразит. В тот день я и сбежала. Не знаю, откуда силы взялись, запасы-то были ничтожные. Сбежала я с огромным

грузом ненависти, больной, заразной ненависти, я продавала себя, но шла вперед, зная, что обязана дожить до той поры, когда отыщу этот Дарджилинг — место, где царит чистота. Мне нужно убедиться, что такое место существует. Много-много лет и много-много раз я попадалась на обман — сколько их было, лживых принцев, которые вышвыривали меня на помойку да еще смеялись потом у меня за спиной. Мол, винища-то сколько выхлестала! Тебе, Турин, тоже небось знаком этот смех?

— Yes, I know[70].

Она положила ладонь ему на запястье, и он руки не отдернул.

— Но ведь от меня никакого проку нет.

— А зачем нам прок друг от друга. Мы просто будем жить. И искать. Идем со мной в Дарджилинг, Турин.

За четыре дня до освобождения Турин исчез в первый раз: классическим способом распилил решетку и выбрался на волю с помощью простынь. Начальник тюрьмы счел Турина круглым дураком: невтерпеж ему стало, видите ли! Устраивай теперь допросы, назначай ему дополнительный

---

[70] Примечания: 70
Да, знаком *(англ.)*.

срок, снова копайся в кучах бумаг. Если он будет найден.

Найти его не сумели. Но через две недели в ворота тюрьмы постучали — он, дурак этот, сам явился и вежливо так попросил впустить его: дескать, хочет отбыть наказание, какое назначат. В руках он держал бумажный пакет, а в пакете была акварель: лесное озерцо, чомга в камышах. Плохонькая акварель, написанная с любовью, но совершенно беспомощно; расстаться с нею Турин не пожелал, повесил в камере на стенку, лег на нары, закинув руки за голову и улыбаясь. На расспросы о том, где был, он не отвечал. И отныне так продолжалось год за годом. В один прекрасный день среди лета он вдруг отрывал взгляд от своих надгробий, вставал, относил в сарай зубило и долота и, ни слова не говоря, исчезал, а потом — опять же вдруг — появлялся опять. Единственным свидетельством отлучки была новая акварель на стене в доме. Был Турин опрятен, и пахло от него вполне сносно, хотя на целый год этой опрятности не хватало.

— Ты никак живописью занялся, Турин?

— It’s none of your business[71], — отвечал он,

[71] Примечания: 71
Не твое дело *(англ.).*

пожимая плечами.

Сиднер Нурденссон
«О ласках»

11 мая 1939 г.

Полнейшая безысходность — быть живым нынче вечером!

Я сижу у открытого окна на этой кухне, где ничто не улыбается, передо мной лежит черная клеенчатая тетрадь, и впервые за долгое время я снова пишу, так как несколько дней назад узнал, что где-то у меня есть сын. Кто ты? И кто я? Мы еще не виделись. Твое существование меня не радует, я сам пока не родился к жизни. Вот увижу тебя, тогда и пойму, существуем ли мы друг для друга. Но, коли мне удастся что-нибудь написать, ты однажды прочтешь эти слова и узнаешь, кто я был, пусть даже моя жизнь пройдет в скудости.

На дворе весна. Я подолгу гуляю за городом. Хожу, заложив руки за спину, и твержу себе, что любуюсь миром, а на самом деле жду Великой Катастрофы. Вечерами сижу над книгами или за роялем в доме твоей матери, где поливаю цветы. По сей день она — единственная моя женщина. То ли сама отыскала меня, то ли я просто оказался

под рукой.

(Позднее.) Нет на свете ничего мимолетнее Ласки. Но, подобно аромату и звуку, Ласка — единственное воспоминание, какое можно унести с собою из жизни в смерть, потому что любовные ласки суть чистейшая сосредоточенность. Все тело — лишь глаз, ухо, язык. Ты спросишь: отчего мой отец любил любовь больше, чем жизнь?

Девяносто пять процентов моего времени проходит в размышлениях об Эротическом. Сколько впустую растраченной энергии! Ведь я успел прожить 6690 дней, а ласкал, наверное, раз шесть, то есть в среднем выходит одна ласка на каждые три года. Но все эти ласки случились разом. Да, я записываю свои унижения. Завещаю тебе, что имею. Дожить до девятнадцати лет и не иметь иного выбора, кроме как меж Фанни и Богом!

2 июня 1939 г.

Я видел тебя, сынок.

Тебе уже дали имя, обошлись без меня, я опоздал. Горькая встреча, ведь отрепетированные фразы редко произносятся вслух, если их репетировали не в присутствии всех заинтересованных лиц. Стоя на крыльце Фаннина дома, я собирался сказать: «Я хочу видеть моего сына!» Однако ж

именно эта фраза так и не была произнесена, ибо в тот миг под летним дождем, в шорохе дворового гравия, ты сам и испортил мне всю торжественность. Ты заревел, Виктор (таково твое имя), проголодался и требовал сменить пеленки. Фанни, женщина, с которой я, как мне думалось, был теперь связан воедино, связан тобою, — Фанни поспешно бросилась мимо меня в дом, благо дверь была открыта, а я остался во дворе, с дорожной сумкой в руках, провожая взглядом ее юбки, темно-фиолетовые, быстро исчезнувшие внутри. Что-то утратилось, взамен нахлынуло огромное унижение: реальность нанесла мне удар ниже пояса. Мне был преподан урок, с которым я, возможно, сумею примириться. Я сел на подножку автомобиля, закрыл лицо руками.

Почему она так поспешно пробежала мимо? Когда позднее я наконец-то расхрабрился и вошел в дом, все, что я делал, представляло собой жалкие обломки задуманной церемонии. Так и не использованные чайные чашки, еще накануне расставленные на столике в гостиной, она сдвинула в сторону, поэтому скатерть собралась складками, а сахарница просыпалась, когда же я подал чай, она не притрагивалась к нему, пока он не остыл, как и мое сердце. Она кормила тебя

грудью, и я держался поодаль.

Это и значит — быть взрослым? Когда я спросил, вправду ли ребенок мой, она вздрогнула и сказала: «Да, но он мой». Расстояние увеличилось — догонишь ли… Ноты на рояле, соната, которую я думал ей сыграть, они словно выпали из моих мысленных рук. Ты лежал у ее груди, а мне довелось коснуться этой груди всего лишь раз. Уйти я не мог. И остаться не мог. Воочию видел, как мое тело и воля начинают разъединяться.

С твоим приездом, Виктор, явилась одна только боль. На мое «Я так скучал по тебе» она ответила: «Я же очень намного старше тебя». — «При чем тут это?» — спросил я, и она ответила: «Очень намного. Я не хочу видеть, как ты гаснешь оттого, что я все больше старею». Но она расцвела. Кожа у нее была мягкая и нежная, обновленная только ради тебя. Я не знал, тает ли эти реплики планы нового отъезда, да и сейчас, когда у себя на кухне пишу эти строки, тоже не знаю. А вот ты, когда станешь их читать, будешь знать все.

10 июня 1939 г.

Дни, реплики:

«Для меня это ад, Фанни». — «Ребенок мой, Сиднер, пока я жива. Потом он будет твой, если захочешь. А не захочешь, о нем позаботятся дру-

гие, я это уладила. Долго была в отъезде и все обдумала. Если хочешь, сделаем его богатым и сильным. Ты будешь играть мне на рояле, а я могу вышивать. Ты будешь ходить с Виктором на прогулки. Мы будем пить чай, а как стемнеет, ты будешь возвращаться к себе, я не хочу, чтобы ты жил здесь. Хочу, чтобы ты знакомился с другими женщинами, ревновать я не стану. Желания моей плоти ничтожны, Виктор дает мне все». — «Я хотел приласкать тебя, Фанни». — «Любая ласка осложнит нам жизнь. С ласками всегда так. Мне недостает темперамента, чтоб быть интересной. Но ради ребенка огонек меж мною и тобой ни в коем случае не должен угаснуть. А любовь отчасти заключена в открытости. Если б ты и я жили вместе, разве мы могли бы рассказывать обо всем?»

* * *

Что есть грудь женщины? Что есть округлость ее живота? А лоно, и волосы вокруг, и отверстие, где неизменно тонет моя фантазия? Посвященным это известно, однако ж я ничего от них не узнал. А что есть время, утекающее прочь, пока я размышляю об упоительном блеске ее раскинутых ног и о тысяче глаз ее лица?

* * *

Чай, бутерброды, реплики:

«Я часто мечтаю о твоей груди, Фанни». — «Может, мне завести любовника, чтобы ты перестал возбуждаться? Крепкого, надежного мужчину, который будет приходить ко мне ночью и уходить под вечер, так что тебе на всякий случай придется стучать». — «Ты так изменилась, Фанни». — «Сиднер, а с чем ты можешь сравнивать? Я стала умнее, да-да, умнее и гораздо расчетливее. Люблю покой, не терзаюсь желаниями…» — «Научила бы меня, как стать хорошим любовником». — «Ошибки не только наносят вред, но и многому нас учат».

«Ты, Сиднер, „ожидатель“. Тебе самому трудно проявлять инициативу. И я хочу высвободить твою энергию и активность. С магазином ты справляешься успешно, но в некотором смысле он тебя убивает. Ты способен на большее, чем клейстером торговать». — «Что считать „большим“, Фанни, а что — меньшим?» — «Большее требует от человека полной самоотдачи, заставляет его прилагать максимум усилий, выкладываться до последнего. А разве коммерция тебя занимает? Да ничуть она тебе не нравится.

Ты замечаешь, что успех в делах достигается без малейшего напряжения тех сторон твоей личности, которые для тебя по-настоящему важны, которые образуют твой центр тяжести, — они полностью бездействуют. Там царит вечный застой. Только пыль копится, Сиднер. Ил, как на дне реки». — «Так чего же ты от меня хочешь?» — «Слушай, о чем я говорю!» — «Чего ты от меня хочешь?» — «Речь не о том, чего хочу я». — «С этим я разберусь, Фанни». — «Разберешься! Не надо тебе ни с чем разбираться. Надо что-нибудь сделать с самим собой. Разбираться! Такие, как ты, достойны большего!»

Позже: летняя ночь. Совершил полезную и бессмысленную прогулку к Сундсбергу, еще одну — по молчаливым улицам и третью — по какому-то несуразному роману. На часах — минута до одиночества, а ночи нет как нет. Фанни сидит у себя на балконе. Огонек ее трепещет в темноте, и этот огонек — ты. Ночь смыкается вокруг ее белого платья, она, вероятно, слушает сверчков. Сидит тихо-тихо. Что она шепчет сейчас, наклонясь к тебе? Чему тебя учит? Какие слова проникают в твои ушки? А я, чудак, спать не могу, потому что никогда еще среди ночи не бывал от ночи так далек, как сейчас. Никогда не выпивал столько

кофе и столько не грезил! Сынок, никто теперь ко мне не прикасается, никому не нужно мое тело, никто не ведает, что здесь ждут поцелуи.

Ты сгладил ее особенности. Она стала умнее, как умнеет тот, кто смотрит в чистые глаза, ласкает безопасную плоть. Может быть, она считает тебя плодом непорочного зачатия, а меня — всего лишь ветерком, скользнувшим мимо подобно золотому дождю или лебедю, может быть, считает тебя спасителем мира, и, пожалуй, права, если имеет в виду, что ты спас ее от Фантазий, от Одержимости и галлюцинаций. Она благоразумна и скучна, говорит лисица Сиднер, глядя на гроздья ее винограда.

11 июня 1939 г.

Я торгую москательными товарами, это не слишком мне докучает, мечта о ласках — вот что мне докучает. Если хочешь жить, сынок, живи подле женщин. Это не благо и не скверна, просто жизнь. В миллиметре, в секунде от их лона обитают все сказки, какие способна поведать жизнь.

Но за всем тем, что есть женщина, никогда не забывай: они имеют имя. Трепещи от страха — и непременно подступай к имени.

14 июня 1939 г.

Две вещи суть блага природы — Ласки и Музыка. Поскольку же все стремится к Единому, то когда-нибудь они сольются в Новом Творении.

Но в силу моей конституции я поневоле испытываю много такого, в чем музыки нет. Это — изгнание, пытка, просчет, и я вынашиваю план разместить всюду на природе пианино, фисгармонии и рояли, чтобы музыка непременно была доступна, когда меня пугают людские речи. Только вот денег у меня нет.

Лишь внутри музыки есть защищенность, ведь Второе Благо мне, судя по всему, заказано.

17 июня 1939 г.

Как далеко можно зайти в музыку? Можно ли остаться в ней и ускользнуть от времени? Сегодня два часа играл в церкви на органе, вместе с кантором Янке. Кантор спросил, нет ли у меня желания возобновить репетиции Рождественской оратории, хотя, конечно, «все теперь будет не так, как при Сульвейг». Еще он сказал: «У тебя талант. Хорошо бы тебе поехать в Стокгольм и всерьез заняться музыкой». Но я должен быть здесь, пока не вернется папа. Должен быть здесь, потому чтр у меня есть ты, Виктор. И все же музыка значит так много: только в ней я существую, и тогда во мне существуют все, кого со мною нет. Когда

погружен в музыку, время кажется смешным пустяком, обманом, который служит невесть кому и чему. Скользишь по нисходящей каденции, по всем ее ступеням, временам, настроениям… а затем поневоле уходишь…

20 июня 1939 г.

Хозяин Бьёрк умер. Говорят, последнее время он, лежа на койке в своей прачечной, куда перебрался после банкротства, только и делал, что листал старый букварь, единственную свою книжку. Каждый вечер — так мне рассказывала Царица Соусов — открывал букварь и подолгу смотрел на какую-нибудь букву, пока напрочь не забывал, что она означает. А когда забыл таким манером весь алфавит, погасил свет и умер, пустой и чистый, каким и родился.

По словам той же Царицы Соусов, во дни гостиничного лицемерия он, едва узнав о смерти Яльмара Брантинга, сказал: «Не каждый день такие люди умирают», — .хотя все, за что Брантинг ратовал, ему претило. И добавил: «Надо бы в его память праздник устроить». Дядя Турин, который аккурат тогда начал захаживать в гостиницу, чтоб побаловать себя грогом, заметил: «Он ведь только-только помер. С поминальным праздником лучше бы погодить, пускай маленько забудут

человека».

Канун Иванова дня 1939 г.

Бог не «существует». Но я в Него верую.

Если бы Он «существовал», то был бы пленником слов, а стало быть, нашим рабом.

Мы, «существуя», были бы пленниками наших слов. Что соответствует действительности.

Как только я обращаю мой гномий взор к Богу и пытаюсь всмотреться в Него, Он исчезает, чтобы проявиться всюду, где Его нет. Его отсутствие — предпосылка Его бытия. С этим можно жить дальше, и я живу.

И мне претят люди, не верующие в Бога. Во мне достаточно пустоты, чтобы розы увядали. Достаточно криков, чтобы ночи разрывались. Достаточно тоски, чтобы обречь себя гибели на войне.

Ведь без Бога очень много слов непременно умрет — те, что лишатся опоры. Ну все, поболтал о Боге, и хватит. А коли болтовня продолжится, стало быть, такова Его воля. Тем временем я играю этюды для тебя и для Фанни.

Иванов день 1939 г.

Из Вселенной никаких новостей!

Те же разъединительные движения. Все удаля-

ется от всего. Меж нами закрадывается тьма. Ни от папы, ни от Сплендида вестей нет, а от Фанни — изредка слабая улыбка, сочувственное прикосновение ладони к плечу, когда мне хочется взять тебя на руки. Лучше бы ей не касаться моего плеча. Не дает она мне забыть огонек. Безжалостно и хитро поддерживает его. Сегодня ты впервые улыбнулся, эта улыбка дарит тепло, хоть я и знаю, что она могла достаться любому, кто был поблизости, меня же на самом деле поблизости не было. Некоторое время я наблюдал, как она кормила тебя, а потом ринулся в музыку и отключил все свои чувства от внешнего мира.

1 июля 1939 г.

Воскресное утро. Небо ясное, легкий ветерок веет над полями. Ходил на прогулку, до самого Виттебю, где средь вишневого сада живут толстовцы. Старец сидел в беседке, белая борода блестела на солнце. Женщины слушали, как он читает вслух какую-то книгу. Там царил кипучий Мир, ведь они находятся с внутренней стороны веры: зримые! А я незримый прошел мимо, и все внутри кричало, что мне хочется быть среди них. У берега кто-то обронил в мох зеркальце. Я замер над ним и далеко внизу видел, как мои слезы падают вверх, ко мне.

5 июля 1939 г.

Из Новой Зеландии пришло на папино имя тяжелое письмо, которое я вскрыл, потому что вестей от папы не было; прочитав это письмо с помощью словаря, я молил Бога, чтобы с папой не случилось ничего плохого, и переписываю письмо в свою тетрадь, так как ты должен знать все связанное с твоим рождением.

Дорогой м-р Арон!

Эти строки пишет Вам, м-р Арон, старая женщина, но не ради своей выгоды, а только чтобы спросить без обиняков: куда Вы подевались, м-р Арон? Живы ли Вы или умерли? Здесь с нашей милой Тессой Шнайдеман приключилось ужасное, и я боюсь — не за ее рассудок, ибо рассудка она лишилась, но за ее жизнь, хоть и готова смиренно принять все беды в том порядке, какой установил Господь.

Не знаю, рассказывала ли Тесса обо мне, но я посвящена в Ваши обстоятельства, ведь она женщина очень одинокая, так уж повелось в наших краях. Я работаю в здешней почтовой конторе, и Ваши письма сперва попадали ко мне, а потом

я передавала их Тессе, и она их читала в моей маленькой квартире за конторой, ей казалось, так будет лучше, из-за бешеного нрава ее брата. Поэтому я все знаю, у меня она плакала и мечтала, сообща мы строили планы насчет Вашего приезда. Мы обе так радовались, шили наряды, придумывали, чем будем Вас угощать, так радовались, что в конце концов рассказали обо всем ее брату, и он страшно обозлился. Возможно, природной злобы в нем и нет, просто каждый человек состоит из долгих историй, и иные истории соединяются в злобу. Ярость свою он обратил на меня, решил, что я пособница дьявола на земле, хоть я, видит Бог, никогда ни о чем дурном не помышляла.

В назначенный день Тесса ждала у меня на квартире, а я пошла к автобусу, потому что она очень разволновалась, — и, пожалуй, стоит сразу сказать, волнение это было особого свойства, она вправду не могла идти, ноги не слушались, а лицо пылало в горячке, так что обыкновенный прохожий при встрече принял бы ее не иначе как за ведьму. Три автобуса один

за другим пришли из Веллингтона, но я ждала впустую, потом на свой страх и риск позвонила в пароходство и узнала, что нужный рейс прибыл без опоздания. С тяжелым сердцем я отправилась домой, это был самый мучительный путь в моей жизни, м-р Арон, так как возвращалась я без Вас. И сейчас, когда я пишу эти строки, Вас по-прежнему здесь нет.

Целую неделю, м-р Арон, я изо дня в день умудрялась поддерживать какую-никакую надежду, но на восьмой день произошло то, чего я давно страшилась. Смех, м-р Арон, смех увлек Тессу прочь из этого мира!

С письмом у меня получилась большая задержка, дело в том, что я больше не работаю в почтовой конторе, переехала в Веллингтон, брат Тессы так допек меня своими нападками, что я целый месяц пряталась от людей, да и здесь плакала, не над собой, эти слезы давно высохли, а над Тессой, ведь Вы, м-р Арон, вдохнули в нее надежду, и она ожидала от жизни столь многого. Брат пытался посадить ее под замок, но с помощью друзей мне уда-

лось вывезти бедняжку на другую ферму. Дважды я навещала ее там, на большее недостало сил. Она не узнаёт ни меня, ни других людей. Все время улыбается, распевает песни, которые страшно слушать, собирает букеты — свадебные, как она говорит, — букеты из сорных трав и колючего чертополоха, ранящего ей руки, а телом и душой она совсем опустилась, не моется, волос и ногтей не стрижет. По словам моих друзей, она каждый вечер сидела у радиоприемника, слушала короткие волны, якобы принимая сообщения от Вас, м-р Арон, и все вести были добрые. Она уверена, что Вы в дороге. Но так ли это? Я пишу в Швецию, поскольку таков единственный адрес, какой я видела на обороте Ваших конвертов. Телеграфируйте на нижеследующий адрес, достаточно одного слова, чтобы я знала, есть ли еще надежда для Тессы Шнайдеман!

В отчаянии,

Ваша Джудит Уинтер

22 июля 1939 г.

Глаз не сомкнул с тех пор, как пришло это новозеландское письмо. Разыскал и другие письма, от Тессы, которые прочитал с огромным волнением. Мне стало очень грустно оттого, что папа причинил ей столько боли. Затем я подумал, вдруг и он тоже умер, а еще подумал о том, что мамина смерть нанесла папе страшный удар, иной раз он словно терял рассудок, затем я подумал про свои руки, подтолкнувшие ее велосипед навстречу гибели. Вдобавок меня охватил ужас перед Иоганном Себастьяном Бахом, написавшим музыку, из-за которой она умерла, и когда я в конце концов погрузился в сны, это оказалась жуткая толчея людей: они теснились в гостиничном коридоре, а хозяин Бьёрк не пускал их в ресторан, потому что там-де не «накрыто». В толпе были светлая мама, и темная Тесса, и Фанни (их лиц я не видел), и мне хотелось поговорить с каждой наедине, но ничего не вышло, так как Фанни строго посмотрела на меня и громко сообщила, что я отлучен от ее тела, после чего все повернулись ко мне спиной, и в результате один ты, Виктор, продолжал глядеть на меня.

И я подумал: все, что видится вокруг, ты должен вобрать в себя и выстрадать, ведь ты — частица нынешнего дня, когда я пишу вот эти строки,

хотя самому тебе ничего об этом не известно. На первой странице тетради я рассчитывал записать здесь мои ласки, чтобы ты обрел веру в жизнь и любовь, но ласк получилось очень мало, хотя они Самое Важное и куда ценнее иных вещей, вроде Денег и Большого Дома, а происходящее и зримое — лишь оборотная сторона ласк, холодная тень. Пошел к Царице Соусов, помог ей и г-же Юнссон намазывать бутерброды, так как в гостинице предстоял поминальный обед — это знамение?

---

20 авг. 1939 г.

Папы нет в живых!

Я словно оцепенел, ни о чем не думал, но во сне мучился кошмарами. Ева-Лиса плакала меньше меня, многие люди, узнав обо всем от Царицы Соусов, приходили сюда утешить нас.

Мы получили официальное письмо, к которому была приложена бумага от австралийского пароходства, извещавшая, что вещи его отправлены на родину, но тела нет, потому что он, по свидетельству очевидцев, прыгнул в море. Рука у меня как чужая, писать я не в силах.

Позднее: утешительно, что рядом есть жен-

щины, но Фанни с тобой не приходит, и от этого мне больно. И все-таки приятно плакать возле Царицы Соусов и Берил Пингель.

Послал телеграмму миссис Уинтер в Новую Зеландию. Прежде перечитал письма Тессы и так проникся ею, что чувствовал ее совсем близко, а когда стал писать телеграмму, получилось вот что:

Father is dead. Letter follows. Aron[72].

20 сент. 1939 г.

Вот и остались мы с Евой-Лисой одни на свете. Много дней мы держались за руки, она такая сильная и красивая, работает в пекарне, где многие клиенты могут ее видеть. Еще мне позволили взять тебя на руки. Фанни разрешила потрогать волосы и лицо, но была как бы далеко-далеко и смотрела на меня с удивлением.

До чего же трепетны и чахлы наши огоньки. Как легко мрак захлестывает нас и гасит наши жизни. Чудо, что мы вообще существуем. Чудо, что противопоставить ночи и вечности мы можем одно-единственное — Ласки, самое мимолетное из всего.

---

[72] Примечания: 72
Отец умер. Ждите письма. Арон *(англ.).*

Неужели папа не видел меня и Еву-Лису? Нет!!!! Он ушел к маме, оставил нас. Вот что он сделал, прости меня, Господи!

27 сент. 1939 г.

В дверь постучали — Ангела Мортенс; войти она не пожелала, но вручила мне букет вереска, и я вздрогнул, ведь она состоит на службе у Смерти. Она долго молчала, скользя взглядом по нижней части квартиры. Еще она дала мне книгу Сведенборга о супружеской любви и ее противоположности[73], а когда я спросил, зачем мне это, ведь я в скорби, она со странной улыбкой ответила, что книгу надо читать для утешения. Потом надолго повисло молчание, и наконец она сказала то, что я уже знал: дескать, вереск — это память о ее покойном женихе, он носил фамилию Юнг[74], и, будь на то воля Господня, она бы тоже звалась Юнг, а не Мортенс, и она даже сочинила небольшое стихотворение, которое я тоже знал, однако ж она все равно прочла его, стоя на пороге и крепко сцепив ладони:

---

[73] Примечания: 73

Видимо, имеется в виду сочинение шведского мистика Эмануэля Сведенборга (1688–1772) «Deliciae Sapientia de amore conjugali et voluptates insaniae de amore Scortatorio» (1768).

[74] Примечания: 74

Вереск *(швед.).*

Ах, если б смерть тебя не унесла
и на страдания меня не обрекла,
любезный мой Курт Юнг,
сердечный ты мой друг,
была бы я теперь твоей женою.

Но в небесах нас встреча ждет,
где щеки влагой оплеснет
слеза любви златая, —
души не чаяла в тебе я
и в дождь, и в дни, что лучезарны,
хоть путь мой одинокий, безотрадный.
Скажи, ты слышишь ли мой голос в вышине,
где жизнь ведешь, ликуя в чистоте?
Уж скоро ангелом и я вспорхну к тебе,
цветком сияющим на хрупком стебельке,
и об руку с тобой пойду, в восторге уповая
на поцелуй любимого, о коем я мечтаю
и коего свершенья ждешь и ты,
любезный мой Курт Юнг,

сердечный ты мой друг.

Губы у нее дрожали, и она наконец-то посмотрела мне в глаза, благоговейный миг истек, и я разделил скорбь, которая вот уж пять десятков лет бременит ее плечи. Когда она ушла, ее образ вытеснил образы моей памяти, а вересковый букет стоит теперь здесь, как стоял во многих жилищах скорби. Она не позволила себе забыть, потому что страшится жизни. Я молил Бога не допустить, чтобы я, как она, стал Пленником Смерти.

Почитал книгу и, задремав, увидел сон, да такой яркий, что проснулся с криком: мама и папа были ангелами, но не пустили меня к себе на небо, потому что они там бестревожно любят друг друга, мне же должно находиться в грязи. Наверно, это из-за книги Ангелы Мортенс.

28 сент. 1939 г.

Молния гнева поразила меня, оттого что папа ушел из жизни и бросил нас, я пытался избавиться от гнева молитвой, но отсвет молнии как бы еще горит внутри.

Брильянтовый кораблик, уцелевший под подкладкой папиного пиджака, Тесса не получила — как же ей любить-то? Надо вернуть ей драго-

ценность, но мне боязно посылать ее почтой в такую даль, вдобавок без нее я не смогу видеть их с папой несостоявшуюся встречу, то бишь встречу надежд. Каждую ночь вешаю кораблик над кроватью и тогда отчетливо, будто наяву, вижу, как папа надевает его Тессе на шею, в темной комнате, а когда они любят друг друга, он светится, и гнев, наверно, шел оттого, что там был не я, к тому же сюда примешивалась мстительная мыслишка, что теперь она будет моей, ведь она ненамного меня старше, не то что Фанни, и, значит, не боится старости. Эти мысли я тоже отмолить не сумел, вот и громоздится вокруг меня куча нечистот.

29 сентября.

В великой Скорби необходимо читать Сведенборга, ибо через него обретаешь веру, что эта жизнь всего лишь видимость и имеет свой аналог в духовном мире. При мысли о женщинах, которых я обижаю, не по злобе, а от отчаяния, утешительно сознавать, что в духовном такие грехи будут исправлены. Весьма утешительно и доведаться о том, что вожделение соблазнять невинных не есть ни вожделение обидеть девицу, ни вожделение совершить насилие, оно существует отдельно, само по себе. И, как пишет

С., свойственно в особенности людям коварным, вероломным. «Чистыми и невинными им представляются женщины, кои полагают порок блуда тягчайшим грехом и влекомы к целомудрию, а равно и к благочестию. В католических краях таковы монахини; пребывая в уверенности, что оные благочестивые монахини невиннее всех прочих, означенные вероломы усматривают в них деликатесы и лакомства для своего вожделения».

Тут следует добавить, что монахини и другие благочестивые женщины крайне редко заказывают номера в гостиницах и многие встречи происходили только в воображении. Грешен ли я перед воображаемыми женщинами, у которых нет ни имен, ни отчетливых лиц? Они ведь просто тела, и мне кажется, я вовсе их не оскверняю, а истово и нежно ласкаю — и в телесном мире, и в духовном. И пусть порой они принимают черты реальных женщин, мельком виденных мною в коридоре и в ресторане (даже таких, у кого есть мужья и дети), этим женщинам ничего не ведомо об огне, какой зажигают во мне их изменчивые черты. Ночью они являются ко мне, и я воспринимаю их не как низменные услады, а как Свет, облекающий меня, когда наши влажные соки

сливаются воедино, — но вправе ли я наутро играть на органе в доме Господнем?

И я часто думаю: чтобы подняться ввысь, надо несколько времени пробыть в телесном мире, иначе возвышение невозможно. А что до грудей этих (реальных) женщин — грудей, которые я нередко имею случай созерцать по выходным дням, когда подаю в ресторане напитки и бутерброды, то они внушают мне лишь блаженство и покой, а вовсе не разрушительные помыслы, такой великий покой, что зачастую я словно цепенею и Царице Соусов приходится выводить меня из забытья. Но, слыша, что говорят вокруг, я понимаю, что поступаю неправильно, и искренне стараюсь избавиться от этой привычки, а сделать это трудно, так как самой сути я не понимаю.

За чтением С., столь утешительным с точки зрения моей скорби, мне еще и мнится, будто все его описания греховных услад распутной любви только пробуждают у меня тягу к ним, ведь он очень подробно живописует всяческие запахи и «искусы», не просто дарящие наслаждение, но принадлежащие этому миру, а поскольку сам я к нему не принадлежу, все словно бы становится расплывчатым и неосязаемым, без запахов и вкуса, и в этом отношении я ощущаю себя человеком

помысла, созерцателем слов и идей, которые, не замутненные ничем плотским, могут струиться куда угодно, и внезапное их не опрокидывает. У тех, кого называют философами, много мыслей, которые мне по душе, как Музыка, но они начисто лишены запаха и осязаемости, а оттого ничуть мне не помогают, и в этом отношении я как бы накрыт стеклянным колпаком.

* * *

Поскольку же под этим стеклянным колпаком царит полный покой и нет ни намека на нетерпение — дети там не снуют, не швыряют крышки кастрюль, не портят воздух, а все есть лишь созерцание происходящего в голове, — то можно придумывать длинные фразы о жизни, о свободе воли и о многом другом, созидая Собственный Мир, не подлинный, не реальный, однако включающий тех, кто живет за пределами стеклянного колпака, в сферу плотского и обрекающий их тяжким мукам, ибо творение представляется им чем-то Высоким и Чистым, а для живущих в смрадном воздухе средь вечного грохота крышек это равнозначно покою и сну.

* * *

И если б ты, Виктор, спросил меня сейчас, что такое Любовь, я бы ответил: не знаю; мне она знакома лишь по рассказам, но я уверен, она существует, а это уже хорошо, ведь незнание для человека не менее важно, чем вода. Любовь существует и внятна самым что ни на есть деликатным плотским членам, то бишь, органам пола, органам чувственности, под коим я разумею весь кожный покров, объемлющий наши тела, толстый и плотный в одних местах, тонкий и уязвимый в других, каковые суть инструменты Любви и величайшая наша сила, башня, вокруг которой птицами кружат помыслы нашей головы, нашей плоти, ибо мы состоим из плоти и в зависимости от ее природы воспринимаем жизнь радостно или мрачно, а раскрывается это в наших глазах и в нашей речи. Из увиденного мы создаем веру, из веры же создаем идеологии, и в таком смысле идеологии наши сообразуются с тем, как наш пол, наша чувственность подходит к миру; стало быть, чувственность, изначально усвоившая и изведавшая ласку, то бишь тепло и радость, никогда не подпадет под власть реакционных правых идей, свойственных таким,

как хозяин Бьёрк; когда же по причине далекого расстояния и нехватки встреч чувственное воображение замыкается в себе, становится захватническим и агрессивным, либеральные, левые идеи возникнуть никак не могут, ведь любовь — это встречи, свидания, а с тем, кто замкнут и обособлен, встреч не бывает. Вот почему я хожу по гостиничным коридорам, по ресторану, меня влечет туда чувственность, а то, что называют моей любезностью, услужливостью и приверженностью кухне, есть надобность в женщинах, которых там и правда много, — будто озерца яркого солнечного света разлиты в комнатах и возле столиков, а руки, сколько там рук, словно невзначай прикасающихся к моему телу, сколько грудей, дышащих спокойно и ровно, дарящих тепло; шаги и смешки слышны за дверьми, которые порой не заперты, а словно по забывчивости приотворены, так что воздух полнится огромным напряжением и ты, как паук, снуешь по тугим нитям своих сетей меж утренних кустов, обсыпанных сверкающими росинками.

Однако не стоит думать, будто я уподобляю себя этому пауку и готов кидаться на женщин, нет, я имею в виду только напряженность. Но чтобы уразуметь всю правду, нужно добавить,

что сюда приезжает и множество дельцов, а тогда в коридорах становится темно и неуютно, и смех полон грязи, и оттого сети рвутся и провисают, ведь красивая, элегантная наружность этих дельцов отслаивается, облетает хлопьями, как газетная бумага, в которую заворачивают сигов, когда жарят их на углях, и никакой морали в деловом мире нет, а те, кто занимается коммерцией, нечисты, потому что подменили свои сердца и чувственность товарами; и они заманивают к себе многих бедных женщин, а ведут-то себя как — в комнатах прямо вонь стоит, ведь они пьют спиртное, поскольку не хотят смотреть женщинам в глаза, у самих-то взгляд полон коварства. Это мне известно доподлинно, потому что многие женщины, попавши в беду, приходят опять и спрашивают про фальшивые имена и потому что хорошо помню, как противно убирать в таких номерах, ведь бесчестье следует за дельцом словно ползучий гад, выныривает из его глаз утром, когда он сдает ключ, косится в сторону, а голос гулко отдается в волчьем логове рта, лягушками скачет по стойке, которую столяр Тильман недавно соорудил нам за сотню крон.

* * *

Впрочем, и светлые женщины тут не редкость, а тогда я не говорю, что я коммерсант, поскольку лишь управляю магазином и не питаю к этому ни малейшего интереса или, сказать по чести, не хочу ни словом затронуть свою будничную деятельность, рассказываю вместо этого о стремлении к более многогранной жизни, как бы невзначай, к примеру стоя на придвинутом к окну ночном столике и починяя ролль-гардину, которая с треском опустилась сама собой (иной раз я и такими делами занимаюсь), — хотя у нее двое мальцов цепляются за юбку и один из них орет благим матом.

* * *

Царица Соусов и та внушает мне Любовь, и эта любовь чиста, ибо Царица Соусов большая, толстая и ходит сильно наклонясь вперед — зад у нее непомерно велик, да и бюст тоже; смешивая свои соусы, то коричневый, то бешамель к рыбе, она заодно прижимает меня к себе, так что дышать почти нечем, прижимает к себе, будто родное дитя, да она так и говорит: «Сиднер, маленький мой,

как же ты вырос», а я стараюсь уткнуться головой в великое тепло, и все молчит, и мгновение длится долго, и все затихает, и я думаю, что, не будь белого халата, и сорочки, и прочей ее одежды, я мог бы схорониться меж ее грудей, ведь, насколько я понимаю, мужа у нее нет, одни только соусы, да звонкая ложка, да мутовка — ими она с утра до вечера снимает пробу, смакует, думая лишь о том, не добавить ли соли или сахару, и я много раз представлял себе, как она что-нибудь забудет вечером на кухне, а я найду и отправлюсь к ней домой, и она скажет, что постель у нее холодная, но очков она не носит, забывают же обычно именно очки.

Позднее, тем же вечером.

И о Лелль-Мерте были у меня чувственные мысли, когда она по утрам заходила на кухню с дарами леса: грибами, брусникой, лесной малиной, березовыми вениками и букетами диких цветов для ресторана. Я прямо воочию видел, как она, совсем одна, ходит по Мшистым Землям, н-да, в воображении я много занимался ею, ведь расселины и луга здешних мест дышат сладострастием, благоуханны и торжественны что утром, что вечером, но больше, пожалуй, утром, когда нет комаров, которых я ужасно боюсь, — даже

если в комнате один-единственный комар, не засну, пока не прихлопну его. Улыбка Лелль-Мерты блуждает вокруг, а я, намазывая бутерброды к похоронам или к свадьбе, вижу — и говорю это тебе, сынок, чтобы предстать перед тобою без прикрас, — вижу, как она босиком и без трусиков идет по брусничнику, чаще там, чем по грибному лесу, ведь грибы растут под густыми деревьями, не пропускающими свет, кроме шампиньонов, которых полным-полно в чистом поле, но чистое поле выставлено на всеобщее обозрение, так вот, она без трусиков идет в моем воображении, а я спрашиваю: «На той неделе у нас будет большой банкет, потребуется много лесных даров, так, может, я помогу тебе все собрать и отнести домой, Лелль-Мерта?» — и она проведет ладонью по лбу, и поднимет голову, по обыкновению склонив ее набок, и засмеется Непринужденным Смехом. «А что, неплохая мысль». И добавит, чтобы на кухне не подумали дурного: «Руки у меня ужас как устают, вот в чем дело».

Утром я приезжаю на велосипеде, мы долго молча собираем грибы и ягоды, причем, когда она нагибается за ягодой, я все время держусь на полшага позади и вижу, что ноги у нее голые и трусиков нету, но молчание мое столь велико,

что она оборачивается и говорит: «Какой ты молчаливый, Сиднер», — а я не в силах ответить, горло пересохло, вся кожа на теле так натянута, что вздохнуть боязно, и она кладет свою руку поверх моей, а рубашку-то я снял (из-за жары), и ее ладонь как бы невзначай скользит вверх, к плечу, потом по груди, мы крепко обнимаемся и падаем в мягкий мох, и она — самой-то трусы снимать не надо, их нет, — стаскивает с меня брюки, чтоб «мы были одинаковые», берет мой член, а после мы становимся единой Плотью на Священной Земле, день такой погожий, безоблачный, ни комаров, ни ос, ни острых камней и иной чертовщины, и ей это ничего не стоит, ведь соитие наше из тех, где Грех мал, но велика Необходимость.

* * *

Но поскольку касательно таких вещей мой рот запечатан Сухостью, подобно выставленному на солнце бельевому корыту, которое сплошь покрывается трещинами, надумал я все же облегчить свое бедственное положение с помощью Очков, ведь, как я уже говорил, именно очки люди вечно забывают, а стало быть, можно завесть себе такие, не слишком сильные, зрение-то у

меня без изъяна, очень даже острое, поистине излишний дар Создателя, потому что смотреть тут не на что, — завесть очки и оставлять их в Определенных Местах, к примеру на ночных столиках у Светлых Женщин, или как бы ненароком «забывать» на подзеркальниках, когда я, по их просьбе, меняю лампочки (это случается регулярно), а в очечнике — мое имя, и точный адрес квартиры над гостиницей, и записочка, будто подсунутая туда некой женщиной, которая благодарит за Любовь и как бы с удивлением описывает квартиру, «где ты одинок в большой кровати» или вроде того, а заодно точно указывает местонахождение черной лестницы и широкие возможности незаметно «прошмыгнуть» в свой номер. Только ничего из этого не выйдет, ведь штатная наша уборщица Грета Юнссон — баптистка, глаза у нее злые, смотрят всегда с досадой, что говорит о разочарованности во всем связанном с ее полом.

30 сент.

Про Лелль-Мерту Царица Соусов сказала, что она слабовата умом, но не телом. Из-за этого не мог спать.

Играли пышную свадьбу с юными подружками и множеством других девушек в самой началь-

ной поре женственности. Нежные ароматы. Ночью слышал у себя в квартире чей-то шепот: приходи. Но никого не было, ни в гардеробной, ни за дверью.

Снова лег спать. Увидел Лелль-Мерту в белом наряде. И деревья — высокие, молчаливые.

Снял с Лелль-Мерты парадную блузку, и она не противилась, ведь это было во сне, а я только там и веду себя естественно. Казалось, у нее целых четыре глаза, а из моих бережных пальцев при каждом к ним прикосновении струились слезы.

2 окт. 1939 г.

Все время плачу теперь, тронув что-нибудь Нежное, Мягкое, да и при взгляде на двери, ворота, электрические выключатели, ведь они словно бы чересчур Отчетливы. И когда слышу слова Царицы Соусов и других женщин на кухне, потому что слова эти стоят в пространстве сами по себе и чего-то от меня хотят, а я не могу им ответить и должен спрятаться туда, где никаких слов нет, но они так и толкутся повсюду, в том числе произнесенные давным-давно, мешаются под ногами, вот мне и приходится лавировать, выбирать определенные маршруты, которые в магазине еще кое-как удается замаскировать, а в гостинице вряд ли, ведь они, в особенности Ца-

рица Соусов, Великое Прибежище, спрашивали меня, как я себя чувствую, а глаза у нее большущие и тоже причиняют боль, и я опасаюсь за свой рассудок, ведь каждая комната словно бы вот-вот переполнится словами, а слезы останутся будто капли дождя на полу. Поговорить об этом не с кем, Фанни здесь тоже не годится, она вся в ребенке, В ТЕБЕ, и, когда мне иной раз дозволяется потрогать тебя, все электризуется, все на грани взрыва, и вся природа полнится гулом, как нынче, осенью, когда осыпалась белая роза, — так больно было на это смотреть. Я попробовал молиться, но мои слова катились прочь, грубые, неотесанные. Хорошо иметь сестру, которая тебя навещает, и все видят, что она красавица, однако мне ужасно стыдно за мои мысли, и я не могу сказать ей о них, ведь она, думается, живет в повседневности и не презирает зримое. Я лежал в постели, когда она пришла. «Мы очень тревожимся, Сиднер, — сказала она, потом добавила: — Нельзя столько работать без отдыха». Ее слова добрались до меня из дальней дали, и все равно я заплакал.

Видел Лелль-Мерту в белом наряде. При этом она расстегнула блузку и показала трещинки на коже, из них сочилась золотистая живица, которую я попробовал на вкус. Трещинки были

повсюду: на плечах, на ногах, на шее, — и я этим воспользовался, потому что голова у нее была совершенно неподвижна. Проснулся и, поскольку все это мне приснилось, заплакал, ведь этот вкус совершенно не поддавался описанию.

В тот день, когда мы ждали Лелль-Мерту, я решил для себя, что если она придет в Белой Блузке, то я спрошу, нельзя ли пойти с нею в лес, но она пришла в Красной Кофте, потому что погода была пасмурная.

На прогулке по Сундсбергу мне вдруг пришло в голову, что Вселенная того же размера, как гардеробная, но только там находится *всё,* причем в тесноте, нагроможденное штабелями, поэтому приходится стоять неподвижно, чтобы ничего не упало и не возник Хаос. Так случилось посреди дороги. Автомобиль поневоле затормозил и остановился, оттого что я не смел шагнуть Наружу, в Пустоту. Выслушал порцию крепкой брани, и голос этот как бы пробил отверстие, а Снаружи были все те же Вещи, но нереальные.

Подумал, что это Важно.

Что я увидел, как Все обстоит.

Но говорить не могу, потому что все слова — ИХ и ЗАМАРАНЫ.

Видел жуткие сны о Свадьбах, находился там в одной комнате вместе с подружками невесты, чьи Тела и Глаза были Невинны, однако ж рты у всех — как Женское Лоно, и все они кружились вокруг меня, с огромной Серьезностью, ведь Лона улыбаться не умеют, а я призывал Лелль-Мерту, чье лоно в моем воображении было в Надлежащем Месте, прямо против Моего Члена, и в конце концов она вышла из-за деревьев, с совершенно обыкновенным ртом, Обнаженная, и прогнала Невинных, и упала со мною вместе, и все стало как полагается, и я проснулся в сырости.

Видел во сне слова, вот таким манером[75]:

Пройти бы *Пройти бы*
как Авраам *как Исаак*
сын *отец*
будто чистый мрак *будто чи-*

---

[75] Примечания: 75

Пройти бы
как Авраам
сын
будто чистый мрак

Пройти бы
как Исаак
отец
будто чистый свет

рука об руку

стый свет
рука об руку

Я ведь знаю теперь Произвол Мрака, это — Наша Жизнь.

Шёл по Главной улице и нежданно-негаданно превратился в Указательный Палец, маленький, не больше дюйма. Поначалу очень обрадовался, избавясь от множества докучливых членов, торчащих в разные стороны, ведь теперь я непременно буду лишь Указующим, и направился на площадь, где меня будет отчетливо видно. Но туда сбежалось множество народу, все сновали вокруг, разглядывали меня, и были они в шубах, в теплых пальто, в шерстяных варежках, поэтому я внезапно ощутил свою наготу. Воздух такой холодный, и глаза у всех тоже холодные. Поднялся неимоверный переполох, все указывали на меня, а *не туда, куда указывал я.* Несколько раз пытался качнуть верхней частью, чтобы они приметили направление, но они только смеялись и вообще глаз с меня не сводили. Мне хотелось умереть, однако я знал, что это невозможно, ведь тогда *ничто более не сможет указывать.*

Еще мне пришло на ум, что я указывал *неправильно,* нужное направление — внутрь, где

теплится искра, но я же не могу указывать сразу и наружу, и внутрь.

Я видел, что внутри у меня все в порядке, только вот до Зримого оттуда так далеко, не выберешься. Ведь я покрыт слоем наготы.

Теперь уже не просто смех. Еще и слова, сплошь уродливые и замаранные, хуже всех — священник.

Темень, как стена. Она помогла мне отступить оттуда, хоть и небыстро. И сапоги и ботинки шагали шире, так что я находился в скрипучем, шаркающем лесу и чувствовал, что они, того гляди, втопчут меня в грязь, а тогда всякое Указывание в мире прекратится. Спустился в сад смотрителя моста, где вырос из своей наготы, как гриб вырастает из земли, и она спала с меня, будто скорлупа, и я вновь был внутри своего имени, своих членов, своей одежды — так хорошо.

Встретил депутата риксдага Перссона, и, когда он поздоровался, у меня само собою вырвалось:

— Я построю дом из музыки.

Он же, решив, что я говорю образно, выказал большой энтузиазм, пожал мне руку, а затем ушел.

В кухню ввалился мозг, мы как раз были там,

и от двери потянуло холодом, всех нас обдало холодом, прямо посреди болтовни и смеха.

Был он в очках, фырчал и буравил взглядом насквозь, я бросил в него бутерброд и тотчас устыдился, потому что и Царица Соусов, и г-жа Юнссон сказали, что ничего не видели, но ведь они стояли спиной.

Он исчез под мойкой, где я, поискавши, только и нашел что три прядки волос, которые и предъявил. Если держать их, опустив книзу, заметна сильная наэлектризованность, они даже слегка светились.

Царица Соусов сказала, что это «чепуха» и что мусорное ведро «еще послужит», а я «некоторым образом» узнал, что принадлежали они г-ну Хольму, прежде мне неизвестному, и что он таким же манером вернется, если я не перестану болтать.

Попросил Лелль-Мерту спеть Торжественную песнь, просьба произнеслась без моего ведома, я услышал ее как бы задним числом, когда на кухне воцарилось великое Молчание, еще я сказал, что петь можно без трусиков, ведь я так упорно думал, что наши Плотские жизни непременно должны соединиться, и мне чудилось, будто я заглядываю в нее прямо сквозь одежду и там, среди волос, темно и открыто, а Царица Соусов и

г-жа Юнссон как бы растаяли, и мы были одни на кухне, так что я шагнул прямиком к ней и ЯСНЫМ ГОЛОСОМ произнес САМЫЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ СКВЕРНЫЕ СЛОВА, произнес без своего ведома, потом меня подхватили под руки и силком усадили на стул, где я чувствовал себя как БОЛЬШОЙ ЧЛЕН, один-одинешенек на всем свете, и Стыда не было, лишь Великая Печаль, оттого что никто никогда не касается меня тем, что имеет, только варит мерзкие зелья, приговаривая, что мне надо успокоиться, но я чуял лишь запах Лелль-Мерты и мечтал пробраться к окну, чтоб выскочить вон, ведь тогда все это кончится, а рядом будут мама с папой, в чистой одежде, и я рухнул на пол, наверно вчера.

Мариеберг, 3 янв. 1940 г.

Сказали, я покушался на Лелль-Мерту. Не помню; помню только, что Царица Соусов обнимала меня и что мой крик выплеснулся из окон на улицу. Потом доктор, поездка на автомобиле, и теперь я среди Безумцев, сам Безумец без мамы и папы.

Спать — вот чего мне хочется.

Еще сказали, что масса бутербродов с печеноч-

ным паштетом и огурцом, тарталеток и лососины была загублена во время схватки с Демонами, заставлявшими меня лезть под юбки Лелль-Мерты, хотя дальше попытки дело не пошло, потому что она была в трусах, да и виноват был не я, а состояние моей души. Долгое время я помногу спал и получал электрошок, отсекший большое количество воспоминаний, но Санитар сказал, что теперь для меня близится утро, когда я, как он выразился, взбодрюсь, и он добавил еще какие-то слова.

Я их не помню.

5 февр. 1940 г.

Посетители, а я все сделал неправильно!

Это были Ева-Лиса и Сплендид. Принесли цветы, хризантемы, и Сплендид сказал: «Может, глупо с цветами-то, но я подумал, они тут маленько все осветят», — а Ева-Лиса сказала: «Вот мы их и купили», и, когда их слова соединились, я сообразил, что они вместе и у них Любовь, но говорить ничего не стал, слова чересчур тяжелые. Но я видел, она теперь в расцвете женственности, и взрослее меня, и такая красивая, что губы сами собою произнесли: «Хризантемы тоже цветы», они не поняли, ну и ладно, сойдет пока что, однако разговор принял неправильный оборот, ведь

Ева-Лиса спросила, что я имею в виду, а я ответил, вроде как сердито: «Ты сама цветешь», хотя имел в виду только хорошее.

Наговорил и других глупостей: «Цветы надо поставить в воду», — чтобы они не заметили моего безумия.

Глядя на их лица, вдруг захотел собирать граблями листья, или сгребать в саду снег, или уткнуться в подушку, гладкую и чистую, только бы не смотреть на эти черты, где слишком много волнующего. Так много нужно было сказать, поэтому я не мог сказать ничего, заплакал и спрятался в подушку. И тогда, чувствуя, как их руки гладят меня по спине, сближаются и отдергиваются, опять сближаются, соприкасаясь кончиками пальцев, замирают так на миг-другой, я порадовался, что руки влюбленных могут встретиться у меня на спине, и уснул.

Потом, когда я проснулся, ко мне пришла Лучшая Сиделка и сказала: «Какие красивые цветы тебе подарили, и сестренка у тебя красавица». Ответил, что у нее сильное излучение, ведь она влюблена, и мне жаль, что я не выдерживаю присутствия людей, даже тех, кого люблю больше всего на свете. А Лучшая Сиделка сказала: «С ними как раз особенно трудно. — И добавила:

— Ведь они очень о многом напоминают… А теперь давай-ка я расправлю твои простыни, чтобы стали прохладными». — «Прохладные простыни — замечательная штука», — сказал я, не стыдясь говорить такие простые слова.

15 февр. 1940 г.

Сегодня выходил в парк, бродил по тропинкам, обок с другими, деревья без листьев, воздух без тепла, и отсюда я заключаю, что прошло много времени. Оказывается, нас, идиотов, тут много, а «идиот» — слово греческое и означает «особенный», вот и я тоже «особенный», ни с кем не связанный. Быть Идиотом спокойно, ведь никто теперь не ждет, что я буду Помощником, буду Заботливым.

Частенько случается, что я вовсе не Идиот, напротив, в голове полная Ясность и Чистота. Боюсь, как бы кто этого не заметил и не отослал меня отсюда. Как тюлень высовывает голову из воды — я видел на картинках, — так мой рассудок поднимается на поверхность. Поскорей нырнуть назад, в глубину.

Ведь очутись я снаружи, все, что там есть, опять облепит меня, и случай будет тяжелый.

Армия спасения пела для нас в гостиной. Там была одна красивая девушка, но она ушла вме-

сте со всеми. Разбудила тоску по Музыке. А ее здесь нет.

7 марта 1940 г.

Дважды меня навестили Ева-Лиса и Сплендид. Один визит был неудачный, мне пришлось выйти в коридор, чтобы оттереть излучение их лиц, и говорил я для их ушей очень бессвязно, вроде как не поспевал за ними, ведь они не переставая толковали о Фанни, которая передавала привет, и о ребенке, и все перемешалось, будто каша, и Ева-Лиса уронила мне на ладонь несколько слезинок, таких тяжелых, что я утонул под их грузом, и говорил о кораблях, какие видел там, в глубине, и, как мне казалось, радостно запел: «ГРЕБИТЕ же в шхеры, где ловится рыба».

После их ухода меня проведала Лучшая Сиделка, а ушли они внезапно, даже не попрощались. Лучшая Сиделка рассказывала о Простых Вещах — о том, как катается на лыжах, в Синем Спортивном Костюме с множеством карманов, берет с собой термос кофе и бутерброды, так что «по всему лесу чудесно пахнет кофе». Долго размышлял об этом во сне и при пробуждении, будто о Живописном Полотне. Она по-своему гладкая, успокаивающая.

Вчерашний визит — такое счастье! Я стоял у окна, глядел в парк. Множество свиристелей, капель. Они шли рука об руку, я помахал им и увидел свою руку, все пальцы, солнце светило на них, и я заплакал, так как почувствовал и свое тело, и имя, и все переживания, увидел все перед собой и, когда они вошли в палату, долго обнимал обоих, крепко-крепко, сказал, что очень по ним соскучился, хотя даже не подозревал об этом, спросил, не смущают ли их мои слезы, но они ответили, что нет. «Выздоравливаю потихоньку», — сказал я, что была чистая правда, я взял их руки и соединил, и мои руки тоже в этом участвовали.

Много расспрашивал о Сунне. Раньше не расспрашивал. Узнал, что Сплендидов папа тоже умер. И что они хотят обручиться и сыграть свадьбу, но не раньше, чем я поправлюсь и смогу прийти на торжество. Узнал, что ты, Виктор, подрос.

Решили прогуляться и посмотреть. Сосульки на водостоках длинные, ходить под ними опасно. Шел посередине, а они — по бокам. Играли в снежки. Вышли за ворота, пили в кафе кофе с булочками.

Очень-очень счастливый день!

13 марта 1940 г.

Постройки здесь из красного кирпича. Их много, все высокие, с зарешеченными окнами, чтобы мы не выпрыгнули из своих жизней, за которые они в ответе. Но я думаю, многие среди нас *хотят* жить, потому что перешли в Утреннюю Страну.

Часто плачу, но Доктор говорит, что хорошо, когда «каналы вновь открываются». Я думал при этом о Плоскодонках, о вереницах тополей на низких берегах, думал о Чистых простынях и больших Караваях хлеба, открытых сараях и скотине с темными глазами. Рассказал Доктору, и он объяснил, что теперь во мне возникло движение и Желание. Спросил, много ли я «обычно» читал. Сказал, что тут есть библиотека. Я очень перепугался, ведь многие книги — Философия и Размышления, а я размышлять не хочу, потому что все во мне переворачивается и я делаюсь внутри совсем белый. Взял Путевые Заметки, но и это оказалось чересчур, потому что Слова по-прежнему задевают меня и норовят разбередить открытые Раны.

Выпал снег, и в воздухе веет мягким теплом.

17 марта 1940 г.

Средь множества голосов, что говорят во мне, я порой различаю мой собственный. Но он пока

очень слабый, усталый, истомленный попытками сделаться внятным в шуме, который создают другие. Я предался сну и безмолвию. Возможно, в отместку Фанни и еще больше — Маме, чья колыбельная умолкла и рассеялась. Фанни устроила мне гнездышко меж своих ног и рук, средь множества своих пальчиков. Как много глаз бывает у любящего!

Вновь, еще раз, изведать искренность кончиков собственных пальцев, следить их движение по бесконечным берегам женщины.

4 апреля 1940 г.

Все, кто плел корзины, не идиоты, но большинство идиотов тоже плело корзины, да в таких количествах, что, по-моему, из них можно возвести стену вокруг всей Швеции. Правда, на рынке эти корзины попадаются редко, может, мы экспортируем их за рубеж, то есть не Мы, плетельщики, а Те, кто завладел жизнью.

Те, кто устанавливает законы для этой жизни.

Те, кто говорит, что Жизнь — их владенье.

Те, кто использует нас, живущих безвинно,

блуждающих в мире, разумеющих лишь Хлеб,

лишь Воду, лишь Любовь

и не дающих угаснуть нашей Скудели.

Мы — Нагие Вопросы, у нас нет Облачений.

Сиделки пахнут снегом.

---

15 апреля 1940 г.

В какой миф меня затащит теперь, думал я, когда, выброшенный из центрифуги мрака, стоял за воротами лечебницы, еще крепко привязанный к ней пуповиной, опасаясь сразу и слишком поспешно двинуться в путь, опасаясь сразу опять вовлечься в жизнь, ведь я пока не успел сказать ни «да», ни «нет». Я хотел увидеть себя, Виктор. Хотел поиграть возможностями, будто мы обладаем свободой воли.

Я стоял на обочине дороги. В снежной слякоти, удивляясь, как много меня еще осталось в месиве мыслей после электрошоков, чувствуя, как мое имя сомкнулось вокруг меня.

Побывать в сумасшедшем доме. Что это значит? Как это окрасит меня? Какие континенты

слов и понятий островами воздвигнутся над моей поверхностью, займут место, станут зримы как часть моего ландшафта? Станет ли то, что я был безумцем, моим *единственным* опытом, и даже в пятьдесят лет я буду рассказывать все ту же историю?!

Пишу, сидя в кафе. Отпущен на волю! Впереди только будущее. Только взрослая жизнь. Пью чай, наступает утро, я жду поезда. Мне еще виден парк вокруг лечебницы, где я гулял всю зиму, видны люди, которые скоро канут в глубины моего сознания, новые разговоры, новые чувственные впечатления запорошат их, поглотят, подобно тому как тропические джунгли поглощают храмы. Куда в таком случае денется лечебница? Утонет в недрах моего существа или растает в воздухе? Думаю, утонет, и каждая последующая беседа будет покоиться на *подстилке сумасшедшего дома* и окрашиваться, как лакмусовая бумажка. Опасаюсь покинуть это место, это кафе, пока не знаю наверняка. Заказал еще два бутерброда с сыром. Есть и другие поезда.

* * *

Целый час уже просидел тут, вероятно, просижу еще несколько, так как испытываю потребность

запечатлеть в душе память об этой зиме, чтобы ее значимость — большая ли, малая ли — всегда оставалась рядом. Закрою глаза — и вижу черную калитку, возле которой нерешительно стоял час назад. С внутренней ее стороны — полное отсутствие требований, самый настоящий идиотизм. С внешней — одиночество, на каждом шагу требования и решения. По плечу ли они мне? Поживем — увидим, ты, Виктор, когда-нибудь это узнаешь.

Так много всего, что там внутри, мне хотелось бы описать. Доктор сказал, что душевной болезни в полном смысле слова мне опасаться незачем, но можно ожидать периодов обостренной впечатлительности. Я не опасаюсь. Знаю, что это такое, «когда тебя накрывает тьма», как она сейчас накрыла Европу. Во тьме тоже существует целый мир. Там тоже есть встречи и мечты, и некоторые из них приятны и занимательны.

Вот и утреннее солнышко. Освещает дорогу, бегущую сквозь черные калитки и дальше, через парк. Лужи блестят, кто-то отворяет окно в том коридоре на втором этаже, где тяжелое и безучастное сидело мое тело, где, ничего не желая, лежали мои руки. Да, свет здесь, вот он, и как бы мне хотелось до конца моих дней описывать один только *свет*, каким я когда-то давно ощутил

его на повороте дороги: был летний вечер, косые солнечные лучи озаряли зеленые поля, я был печален и одинок. Как вдруг мое существо пронизало теплом, которое присутствовало повсюду. В листьях, в хлебах. Я был прозрачен, как Музыка. Я был — Адажио. Был одною из нот, неотъемлемой частью исполняемой пьесы, и, когда травы и деревья склонялись, я понимал, что кто-то легкими пальцами пробегал по всему живому, как по клавиатуре. Кто-то играл на мне, Виктор.

Далеко за горами, за озером и перелесками, где паслись лошади и коровы, кто-то играючи сочинил дивную композицию, и все, что виделось, угадывалось и грезилось, было одинаково важными составными частями. Случилось это давно, по ту сторону чистилища сумасшедшего дома, но запечатлелось навсегда! С большими перерывами эта музыка звучала снова и снова, и я хоть и не каждый раз, но довольно часто узнавал ее напев. И даже *там,* когда прятался в уборных, кромсая рулоны туалетной бумаги и разбрасывая вокруг, и когда укусил за руку Санитара, и когда перед электрошоком лежал привязанный к койке, и когда врач выпускал мне в лицо омерзительно сладкий сигарный дым, а у меня не было сил протестовать, — даже *там* я наверняка слышал

ее глубоко внутри.

* * *

Неужто по мне заметно, что я был в сумасшедшем доме? Посетители, которые только что ушли из кафе, вроде посмотрели как-то странно? Одежда на мне моя собственная, способна ли она скрыть мою суть? Все равно, это ничего не значит. Я не боюсь. Сяду здесь, в Кристинехамне, на следующий поезд и поеду домой. Царица Соусов обещала по телефону, что на кухне меня будет ждать яблочный пирог с ванильным соусом, и я разрешу ей обнять меня, прижать к могучей груди, исключительно в знак радости.

* * *

(В поезде, по дороге домой) Их много, тех, что остались в Кристинехамне и глядят поверх деревьев парка, кое-кто не выйдет оттуда до смерти, ведь им некуда возвращаться, потому они и не хотят выздоравливать душою. У старика Орьенга, который с красными руками, есть домишко, но нет работы, он же никому на глаза не смеет показаться, — дескать, «сразу видать, что ты меченый». Молодой парнишка из Сёрбю кого-то

убил и потерял дар речи, только бормотал что-то нечленораздельное. Сутулый Эквалль из Весе питался белками, он бродил по лесам, имея при себе кошку, на случай бескормицы, ведь люди злобились на него и не желали «видеть из своих домов». Интеллигентный бухгалтер, этот воображал, что живет в гостинице, занимал отдельную палату с картинами и книгами и не разговаривал с такими, кто «пьет пиво», а мне рассказывал, что, «как только погода немного улучшится», поедет в Лондон, нужно, мол, «обсудить с англичанами кое-что важное касательно войны и ее окончания».

20 мая 1940 г.

Дымянка, синяя пролеска проклюнулись нынче из-под земли. Весенний чистяк, что светится желтизной, и нежная молоденькая крапива, из которой Ева-Лиса сварила суп. А еще почки ревеня — словно перископы из подземелья, они высовываются наверх и озираются по сторонам, как озираюсь я и обнаруживаю, что мир существует. Так много всего, что стоит увидеть.

Да, есть вещи, достойные памяти, ведь они облечены именами вроде «дымянка», «крапива», «брусчатка». Давеча выжигали траву в саду у Слейпнера. Все вместе мы следили за огнем, ко-

торый летал меж голыми яблонями, но поверху, сгорала лишь сухая трава, а зеленая под нею оставалась. Потом Верил Пингель угощала нас булочками и кофе, столы и стулья вынесли в сад. Лица у всех были подлинные, и многих черт я словно никогда не видел. И тревога из-за войны, и боль в груди, и радость, что «скоро будет тепло». И мы вправду были одной семьей. Удивительно, что мы можем разговаривать вот так, простыми словами, и такие слова есть и для меня.

27 мая 1940 г.

Сережки прибрежной лещины желтые от пыльцы. Во мне родилась улыбка, когда я наконец увидел то, что все видели всегда. Будто я самый последний на целом свете обрел это знание, но главное — для меня это было впервые. Вода синяя, блескучая. Предлагает мне себя. Я захватил с собой ботанический справочник, открыл его и заново познакомился с множеством растений, например с подорожником, Taraxacum vulgare. Смотрел новыми глазами. Все мощное, яркое.

Вешнее солнце, на всех дорожках талая вода. И я не «выдавливаю» улыбку, а просто улыбаюсь. Я — Человек и имею «право» быть на Свете. Тогда как раньше находился «за пределами» зримого, будто шпион, который никогда не оставлял меня

в покое.

Июнь 1940 г.

«Нынче я поднялся на самую высокую здешнюю гору, которая не без основания носит имя Вентозум (то бишь гора Ветров), побудило меня к сему стремление узнать, что может открыться моему взору с такой необычайно высокой точки. Уже несколько лет я частенько подумывал об этом восхождении. Ты знаешь, я живу в здешних краях с самого моего детства — так распорядилась судьба. Следственно, гора эта почти постоянно у меня пред глазами, ибо видно ее отовсюду».

Так пишет некий Франческо Петрарка 26 апреля 1335 года некоему коммерсанту, который получил означенное послание лишь сегодня, когда с книгой в руках лежал, растянувшись на лесном пригорке, лиловом от кукушкина льна. Велосипед он прислонил к елке, пахнущей смолою; в сумке на багажнике прятались термос с кофе и бутерброды (щедрый дар Царицы Соусов), а книга была томиком писем упомянутого Петрарки. О, какое наслаждение — находиться на Поверхности! Снаружи! На воле! С одной целью — «рассеять мрак», «покончить со средневековьем плоти, с моровой язвою эмоций», долго терзавшей его тело. Березы в юной листве, ба-

бочка-траурница взлетает из своего укрытия, во всей красе являет себя коммерсанту. Да, бабочка, ты прекрасна! Все здесь прекрасно, потому что глаза у меня новые, чистые. Где же я был всю мою жизнь? На какой берег выбрался сейчас? Я оглядываюсь вокруг, будто первый человек на всем свете. Я — открыватель перспектив, распорядитель своих чувств!

Да, Виктор, он лежит в траве и читает о стремлении видеть, о ласках зрения и слуха, ощущает в этот петрарковский день, как рождаются его члены. Поодаль среди деревьев белеют ландыши, их колокольчики прячутся за большими зелеными листьями, но звенят, серебристо и тихонько, — для самых чутких органов нашего восприятия, которые мы сплошь да рядом губим оглушительным шумом, производимым и нами, и внешним миром. Как редко мы находим время прислушаться к тихому, нежному! Или точнее: как редко нам даруется такая способность. Вот почему тот, кому это даровано, хотя бы и на краткое мгновение, должен быть внимателен, как влюбленный, и описывать самоочевидное — что муравейникам пора открыться, что прилетел жаворонок.

Но вправду ли это самоочевидности? Коммер-

сант знает по собственному опыту, что можно долго жить в этом мрачном работном доме, как Петрарка называет жизнь, и не быть живым. Вещи являют тогда лишь грозные свои глубины. А ты внутри и не можешь выбраться наружу. Оттого-то необходимо ловить мгновение, ловить цветок и говорить себе, что дубового листа, до которого я дотронусь, протянув руку, прежде никто не видел. Ты всегда первый и должен об этом помнить! Считай те дни, когда ты прочитывал на камне моховые письмена (сколь «самоочевидно», что там есть эта надпись), ведь однажды твой взор померкнет, или ноги, принесшие тебя сюда, откажут, или пожар опалит поверхность камня, или мороз расколет его. Спроси коммерсанта, он знает!

Мой друг Петрарка тоже знает: «И меж тем как мой брат, стремясь к вершине, не убоялся отправиться напрямик по горным кручам, я пытался идти в обход, более легкими дорогами; когда же он, окликнувши меня, указал на путь, каковой полагал правильным, я отвечал, что, по-моему, будет легче подняться к вершине по другому склону и удобства ради я охотно сделаю крюк. Пока он вместе со слугами успешно одолевал кручу, я тратил время на никчемное блуждание в

нижних регионах, не находя, однако ж, той удобной дороги наверх, на которую уповал. В конце концов мне это надоело, и я с раскаянием начал вновь карабкаться в гору. Брата я нашел бодрым и свежим, он успел хорошо отдохнуть, поджидая меня; сам же я был утомлен и недоволен! Несколько времени мы шли вместе, но немного погодя я, забывши о своих блужданиях, опять вздумал испробовать боковую дорогу, и оная вскоре завела меня в лощины, где я обнаружил, что все мои потуги избежать тягот восхождения прямым путем, без обходных маневров, только уводили меня от цели. Все же природа вещей неизменна и не сообразуется с человеческими желаниями. Кто хочет возвыситься, должен отринуть все половинчатости и уловки; нельзя одновременно подниматься ввысь и спускаться вниз».

Поэтому теперь я точно знаю: мое решение принято.

Виктор! Ты еще ребенок и не запомнишь меня, если я исчезну. Ты родился в мир, которым правят уже не мои законы.

Как только война кончится, я поеду в Новую Зеландию, это *долг,* который наша семья обязана заплатить. А эта тетрадь — мой разговор с

тобою. Вчера я с тобой гулял, вез коляску вдоль кладбищенской стены, под липами. Мы искали земляничный цвет, я показывал тебе лошадей в загоне. Учил тебя говорить «лошадь», «цветок», «Сиднер». Фанни обрадовалась, когда мы вернулись с букетиком камнеломки, но не разрешила мне приласкать ее, она видит только тебя.

VI

— Миссис Джудит Уинтер, я полагаю?

Старая дама крепко сжимала ручку двери, руки у нее в синих жилках и печеночных пятнах. Прищурясь, она поверх очков смотрела на Сиднера, который совсем приуныл и не улыбался. Ведь он нарушил ее послеобеденный сон и досадовал, что не пришел попозже. Три дня он тщетно звонил в Таихапе — увы, дни были выходные, — три дня бродил по Веллингтону, где ему всюду мерещилась Тесса, три ночи провел в тревоге, горько сожалея о своем опрометчивом путешествии в Новую Зеландию, и вот наконец-то отыскал в телефоном справочнике адрес миссис Уинтер, несколько раз позвонил на Тинакори-роуд, но там никто не отвечал. Ни свет ни заря он позавтракал в частном пансионе «Гейдельберг», чьи владельцы, супруги Мак-Портланд, всячески старались ему помочь, побродил по Ботаническому саду, пытаясь любоваться морем цветов и океаном, тем самым океаном, где Ароновы глаза обернулись теперь жемчугами. Восемь лет его взор устремлялся к этой точке, сколько писем он написал в конце войны, когда принятое решение стало неотвра-

тимостью, которая туманила ближний обзор, брала будни в шоры, а позднее, в москательном магазине, делала их непрочными времянками. Ответных писем не было, но это не поколебало его веры, что поездка в Новую Зеландию загладит семейный долг, загладит вину. Ему сравнялось двадцать семь лет, и его жизнь должна наконец-то ознаменоваться настоящим поступком, а Тесса была для него стимулом к действию, благодаря ей прошлое наконец-то обретет завершенность. Долгая вереница событий завершится, а потом — свобода, сила, собственная жизнь.

> «Дорогой Виктор! Эту открытку я пишу по другую сторону земного шара. Дальше, чем сюда, забраться уже невозможно. Но я скажу тебе вот что: с очень давних пор я был здесь, мысленно, теперь же мои мысли с тобой. В таком случае когда люди ближе всего друг к другу? Что имеет большее значение — телесная близость или мысленная? Я не знаю, зато мне ведомо, каким бесконечно далеким может быть находящееся рядом тело и каким близким — очень отдаленное»,

— писал он на скамейке в Ботаническом саду,

под сенью куста бугенвилеи, и адресовал свою открытку прямо в точку между Фанни и Виктором.

> «Близость и Отдаленность зачастую не вопрос расстояний, а точка зрения. До Бога всегда одинаково далеко». И на обороте фотографии окутанного паром горячего источника он продолжил: «Все мы из одного и того же праха. Внутри и вокруг друг друга. Тела суть идеи, проекты, сгустки. Наши мысли — это наша реальность, и моя мысль „сейчас“ вторгается в твое „сейчас“, в твою мысль, когда ты читаешь эти строки. „Здесь“ моя мысль поместила мое тело „давным-давно“. Виктор, куда бы ни отправился отсюда, я буду с необходимостью приближаться к тебе!»

— Я из Швеции. Сын Арона. Сиднер.

Миссис Уинтер выпустила дверную ручку и попятилась в комнату.

— Не стоило вам приезжать.

Она смерила его взглядом с ног до головы, кивнула, жестом пригласила войти и предложила стул. А сама исчезла на кухне, он слышал, как она ставила чайник. Вернулась она с подносом: свежий белый хлеб, а рядом пачка писем.

— Можете их забрать, — сказала миссис Уинтер. Это были письма Сиднера к Тессе. Старушка села на диван, поправила очки. — Вам с молоком? Я на несколько дней уезжала, к сестре. Муж у нее болеет. Печень. Хлеб привезла оттуда. Кстати, вы не поможете мне поставить на место балконный ящик? Свалился, пока меня не было. Тяжелый очень, одна я не справлюсь. А если вызывать домоуправителя, Бог знает сколько времени пройдет.

— Конечно, я помогу.

— Придется все сажать заново. Хотя вроде и смысла нет, в мои-то годы. Но все равно хочется, чтоб было красиво. Пускай немножко, а заслонишь вид на улицу. Однако спешить некуда, выпейте сперва чайку. На старости лет время вообще не существует. Правда, моя сестра с этим не согласна. Считает дни, оставшиеся мужу, и уверена, что умрет следом за ним. Удивляюсь, ведь у них есть дети. Взрослые, понятно. Н-да, очень вам интересны мои разговоры, сразу видать.

Сиднер заметил на ее губах усталую ироническую усмешку.

— Хуже всего, мистер Сканер, что рассказать мне вам нечего, вы же, надо думать, не ради меня сюда приехали? Н-да. Знали бы вы, как я вас про-

клинала. Вернее, вашего отца. Мистера Арона!

— Я понимаю, миссис Уинтер.

— Если б они с Тессой… Впрочем, какая теперь разница. Я зла не держу, хотя здесь, в Веллингтоне, мне никогда не нравилось. И знакомых я почти не завела. Мой дом был в Таихапе. В деревне. Взять хотя бы стирку — ну какая стирка в городе-то! При всем удобстве новомодных машин. Чистоты в белье нету. Слишком много автомобилей да копоти. Правда, в Окленде, говорят, еще хуже.

— Где она сейчас? Жива ли?

Миссис Уинтер развела руками.

— Наверно, надо мне было отослать ваши письма обратно или хотя бы написать самой! Но вы должны понять, много времени прошло, пока я поднялась на ноги. Меня ведь выгнали! Иначе не скажешь. С нервами долго был непорядок. Спасибо сестре, если б не она… Только ведь нельзя терзать ее до бесконечности. И без того хватает причитаний да разговоров про болезнь. Лекарства то, лекарства сё, и что доктор Фаррелл сказал нынче, а что вчера. Хотя вообще-то мне кажется, он ничего особо и не говорил, только то, что ей хотелось услышать. Зятю уже не поможешь. Скоро конец. Месяц-другой — и всё. Еще чайку?

Придется пить, пока она не выложит, что знает, и Сиднер подставил чашку.

— По-моему, его надо положить в больницу. Но с ней разговаривать невозможно.

— Тесса вообще получила известие о папиной смерти?

— Не знаю. Кажется, я переслала телеграмму своим друзьям, у которых она жила. Да, точно переслала. Но никакого письма позднее так и не пришло.

— Я сам заболел. И очень долго пробыл в лечебнице. К тому же война.

— Вот именно. В войну было не до того. Наш остров она обошла стороной, а все же многие уехали в Европу, в Австралию и Бог весть куда еще. Глава той семьи, которая приютила Тессу, был из таких. Выучился на летчика, разбился над Германией, жена и дети куда-то переехали. А Тесса! Все это случилось так давно, и, что ни говорите, она была просто одной из моих клиенток на почте. Ко мне многие ходили. Приносили свои невзгоды, швыряли слова через стойку, оттого что дома было невмоготу от тоски. На всех утешения не напасешься.

— А ее брат?

— Война ведь была. Почем мне знать? Дума-

ете, я и таким злым человеком интересоваться должна? И его, и Тессы, по всей вероятности, нет в живых. Она, верно, покончила с собой. Я имею в виду… разве я не писала, что она совершенно переменилась. Сущая ведьма. Разве я не писала?

— Писали.

— Ужас. Это она-то. Такая красивая. Такая образованная. — Миссис Уинтер выпрямилась. — Как по-вашему, людей озлобляет религия?

— Не знаю. У религии много обличий.

— Только не здесь. Религия корежит народ, делает его косным, скаредным. Я рада, что убереглась от таких людей. Может, оно и к лучшему, что я здесь, в Веллингтоне, город-то большой. Уезжайте вы отсюда, молодой человек, и поскорее.

— Но я должен. Должен вернуть долг, загладить вину.

— Вздор! — Щеки у миссис Уинтер вспыхнули, руки затряслись. — Не ваш отец, так кто-нибудь другой. Она явно имела предрасположенность к болезни. Брат ведь и раньше, бывало, помыкал ею. Дьявол, а не человек. И я уверена, виной тому — религия! В Швеции люди очень религиозные? Страна у вас студеная, верно?.. Мы тут боялись японцев. Они сюда так и не добрались, но мы столько парней отправили на войну. Многие

погибли на островах, на Фиджи и при Наусори. Могу себе представить, каким солдатом он стал, Тессин брат. Вероятно, героем, как их теперь называют. Наконец-то ему представился случай безнаказанно помахать кулаками. Наверно, герои вот такие и есть: люди, которые всю жизнь мечтали убивать и наконец-то дорвались. Многие фермы опустели. У него наследницей была Тесса; любопытно, к кому отошло их имущество.

— Почему вы решили, что она умерла?

Миссис Уинтер сплела руки на коленях и с изумлением воззрилась на Сиднера.

— Так ведь иначе она бы, по крайней мере… Моя фамилия есть в справочнике.

Зеленые склоны вокруг почтовой конторы в Таихапе были покрыты низкой травой, на холмах паслись овцы, где-то на ферме выше в горах кукарекал петух, трактор проехал мимо по проселку. День выдался ясный и прохладный, в саду возле почты еще не просохла роса.

Женщина, работавшая в конторе, была молода и встретила Сиднера улыбкой, как доброго знакомого, но Сиднер не смог улыбнуться в ответ и все время нервозно оглядывался: вдруг сюда

прошмыгнет ведьма, босая, с распущенными волосами, с кривыми когтями, в грязной одежде. Он прямо-таки ждал, что услышит песню.

— Я здесь всего несколько месяцев, не успела еще толком познакомиться с окрестными жителями. Но такой фамилии в наших списках не значится. Вы сами откуда?

— Из Швеции.

— Ого! И как вам Новая Зеландия? Красиво у нас тут?

— Я недавно приехал.

— Погостить? Долгое путешествие.

— Дольше не бывает. Вы не знаете, к кому бы мне обратиться?

— Загляните через дорогу, к мистеру Джонстону. Он тут всю жизнь прожил. За исключением военных лет, понятно. В войну, как я слыхала, тут только женщины оставались.

В саду мистера Джонстона цвели фруктовые деревья, возле грядок стояла забытая газонокосилка, сам хозяин сидел на веранде, читал газету.

— Извините за беспокойство.

Мистер Джонстон привстал в кресле; это был мужчина лет семидесяти, с грубым лицом, с густой щетиной на щеках и подбородке, с суровыми

глазами.

— Я ищу одну женщину, Тессу Шнайдеман, ее брата звали Роберт. Сам я приехал из Швеции.

— Гётеборг, — сказал мистер Джонстон. — В войне вы не участвовали.

— Да, к счастью, мы не воевали.

— Но пропускали немцев через свою территорию.

— Мы были вынуждены.

— Вынуждены! — фыркнул Джонстон. — Удары-то *мы* принимали. Я в Германии воевал. Попал в плен, полгода назад освободился. — Он показал на свою ногу. — Протез. Памятка тех времен. Я вам вот что скажу: только в здешней округе из пятисот жителей двенадцать ушли на фронт, трое уцелели, а остальные, и Роберт в том числе, погибли. Лютый до драки был мужик. Самый крупный из здешних фермеров. А вы что, знали Тессу?

— Никогда с нею не встречался.

— Понятно, вы же молодой совсем. Да, чертовски жалко ферму-то. Хотите чего-нибудь выпить?

Сиднер покачал головой.

— Ну и хорошо. Трудновато мне до кухни добраться. Когда он в армию записывался, у него

аккурат две тыщи овец было. Н-да, черт бы побрал эту войну.

— Значит, фермы больше нет?

— Есть-то она есть. Молодежь из Веллингтона наезжает деньжат сколотить. А в сельском хозяйстве не смыслят. Тесса наверняка бы хорошие деньги за ферму выручила, только на что они ей.

— Простите, я не понимаю.

Сиднер по-прежнему топтался на лестнице, но Джонстон на веранду не приглашал.

— Меня, конечно, не касается, зачем вы ее разыскиваете, однако ж… — Он взмахнул газетой. — Свихнулась она малость. Роберт ужас как с нею намучился. А потом война. Он нашел кого-то присматривать за скотиной, но ведь одно дело — хозяин и совсем другое — чужой человек. Будь Тесса здорова, она бы точно справилась. Многим бабам пришлось хозяйство тащить, когда мужики на войну ушли. Сто тыщ нас было! И на островах дрались, и в Европе пособляли.

— Я читал кое-что…

— Читал, — опять фыркнул Джонстон, махнув газетой. — Пишут-то вздор и чепуху. Задницу от стула не оторвут, сидят по редакциям да байки сочиняют. Нет, вы пороху не нюхали.

— Я два года провел на границе с Норвегией.

— На границе. Это совсем не то. Я лично воевал. — Он опять кивнул на свою ногу, свою гордость: вот, мол, я какой! — А вы пропускали немцев…

— По-вашему выходит, *я* в этом виноват?

— Да нет, — сказал Джонстон, всем своим видом показывая, что именно так и выходит.

— Вы знаете, где Тесса сейчас?

— Нет, и меня это нисколько не интересует. Носилась по всей округе полуголая… У нас тут приличные люди живут. И на войну мы пошли без особой радости. Но пошли, причем добровольцами. Многие из нас. Роберту здорово досталось.

— Расскажите, что произошло.

— Чего тут рассказывать! — Взгляд м-ра Джонстона устремился за тридевять времен, за тридевять горизонтов и опять вернулся в свое вечное Сейчас. — Япошкам нельзя было доверять, хоть они и заявили, что сюда соваться не станут. Но когда они бомбили Наусори, мы смекнули, что дело пахнет керосином. В тот день и сели впятером на оклендский автобус. Нас не хотели брать, старые-де слишком, но мы настояли. И попали в Англию.

— Я имел в виду…

— Вы там не были и никогда не поймете. Толь-

ко тот, кого ранил немец — или япошка, это все равно, — понимает, что значит жить, верно я говорю?

— Да, несогласный кивок Сиднера словно взбодрил м-ра Джонстона, он наклонился вперед.

— Слушайте, вы… вы ведь не какой-нибудь там ворюга, а? Хоть и из Швеции… — Он смущенно хохотнул: пошутил, дескать. — Зайдите в дом, вон в ту дверь, там слева шкаф. Возьмите бутылку виски. И два стакана.

— Я не пью.

— Да бросьте вы. Все мужики пьют. Жилье-то у вас есть?

— Комнату снял возле автобусной остановки.

— У миссис Фанни. Злющая баба. Ну да это только нас, местных, касается. Ладно, тащи виски. Вот так. Наливай! Себе тоже. Не хочешь — как хочешь. Да, вы, шведы, так и будете в стороне стоять, случись что. Как в Роттердаме. Осенью сорок третьего…

Только когда сумерки начали заливать все вокруг, в том числе и огонек сигареты м-ра Джонстона, тот выпустил Сиднерово внимание из мертвой хватки.

— Мне за ногу пенсию платят. Управляюсь в лучшем виде, хотя вам это, поди, неинтересно?

— Ну что вы, — сказал Сиднер.

— Ясное дело, неинтересно. Вас только Тесса интересует. И я скажу вам одну вещь. Она тут всегда была не ко двору. Чудная девка. Книжки читала. Стихи! — Он сплюнул далеко в сад. — Роберт выкинул весь этот хлам, когда она… Твое здоровье, швед! Овец жалко. Думаешь, она об них беспокоилась? Небось по-настоящему никогда палец о палец не ударила. Барышню кисейную из себя корчила. Но чертовски была красивая, по крайней мере до того.

— До чего?

— Сидела возле дороги, песни распевала, шастала тут по холмам, ровно маорийка поганая, и слушала голоса, тьфу! — Он опрокинул стакан в глотку тьмы и повторил: — Тьфу! Счастье, что ее увезли с глаз долой. Старуха почтарка увезла ее высоко в горы, а что было после, я не знаю. Знаю только, что ферму продали, когда Роберт погиб. Маклер какой-то приезжал сюда однажды с этими молодыми пижонами. Босуэлл, так, кажись, его звали. «Босуэлл и сыновья».

Три дня спустя Сиднер распахнул церковную дверь в одном из жилых кварталов Веллингтона

и наконец-то укрылся от резкого ветра. Людей в церкви было немного, они стояли кучками там и сям, слушая пастора, который провозглашал с кафедры:

— И решил Ирод сделать перепись всех младенцев ниже двух лет. И была в ту пору женщина по имени Мария, которая была беременна, а оттого что Иосиф был записан в Вифлееме, отправились они туда для переписи.

— Нет-нет-нет! — воскликнул кто-то из мужчин.

Пастор захлопнул книгу, спустился вниз и, засунув руки в карманы брюк, устремил взгляд на кафедру, последовал короткий разговор, которого Сиднер не расслышал, и кафедру общими усилиями передвинули на новое место. Пастор опять взгромоздился на возвышение.

— Когда же настал день Рождества, пришли они в Вифлеем и с ними еще много людей, так что мест в гостиницах не было и пришлось им устроиться в хлеву.

— Нет, так тоже не годится, — сказал мужчина с потухшей трубкой в зубах и почесал в затылке. — Попробуем двинуть в ту сторону.

Сиднер сел на скамью, кафедру двинули к нему, и она прямо-таки нависла над ним. Пастор начал

снова:

— И были на востоке трое волхвов, увидели они звезду в небе и решили пойти за нею, а были это Бальтазар, Симон и Иосафат, цари в землях востока, и ангел сказал им, что…

— Сейчас маленько получше звучит, хотя…

Кафедра скользнула еще ближе к Сиднеру.

— И вошедши в хлев к Марии и Иосифу, принесли драгоценные дары: смирну, золото и ладан, и Мария возрадовалась сердцем.

— Хорошо. Во всяком случае, когда ты говоришь в полный голос. Попробуй потише.

— Помолимся, — сказал пастор. — Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, так тоже слышно? Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. — Он перегнулся через кафедру. — Ты тоже хорошо меня слышишь?

— Да, — ответил Сиднер.

— И когда я молитву читаю? Благослови и храни тебя Господь, пусть лице твое… Нормально? — Он поднял голову, глянул на собравшихся. — Тут мы ее и укрепим, boys! Аминь.

Человек с потухшей трубкой достал из кармана мелок, обвел на полу подножие кафедры.

— Окно она, правда, заслоняет, освещение бу-

дет контурное.

— Все сразу не бывает, — сказал пастор, вытащил гребешок, зачесал волосы за уши. Потом сошел с кафедры, но споткнулся о банку с краской, и та опрокинулась, забрызгав его черные брюки. — Ч-черт… простите. — Он огляделся и быстро снял брюки. — Скипидар? Ветошь найдется?

Присев рядом с Сиднером, он принялся оттирать пятна.

— Как по-вашему, эхо было не очень сильное?

— Звучало превосходно.

— Эхо действует на нервы. Говорить приходится очень медленно, а эхо просто чер… в общем, никуда не годится. Я вас раньше не видел, вы не из моей паствы, а?

— Сторож в конторе сказал, что вы здесь, а мне помощь нужна в одном деле.

— Конечно-конечно, вот только пятна выведу. Нельзя в этом костюме работать. Значит, вы думаете, так хорошо будет? Мы капитальный ремонт в церкви затеяли. Новый орган установили. Понимающие люди говорят, звук превосходный.

— Можно попробовать?

— Вот так сюрприз, право слово! Пожалуйста. Пусть тут всем будет хорошо.

Слава в вышних Богу,

и на земле мир,

в человеках благоволение.

Голос Сиднера, сильный, звучный, наполнил церковь. Как же давно он им не пользовался! Мощно звучит! В порыве вдохновения он продолжил: «Лишь Бог один в небесном царстве». Пастор стоял рядом, с брюками и скипидарной тряпицей в руке, но спешно сунул все эти причиндалы под мышку и зааплодировал, когда Сиднер после длинного и могучего фрагмента баховской постлюдии выключил орган из сети.

— Недурственно. На каком языке вы пели?

— На шведском.

— Ну да. Мог бы догадаться. Нам бы в церковь такого, как вы. Раскочегарили бы тут все маленько. С нашей-то тетушкой не особо получается, я не хочу сказать ничего плохого, но она мало что умеет, а прежний органист на войне сгинул. — Он кивнул на свои брюки. — Новые совсем. Однако ж за тщеславие надо платить. Меня зовут Элиот, Стивен Элиот. К Рождеству освятим этот храм Господень. Вам нравится запах скипидара?

— Это ведь бальсовый скипидар, а у него запах приятный. Всю мою взрослую жизнь я работал с красками и тому подобным.

— Значит, вы отнюдь не беглый органист?

— В свое время замещал органиста.

— Вон как! И вам нужна моя помощь.

— Дело у меня чисто практическое. К душе отношения не имеет.

— Это вам только кажется. На люди-то можно выйти в таких брюках? Конечно, можно, — ответил он сам себе, надел их и жестом пригласил Сиднера пройти с ним.

Некоторое время пастор Стивен Элиот листал церковные книги.

— Маклер прав. Вот, нашел. Тесса переехала сюда шесть лет назад. И не так давно вышла замуж, за Чарлза Блейка.

— Не может быть, — сказал Сиднер.

— Тут так написано… Взгляните. Чарлз Блейк и Тесса Шнайдеман. Живут на Гленберви-стрит. Похоже, я сообщил вам дурную весть. Вы ее любите?

— Я никогда ее не видел.

— Может, чаю или стакан воды?

— Это очень длинная и тягостная история, — сказал Сиднер. — Собственно, с Тессой был знаком мой отец, они переписывались, еще до войны, вместе строили планы, но он умер, а она, как я слыхал, не выдержала крушения надежд

на встречу и сошла с ума… Я думал, что смогу чем-нибудь помочь, — добавил он, срывая с себя венец святого, сдирая волосы, кожу, до чего же холодно быть скелетом!

Какой-то ребенок стоял в дверях и смотрел на него, он закрыл лицо руками, чтобы не напугать мальчонку.

— Тебя и сегодня вечером дома не будет? Мама спрашивает.

— Так надо, понимаешь? Подойди-ка, обними меня.

— Тебя все время нету.

— Завтра останусь дома, обещаю. Сбегай принеси стакан воды, будь добр.

Сиднер устыдился и, пока мальчик бегал за водой, поспешил надеть и кожу, и волосы, и что-то вроде улыбки, хотя был не вполне уверен, что она его собственная. Все теперь не по размеру, все вытянулось, пальцы не подходят к кожным перчаткам.

— У вас много детей?

— Трое.

— А у меня один, — сказал Сиднер. — Восемь лет ему.

— Тоже деликатный возраст, — отозвался Стивен Элиот. — Они переполнены любопытством,

верят в жизнь, верят в нас, взрослых. — Он отошел к окну, выглянул наружу, потом резко повернулся к Сиднеру. — Возраст доверия чертовски короток. Многие даже в первые месяцы жизни не успевают в нем побывать. А ведь это важнейший период, когда закладывается фундамент всей будущей жизни. Дети похожи на яйца, лежащие на самом краешке лестницы, в зыбком равновесии. Отчего мы так неосторожны с детьми? Отчего так редко даем им время обрести веру? Пока они еще могут. Прежде чем бурное движение ворвется внутрь и омрачит обзор. Молодец, Пол, — перебил он себя, — дай стакан дяде. Он из Швеции, ты знаешь, где это?

— На другой стороне Земли.

Сиднер пил воду, пил прохладу, наполнявшую все складки иссохшей кожи, подгонявшую ее к скелету.

— У меня там сынок, твой ровесник.

— Как его зовут?

— Виктор.

— А собаку его как зовут?

— У него нет собаки. А твою как кличут?

— Уинстон. Это пудель.

— Может, я подарю Виктору собаку, тогда они будут перелаиваться через пол-Земли.

Сиднер глянул вниз, в корзинку для бумаг. Старые газеты, конверты, яблочные огрызки, пустая пачка от сигарет. Две мухи ползают по огрызкам. Ваза с яблоками на столе стоит, столешница чистая, блестящая, он находился на другой стороне земного шара и видел, что и здесь стол прочно стоит на своих ножках, не падая в пространство.

— Что же мне теперь делать? Ведь вы превратили мою поездку в полнейшее фиаско. Все последние годы основывались на ложных надеждах, точнее говоря, я рассчитывал встретить здесь сумасшедшую. Ну не жестоко ли?

— Жизнь не стоит на месте. Чтобы выйти замуж, в своем уме быть не обязательно. Или вы приехали жениться на ней? Я сам, наверное, стал священником по той же причине: от желания помочь. А потом выясняется, что народ в твоей помощи не нуждается, вот и стоишь как неприкаянный, без новой задачи. Н-да, война. Война — отличная подмога для сомневающихся священников. Утешать вдов, поддерживать надежду — меж тем как шла битва за Европу. Вечером покажу вам диапозитивы с Крита. На снимках нет солдат, только развалины, дрок да бытовые сценки. Затейник, отвлекатель.

— Она одурачила меня тем, что стала нормаль-

ной. Будто мое собственное здоровье зависело от ее болезни. Господи, такое ощущение, будто она обманула меня в том единственном, на что я мог бы сгодиться: стать с нею рядом, вывести ее к свету. Но куда поведешь человека, который уже сам выбрался на свет?

— Так, значит, вы себе это представляли?

— Да, именно так. Среди здоровых мне делать нечего. Ведь они заботятся обо мне. Что же теперь делать?

— Вы и раньше так восклицали, верно? Не ожидая ответа! Вы безусловно должны пойти к ней.

— Нельзя же заявиться к человеку без всякого предупреждения…

— Смотря с какой целью. Вот вы желаете отклика на свое желание. Боитесь, что она станет частью вас, а вы сами — частью ее. И надеетесь на это. Так мне кажется. — Стивен Элиот встал из-за письменного стола, подошел к окну, устремил взгляд на океан.

— Хорошо вам, вы способны верить.

— Ерунда! — сказал Стивен Элиот. — Религия совсем не такова, как думают люди.

— Вон она, там!

В госпитальном парке полно инвалидных колясок. Теперь-то он успел к ним привыкнуть; они встречались на набережных, в тенистых садах, кишели на тротуарах. Великая война отгремела, но здесь она до сих пор продолжалась в кошмарных снах и боли — для многих из этих калек ей никогда не будет конца. Для каждого собственная история — всегда самая выдающаяся. Сейчас, утром, пациентов выкатывали из белого здания на воздух, под тенистые деревья, — пусть проветрятся. Здесь были и клумбы с душистыми цветами, и пруд с утками.

— Вон она, та, что присела на корточки!

Он зашагал в ту сторону, но на полдороге остановился. Сейчас кончится и это путешествие, восемь лет ожидания канут в прошлое. Неподалеку от нее была пустая скамейка. Он сел, пытаясь отлепить язык от нёба. После разговора с нею придется искать в жизни новую цель. Новое путешествие, новый пункт. До поры до времени он отложил большую часть решений, но обещал Стивену Элиоту остаться играть в церкви. Это обеспечит ему средства к существованию, время

поездить и осмотреться, время подумать.

Присев на корточки возле инвалидного кресла, она кормила пациента. Лица Сиднер не видел. Видел только длинную обнаженную руку, которая то и дело тянулась ко рту пациента. У него была забинтована голова — тюрбан, скрывающий памятку о некой катастрофе?

— Ах, мистер Блай. Не надо капризничать. Откройте рот. Нельзя же опять отказываться от еды. Немного водички.

— Вы так спешите.

— Помощь нужна и другим пациентам.

Ее колени, ее профиль. Она повернулась в его сторону. Он вздрогнул, словно боялся, что она его узнает. Взгляды его, казалось, насквозь пронизывали ее кожу.

Нехорошо таким способом вторгаться в жизнь другого человека. Лучше бы вернуться в пансион и положить украшение в конверт. Черкнуть несколько слов о той вине, которая мучила его все эти годы. Внизу можно написать свой адрес. На случай, если она захочет повидаться.

Он был так близко от нее. И дрожал в ознобе. Протянуть руку, коснуться ее плеча. Наконец-то перекинуть мост через земной шар эфирных мечтаний. Вина. Искупить свой проступок. Уж

не думал ли он, собственно говоря, заняться вымогательством? Вот он я, принес вам украшение любви. Он помнил, как впервые держал в руках этот кулончик.

«Теперь ничего от меня здесь не осталось, все у тебя».

Возле комода, в комнате. Стеариновые свечи и брильянтовый кораблик, покачивающийся от тепла. Песок, веточка, рогулька.

Какая наглость! Так пристально ее разглядывать. Но чьими же глазами он смотрел? Ароновыми? Своими собственными? И что значат собственные глаза? Глаза потребности или мечты? Глаза эротики, глаза ребенка или мстителя?

Пальцы у него дрожали.

— Мистер Блай, ну давайте же! Еще несколько ложечек. И поскорее.

Она вдруг обернулась прямо к нему. Без улыбки. Впилась взглядом в его глаза, на миг, словно почувствовала, как пристально он на нее смотрит.

Горячие волны трепетали вокруг нее, очертания фигуры расплывались. Еще немного — и она вспыхнет. Все слова, какие он принес сюда с собой, вспухли во рту и не шли с языка.

— Можно глоточек воды?

Она протянула ему стакан. Сквозь воду обру-

чальное кольцо казалось таким большим. Ногти у нее длинные, ухоженные, на костяшках пальцев легкий пушок. Вода потушила пламя.

— Спасибо. — Он встал и быстро пошел прочь.

Той ночью возле головы Сиднера плавала рыба. Легонько помахивала хвостом, взвихряя тьму. Пощипывала губами его глаза и уши. Он лежал на спине, с полуоткрытым ртом, и рыба юркнула внутрь, тихо, задумчиво отираясь о зубы. Потом замерла, притаилась меж языком и нёбом. Отдыхала на спокойных волнах его дыхания, потом встрепенулась и нырнула в глотку, скользнула по стенкам артерий, стукнула в сердце, так что он проснулся.

Многие пациенты и посетители были в штатском. И, сидя на скамейке, он не привлекал внимания. Часто рядом сидели другие. Один прислонил подле Сиднера костыли и принялся рассказывать, как стоял со своей частью в Индии. В Бомбее.

— Я занимался провиантом. Добро переводили почем зря. Однажды целый транспорт ветчины пришел. Судно разгрузили, а за грузом так никто и не явился. Мы патрулировали вокруг, чтоб ветчину не разворовали. Звонили. Телефоны не работали. Жара была страшная, ветчина порти-

лась. Тощие, жалкие люди приходили, просили — мы угрожали расстрелом. Смотреть жутко. А что делать? Налетели мухи. Набежали крысы. В конце концов пришлось все выбросить в море.

Порой среди деревьев мелькала сестра Тесса, толкая перед собой инвалидную коляску. Шла быстро, с высоко поднятой головой. О чем это говорило? Ни о чем. Ну, может быть, о том, что она хорошая медсестра, выполняющая все свои обязанности. Она подложила пациенту под голову подушку, подержала его за руку, наверно, считала пульс. Жар трепетал вокруг нее. Костыли упали наземь. Книга. «Преступление и наказание».

— Ты читал ее?

Сиднер кивнул. Сестра Тесса тоже кивнула, закатила инвалидную коляску под дерево, еще раз кивнула и скрылась в здании госпиталя. Тень и солнечный свет.

— Мне убивать не довелось, — сказал сосед по скамейке. — Которые убивали говорят, хуже всего было в первый раз. А с тобой как было?

— И мне тоже не довелось.

— Чем ты занимался?

— Кашеварил. Решили, что на другое я не гожусь. Я малость с шариков съезжал. Сидел в сумасшедшем доме, но это было хорошее время.

— Невмоготу стало размышлять о…

— Да нет, это еще до войны было. Вдобавок я из Швеции, а мы не воевали. Извини.

— Чего уж тут… хотя многие зуб имеют на шведов, я знаю.

Тесса вышла на крыльцо, с подносом лекарств. Стала обходить пациентов, раздавая таблетки, вот она уже возле скамейки — взглянула на Сиднера, наморщила лоб, дала лекарства его соседу. Наклонилась ближе. Халат на груди распахнулся.

— Увы, вам ничего не положено. Вы не из моего отделения.

— Я во всех сестер влюбляюсь. Стоит им подойти поближе. Пожалуй, за исключением сестры Тессы. А так во всех.

— С нею что-то не так?

— Да нет, все в порядке. Но… Сам не знаю. Кстати говоря, она замужем за одним из нас, из калек.

Во второй половине дня подавали чай. Выкатывали в парк тележку с большими термосами, и ходячие пациенты помогали тем, кто не мог себя обслужить. Сестры тоже чаевничали, собираясь группками на крыльце, откуда был виден весь парк. Временами появлялись и врачи. Будто шумная стая чаек толклась на лестнице… и одна

только Тесса?.. Нет, он был не в состоянии ничего себе представить. Она тоже смеялась: быстролетный вихрь пробегал по ее лицу. Сиднер пил чай вместе со всеми, словно из последних сил стараясь стать одним из этих пациентов, и незачем ему воображать, что она… что обнаружится щелка, куда он сможет пролезть.

Тесса заканчивала работу в пять. Он шел за нею, на некотором расстоянии. Теперь, на гражданской территории, шаги ее были не так торопливы, сумочка покачивалась на руке. Она часто останавливалась, рассматривала витрины, пока еще бедноватые, проворным жестом приглаживала волосы. Наведалась в фотомагазин, по делу, он видел в окно, как она прятала в сумочку проявленные кассеты. Вот бы взглянуть на эти снимки. Увидеть хоть что-то принадлежащее ее глазам. Много ли у нее друзей и знакомых? Он ни разу не видел, чтобы она с кем-нибудь поздоровалась. И это делало ее «доступной»? Жила она на втором этаже многоквартирного дома. Уже с улицы был виден океан. Раз он даже в подъезд зашел, и соседка сказала ему, что миссис Блейк целыми днями работает в госпитале. Наверх идти незачем… Нагруженная провизией, Тесса исчезает в доме: какие картины ждут ее там?

Она помогает мужу — он на костылях — спуститься в сад за домом. Несет штатив и фотокамеру, устанавливает перед ним. Гладит его по волосам, уходит в дом. Муж направляет объектив вверх, на облака, плывущие с океана, медленно и тяжко надвигающиеся на Веллингтон. Облака меняют обличье и форму. Тают и густеют, смыкаются друг с другом, вовеки непостоянные. Птицы пролетают мимо линзы объектива, инвалид набрасывает на голову черное покрывало, сливается с фотокамерой в одно, проходит утро, минует полдень, черное покрывало трепещет на ветру. Какая-то женщина вытряхивает на балконе половик, появляется почтальон, шагает по газону к следующему участку, говорит покрывалу «привет», покрывало не отзывается. Наверно, есть некая картина, которая обрисуется, если набраться терпения. Неподалеку останавливается тележка торговца рыбой, женщины выбегают из подъездов, берут из ящиков сверкающих рыбин, кладут в корзины. Разговоры, голоса, то громкие, то тихие, рыбины дергаются, ветер крепчает — картина явно не та. Дни текут, Тесса Блейк выходит в сад, поднимает покрывало, ссора?.. Уговоры, просьбы? Что-то насчет обеда или той картины?

Дни бегут. Ветер набирает силу, океан бушует, вздымается огромными валами, пасмурно, льет дождь. Сиднер стоит на углу возле дома. Тесса Блейк выходит в сад, с мужем, он опирается на нее, усаживается поудобнее, она гладит его по волосам, дни бегут, черное покрывало соединяет мужчину и фотоаппарат.

Под сенью нового неведения — он больше не мог объять Тессу своими фантазиями — Сиднер чувствовал тревожное облегчение: время существовало. Раньше-то он так боялся пустоты после встречи с Тессой Шнайдеман-Блейк! Что делать потом? Взрослый, свободный, это верно. Мир открыт во всех направлениях. Ему вспомнилась Швеция, зимние катки, где «другие» катались на коньках. Вперед и задним ходом, и на одной ноге, будто фигуристы, девчонки подражали Соне Хени[76]. Свидание, смех, летучий и колкий, как снежная крупка… Грезя о Сульвейг, он научился играть на фортепиано, на органе. Грезя о Фанни, стал отцом. Грезя о Тессе, выучил английский и очутился за полмира от дома. Но

[76] Примечания: 76

Хени Соня (1912–1969) — норвежская фигуристка, неоднократная чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в одиночном катании; снималась в американском фильме «Серенада Солнечной долины» (1941).

если отвлечься от грез? Он когда-нибудь жил по собственному усмотрению? Нет. Впрочем, теперь ему дана передышка. Он лучше спал по ночам, и зарницы в распахнутых окнах самоубийства отдалились, утихли. Он не был готов умереть. И это путешествие было заклинанием против смерти. Завершить возможности «данной» жизни. Потом — посмертность. Но дело его жизни не завершено, миссия не доведена до конца. Ведь пока что она еще стояла между ним и смертью — пока что была передышка! И трогать ее нельзя.

— Кого? — спросил Стивен Элиот, вынув изо рта лампочку.

Они сидели на балках под самой крышей церковной колокольни, налаживали освещение. Снаружи бушевал ветер, колокольня гудела. Полы Стивенова пасторского сюртука свешивались с балки и придавали ему сходство с вороной. Сиднер по мере надобности подавал ему провода, а карманный фонарь, висевший на несколько ярусов ниже, раскачивался, и конус его света метался понизу.

— А-а, ну да, — сказал Стивен. — Твою princesse lointaine[77]?

---

[77] Примечания: 77
Далекую принцессу *(фр.)*.

— Я не знаю французского. У тебя есть отвертка? Стивен перегнулся через балку, протянул ему отвертку.

— Тебе знакомо вот это?

Мне в пору долгих майских дней
Мил щебет птиц издалека,
И снова в памяти живей
Моя любовь издалека.
Больной душе отрады нет,
И дикой розы белый цвет,
Как стужа зимняя, не мил.

Всей жизни счастье только в ней —
В моей любви издалека.
Прекрасней указать сумей, —
Вблизи или издалека![78]

— Красивые стихи! — воскликнул Сиднер.

— Отвратительно! — отозвался Стивен. — Эту «Кансону» пел своей princesse lointaine, даме, которая всегда говорит «нет», князь Блая, Джауфре

[78] Примечания: 78
Перевод с провансальского В. Дынник.

Рюдель[79]. Мне претит такое поклонение, это же чистейшая смерть. Ты воображаешь, что обращаешь взгляд к живой женщине, когда говоришь об этой Тессе Блейк? Ты боишься ее морщин, ее неврозов… Она что же, так всегда и будет человеком по ту сторону? По ту сторону жизни? Отмотай-ка еще провода. Твой идеал по ту сторону, не здесь! Чем он отдаленнее, тем жарче страсть, а от всего близкого можно отречься. Отдаленное! Когда я читаю проповедь там, внизу… там, внизу, — повторил он и ткнул пальцем в глубину, — меня просто с души воротит каждый раз, как я прибегаю к символике отдаленности, будь она неладна. Претворяй ее в музыку! Я претворяю и слышу, как перед лицом отдаленного, религиозного люди превращаются в этакие недоразумения. Ведь что отсюда следует? А вот что: у нас нет никого близкого. И все сотворенные существа — несуразные образчики творения. Возвеличение подобных идей, подобной любви оборачивается отречением, аскезой и бегством. Будь добр, верни-ка отвертку! Любовь — благодеяние, ибо ей назначено дарить другому жизненную энергию. Назначено освободить закованного в гранит, что-

[79] Примечания: 79

Джауфре Рюдель, князь Блая (ок. 1140–1170) — провансальский поэт-трубадур.

бы каждый видел ее танцующие ноги, пусть даже танец уводит их прочь, но многие ли дерзают пойти на это? Много ли ты видишь любящих? Их же сразу видно, по блеску в глазах!

Набраться смелости.

Наконец-то размежеваться с нею. Дерзнуть развиваться так, чтобы «другие» от тебя не зависели. Решиться потерять, чтобы обрести кое-что другое: свою собственную жизнь. Он опять прогулялся к госпиталю. Выпил чаю с пациентами за компанию. Сестра Тесса спешила от группы к группе. Настало время переступить порог, совершить поступок, который в итоге сделает его одиноким. Выбраться из гнезда зависимостей. Он сидел на скамье под деревьями. Взглянул на эти деревья «последний раз перед тем, как…». Тесса Шнайдеман была уже близко. И Сиднер сказал:

— Сестра Тесса, не присядете на минуточку?

Ее колено, его рука.

— Вы знаете мое имя?

— Да, Тесса Шнайдеман.

— Вы следили за мной!

— Без дурного умысла. Мне бы хотелось поговорить с вами.

Ее колено придвинулось еще ближе к его руке. Он глянул по сторонам — спасения нет, ни среди

деревьев, ни в облаках.

— Я не пациент, живу в частном пансионе «Гейдельберг».

— А я-то ломала себе голову.

— Я должен кое-что вам дать. Точнее, отдать. — Он вынул из кармана кулончик, протянул ей. — Меня зовут Сиднер Нурденссон, я из Швеции. Сын Арона. Когда-то…

Ее глаза вдруг расширились.

— Нет. Нет, это неправда. — Она вскочила и бегом устремилась прочь, ворвалась в кучку сестер на крыльце и исчезла.

Много сотен миль разделяло Новую Зеландию и Швецию, и все-таки это расстояние было ничтожно в сравнении с тем, что разделяло Тессу Блейк и Тессу Шнайдеман. Однажды днем, когда он сидел за работой, она постучала к нему в дверь. Сиднер вправду изо всех сил старался забыть ее. Стивен Элиот со своей стороны заваливал его работой: новая церковь должна стать музыкальным центром Веллингтона, необходимо раздобыть денег на покупку нот, привлечь музыкантов, дать объявления о наборе хористов. Они вместе ездили в глубь острова, наведывались

в Маорийский округ, ловили в ручьях форель, собирали гербарий из растений, совершенно Сиднеру незнакомых. Но в облаках над ними были глаза Тессы.

А тело ее было в легкой тени птичьих стай, скользившей по горным склонам.

«Бывают женщины, которые особенно нравятся нам в комнатах, а другие — на вольном воздухе, — пишет Гёте о Фридерике. — Ее внешность, ее фигура были прелестнее всего, когда она шла по высокой тропинке; ее фация, казалось, соперничала с усеянною цветами землей, а непоколебимая веселость ее лица — с голубым небом»[80]. Тесса Шнайдеман была дочерью вольного воздуха, не в пример Тессе Блейк. Она выглядела прямо-таки смешно, когда стояла перед ним и теребила в руках сумочку, в строгом синем костюме, в сдвинутой набок шляпке на аккуратно уложенных волосах. Как медсестра она постоянно находилась в потоке текущих дел, да и как возвращающаяся домой, усталая жена тоже: профессиональные жесты по дороге уходили на

[80] Примечания: 80

Здесь и ниже цит.: И. В. Гёте. Поэзия и правда. Кн. 11. Перевод Н. Холодковского. — Речь идет о Фридерике Бр*и*он (1752–1813), дочери деревенского пастора, подруге Гёте в страсбургский период его жизни.

покой, по мере приближения к дому уступали место другим. И он не знал, приносит ли она в дом, подобно Фридерике, «эту живительную атмосферу», умеет ли «сглаживать затруднения» и легко ли «устраняет случайные впечатления мелких неприятностей».

Но не верил в это. Однажды, когда шел за нею, он видел, как она остановилась. На углу, примерно на полпути от госпиталя к дому. Быстрые шаги вдруг замерли, она остановилась у какого-то забора и сорвала несколько листочков с живой изгороди, усыпанной красными цветами. Вытянула руку, присматриваясь к чему-то в жилках листьев, разжала пальцы. Провожала взглядом падающий листок, пока он не опустился на тротуар. Вот и все. Когда она пошла дальше, когда притяжение дома завладело ею, шаги у нее стали много тяжелее.

Это могло означать что угодно. Но Сиднеру вдруг страстно захотелось подобрать упавший листок, догнать ее и сказать: «Тесса Шнайдеман, расскажи, что ты увидела в этом листочке», — поймать ее в этой щелке меж двух реальностей, где она так явно оказалась нагой. Вот так же он не раз мечтал застать врасплох Фанни. Меж ладонью и еще не начатым жестом. Меж губами

и словом.

Сейчас перед ним стояла третья Тесса — собранная из разрозненных фрагментов, для нее не подходящих. Для него не подходящих, ведь, может статься, на самом деле она именно такая. Это существо ему не нравилось, да и она сама, кажется, чувствовала себя в нем неуютно: взгляд блуждал по комнате, костяшки пальцев, сжимавшие ремешки сумки, побелели. Она старалась держаться неприступно и холодно, в голосе не было ни профессиональной сестринской твердости, ни (как он воображал) усталости миссис Блейк.

— Уютная у вас комната.

— Я очень доволен.

— Наверно, и не слишком дорого? — Она смущенно улыбнулась, подошла к окну и стала там, к нему спиной. Сиднер отодвинул от себя бумаги.

— Может быть, чаю?

— Нет, спасибо, не стоит, пожалуй.

— Но вы не уверены?

— Уверена, более-менее.

Он встал, шагнул к ней, стал прямо у нее за спиной.

— Тесса Шнайдеман…

— Я пришла с просьбой: не вмешивайтесь в мою жизнь. Кто бы вы ни были. Тессы Шнайде-

ман больше нет.

Долгое молчание. Лицо, смотревшее в окно, было спокойно. Не то что океан, набегавший на берег. Какая-то птица металась в порывах ветра. Сиднеровы руки жаждали коснуться плеч Тессы, поэтому он отошел от окна, сел на кровать. Где-то в доме гудел пылесос миссис Мак-Портланд. Из кухни доносился звон чайных чашек.

— Вот и все… что я хотела… сказать. — Она собралась с духом, повернулась к нему, напрягла голос, отчего он сделался резким, пронзительным и, точно птица в бурю, закружил по комнате: — И надеюсь, вы отнесетесь к этому с уважением.

Когда она была уже на полпути к выходу, Сиднер встал:

— Тесса Блейк, вы перевернули всю мою жизнь. Так измениться! Я столько раз перечитывал ваши письма.

— Какие письма?

— Не прикидывайтесь дурочкой. Я вовсе не хотел вмешиваться в вашу жизнь, хотел только вернуть вещицу, которая принадлежала вам. Когда-то давно.

— Мне ничего от вас не нужно.

Она искала дверь, как ищут спасательный круг. Но взгляд вновь обратился на него.

— Как же вы меня отыскали?

— Джудит Уинтер обрадуется, если вы дадите о себе знать. Она живет тут неподалеку.

Тесса Блейк попробовала улыбнуться:

— А кто это?

Сиднер никогда прежде никого не бил. Но сейчас рука сработала инстинктивно, помимо его воли. И отвесила ей звонкую пощечину. Тесса пошатнулась, потом медленно подняла на него глаза, шагнула к кровати и рухнула на нее, уткнувшись лицом в ярко-красное покрывало. Рука у Сиднера саднила. Он стоял, глядя на свою ладонь, и вдруг заметил, что Тесса плачет. Сел рядом и сказал:

— Простите меня.

— Кто такая Джудит Уинтер? Не сердитесь! Кто она?

— Ты разве не знаешь, Тесса Шнайдеман?

— Я ничего не помню.

— Но ты знаешь, кто я?

— Ты… ну, ты сын… Арона. Я писала письма… Ты тосковал, сидел на кухне… Снег, много снега… Я так устала… не уходи от меня… Джудит Уинтер… она работала в Таихапе на почте… Это она?

— Состарилась она совсем.

— Она знает…

— Нет, не знает, ни где ты, ни жива ли ты вообще…

— Я так устала… так устала…

Голос стих, и поначалу он решил, что она притворяется. Долго слушал ее ровное дыхание, потом принес одеяло и укрыл ее. А сам коротал часы в кресле у окна. Вот такой же сон однажды сморил и его, когда реальность втиснула его в слишком тесное пространство. Этот сон, будто кокон, хранил его в то зыбкое время в сумасшедшем доме. Милосердие в форме мглы и бегства. Все более грозные образы и мысли, осаждавшие его со всех сторон, таяли, растворялись, как таблетки в стакане воды. Смутная, непостижная работа затеялась глубоко внутри. И следующая весна была такой странной — он будто с трудом выкарабкался на берег. И стоял там, еще истекая мраком. Но с ясным взором. В чистом воздухе. Голоса звучали далеко. Будто оркестр, репетирующий по ту сторону большой воды.

Тесса рывком села.

— Чарлз! Чарлз, ты где? Почему я здесь? — Она с отчаянием огляделась, встала, нетвердой походкой подошла к зеркалу. — Чего вы от меня добиваетесь?

— Тесса!

— Мне нужно домой, к Чарлзу. Хотя нет, он в госпитале…

— Тесса! Миссис Уинтер живет на Тинакори-роуд. — Зачем он это говорит! — Я имею в виду, она…

— Что я ей скажу? О чем нам говорить? Воскрешать давние воспоминания, да? Вы этого хотите? Потому и затеяли все…

— Миссис Уинтер пришлось уехать из Таихапе, Тесса, из-за тебя. Если ты жалеешь…

Тесса взяла свою сумку, одернула жакет, крикнула:

— Все равно я ей не понравлюсь! Такая, как сейчас. Ты же сам понимаешь.

Едва не испепелив взглядом свое отражение, она выскочила за дверь.

И на бегу утащила с собой целую вереницу дней. Сиднер сидел в безвоздушном пространстве, не в силах пошевелиться. И не сознавал, что Тесса исчезла, не сознавал до тех пор, пока она вновь не появилась перед ним. Другой человек, другой голос.

— Домой я не добралась. Ненавижу тебя, Сиднер. Я шла по улицам, очутилась в своем районе

и вдруг не смогла вспомнить номер дома. И название улицы. Правда-правда. Остановилась, посреди глаза бури. Все вокруг было совершенно пустое, голое, запомнить нечего, абсолютно нечего. Так продолжалось лишь мгновение, но этого было достаточно, чтобы я прозрела! Вот почему и ненавижу тебя за то, что ты сюда приехал. Я открыла дверь *того* дома и стояла в передней, как бы в dream-time[81], в полном black-out[82]. Там не было ничего, что я могла бы уверенно назвать моим. Ни отпечатка пальца, ни книги, которая бы пахла мною. Я пыталась вспомнить разговоры, лица. Ничего, Сиднер. Столько лет — и ни одного воспоминания! Спальня пустая, голая, как в мебельном каталоге. Над кухонной плитой — вытяжной колпак. На рабочем столе ни крошки хлеба, даже от мешка с мусором не пахнет. В конце концов я повернулась и ушла. Когда я очутилась на берегу океана, поднялся ветер. Сдул с меня шляпу. Туфли жали, и я забросила их в воду. Помню, как внезапно ощутила в руках сумочку, открыла ее и устремила взгляд на губную помаду, связку ключей, маникюрные ножницы и прочую

---

[81] Примечания: 81
Время сновидений, время творения *(англ.).*

[82] Примечания: 82
Затмение *(англ.).*

ерунду, но все эти вещицы ничего мне не говорили. Волны наверняка приняли их с радостью. Два дня я бродила по берегу. Спала и просыпалась, в абсолютной пустоте, однажды наткнулась на маорийское семейство, они жили на берегу, стирали одежду, на спине у матери сидел ребенок, она жмыхала вещи по стиральной доске, ребенок качался вверх-вниз, вверх-вниз, и мне казалось, будто я впервые за долгое время увидела человека, который двигается естественно, человека, который выполняет своим телом какие-то действия, и я так и сидела там, пока они не подошли, не заговорили со мной, не угостили хлебом, не укрыли меня одеялом. Меня? Я не знала, кто я, имя Блейк, будто змей, цеплялось ко мне с одной стороны, имя Тесса Шнайдеман — с другой, правда незримо, на первых порах… а потом с океана стали наплывать картины, ветер был сильный, бил в лицо, Сиднер, я так замерзла, можно, я лягу на твою кровать, я не могу пойти к Чарлзу, сейчас не могу, хотя он наверняка беспокоится. Натерпелся со мной! Иногда я ужасно боялась, что он не выдержит. Слышала ведь, какой у меня голос, как пренебрежительно я говорю. Он такой храбрый. «Любовь, — твердит он, — человеку всегда ее мало». И непритворно смеется. Впрочем, нет,

смех был фальшивый. Сколько любви я дала ему на самом деле. Я же вздрагиваю от испуга всякий раз, как он ко мне прикасается. Вся цепенею, лежу не шевелясь, пока это не кончится. Ничего плохого он мне не делает, вообще не обижает меня, но я никогда не звала его к себе, никогда не хотела его, не желала ни его прикосновений, ни объятий, дай мне одеяло, Сиднер, мои руки увядали на его груди, я никогда не позволяла ему дотронуться до моего лона, отлучала его от моего тела, шаг за шагом, ну что хорошего он от меня видел? Моя речь умолкла, да-да, еще до того, как я его встретила, эпитеты, возгласы угасли, все ссохлось. Который теперь час?

— Полночь.

— Я разбудила тебя. Ляг рядом, я не могу допустить, чтобы ты сидел там… Наверно, я должна позволить тебе раздеть меня.

— Ничего ты не должна.

— Я ведь не обязательно голая, даже под одеждой. Дай мне шанс, Сиднер, ради Бога.

— Кому я должен дать шанс?

— Всей мне. Насквозь промерзшей миссис Блейк и исчезнувшей Тессе Шнайдеман. Может, ничего и не получится, может, я не умею любить, но дай мне шанс.

— Я лягу рядом с тобой. Только ведь я не могу…

— Из-за Чарлза?

— Уже нет.

— Если мы займемся любовью, то, может, я буду как бы с Чарлзом. Я ведь других мужчин не знала. Он мне не мешает, он добрый. Я вызываю отвращение? Смой с меня эту мерзость.

Сидя на краю кровати, он ежился от холода.

— Волосы у тебя, кажется, были темные, тогда… в ту пору…

— Да-а. Это важно для игры твоего воображения? — Она потянула его к себе.

— Нет, не надо.

Но врата гнева уже распахнулись настежь, и он очутился подле нее и понял, что ***о*** сейчас произойдет: образы мести захлестнули его. Вот, Арон, смотри, сейчас я совершу грех из грехов.

Сотру тебя с лица земли.

— Я ужасно боюсь, Сиднер.

— Я тоже, — пробормотал он. — Так много препятствий. Мой отец, вот кто должен был взять тебя. И надеть тебе на шею эту драгоценность.

— Что же случилось? Сиднер, я правда ничего не помню. Он был на пути сюда?

— Да. Прыгнул за борт, в океан, на пути сюда, это все, что я знаю. Наверно, не посмел прибли-

зиться к тебе.

— Джудит Уинтер писала обо мне? Писала, да? Где она теперь живет? Сердится, наверно, что я не давала о себе знать?

— Думаю, да; она лишилась работы из-за того, что помогала тебе, ее травили, твой брат и другие… когда ты повредилась рассудком.

— Обними меня.

— Ты и я — оба оставлены одним человеком.

— Я так испугалась, когда ты пришел и сказал, что приехал из Швеции. Твою фамилию я узнала, но не понимала, с чем она связана, я же постаралась все-все забыть. И столько лет боялась, что это вновь настигнет меня.

— Помнишь, чт***о*** ты писала про кулон, когда прислала его?

— Да-а, кажется, но смутно, по ту сторону кошмара моих минувших лет. Я тогда поклялась никогда об этом не вспоминать. И смогла не думать, хотя и ценою…

— Ты никогда не перечитывала папины письма?

Она вздрогнула, не ответила, однако же он, повернувшись, заметил, как сверкнули в темноте ее глаза, она крепче прижала к себе его руки.

Когда Арон не приехал. Когда она вернулась

домой, к Роберту, в новом платье. В голове у нее гудело. Насквозь промокшая под дождем, она стояла в комнате, вытаскивала все письма, все свои книги. Вслух прочла Роберту:

От боли сердце замереть готово,
И разум — на пороге забытья,
Как будто пью настой болиголова,
Как будто в Лету погружаюсь я;
Нет, я не завистью к тебе томим,
Но переполнен счастьем твой напев...[83]

Она не помнила, когда это случилось — в тот же день или нет. Но дождь шел. Роберт собрал ее письма и книги (он был пьян) и выкинул во двор: «Там твоей проклятущей дребедени самое место!» Дождь лил как из ведра, а он сапогами затаптывал их в грязь. Китса, Шелли. Она видела розы, засушенные между страницами, и сапоги тоже видели их и топтали, топтали мягкие строчки, а потом сквозь хаос будто пронесся вихрь света — смех. Сперва далеко-далеко, словно робкие пальцы зимы, приподнимая лохмотья темноты, обнажают розовый сумрак, и оттуда выплески-

[83] Примечания: 83
Дж. Китс. Ода соловью. Перевод Е. Витковского.

вается смех, подхваченный ветром и дождем, он трепещет в воздухе, ощупью отыскивает ее, проникает в ее тело, входит в жилы, в сердце, в горло, а она лежит на земле, обхватив руками книги, утопив пальцы в глиняной жиже, и тут смех завладевает ею целиком и полностью, а сапоги Роберта пинают в лицо, в грудь, в живот. Она не отбивается, только барахтается в теплой, раскисшей глине, ест ее, натирается ею, пробует встать, но Роберт опять швыряет ее наземь, она падает в грязь, платок слетает с головы, это она помнит, волосы окунаются в жижу. Она ничего не слышит, а видит лишь движения тела далеко вовне, она так глубоко ушла в себя, что не понимает его захлебывающейся скороговорки, слова слишком большие, загромождают выгон, наползают на горы, эти здоровенные грубые слова не доходят до нее, проскакивают мимо, не меньше года потребуется, чтобы уразуметь один-единственный слог, думает она, а Роберт меж тем срывает с нее трусы, хватает письма и запихивает ей в промежность, она теряет сознание, приходит в себя

наконец

встает, во дворе никого, дом темный, небо ушло прочь, оставив мрак, она идет к овцам, звяканье колокольцев, тут и там, вокруг кроличьи норы,

ноги спотыкаются, она падает и лежит, ведь совсем не холодно

АХ, ТЫ

в овечьих шкурах хватает тепла, чтобы согреть кровь

в ее пальцах, она припадает щекой к одной овце, к другой, к третьей, ползет меж ними, прижимается щекой и грудью, чувствует, как течет кровь, оставляя пятна на шерсти каждой овцы, это она знает, чувствует

ЧЕРТОВКА

и запятнанные красным овцы бегут в холмы, но, когда рассветает, она видит кровь, которой хватит на всех, кровь течет изо рта, из плеча, из груди, она падает на колени, обнимает овечку и говорит: вот тебе моя красная роза

ШЛЮХА

лежит не шевелясь

LETTER FUCKING[84]

до утра, пока из долины не доносится звон церковного колокола, но ей все равно, хоть там и похоронены родители. Она видит почтовую контору миссис Уинтер, от боли между ног она корчится, открывает скомканные письма в ме-

---

[84] Примечания: 84
Траханье по переписке *(англ.)*.

сячной крови, вытаскивает обрывки, никого рядом нет

ДРЯНЬ

когда-то он был ребенком, стоял обок нее на похоронах, цеплялся за нее рукой, которую после отрезало на лесопилке, и долгие годы это настороженное молчание, косые взгляды за спиной, когда она стоит у плиты и тоскует по книгам, тоскует по школьным юбочкам ровесниц дальше у дороги, тягучие вечерние часы, двери, которые она вечно запирала, ключи на поясе, зеркало, в которое она смотрелась все более

НАПРАСНО,

и нет Бога, чтобы разделить с кем-нибудь псалмы, которые она напевала за скотным двором, когда звонили церковные колокола, и руки, что держали книги, о которых она думает за скотным двором возле хилых кустиков арники, когда он опять злой и наверняка набросится на нее с кулаками, а бежать не к кому, и она опять бредет под дождем, от боли ковыляет враскоряку, ищет колодец, но его нет, а потом приходит в себя у миссис Уинтер, в цветастой постели, рядом доктор, а она смеется и не может перестать.

Когда услышала, что Роберта нет в живых, я рискнула выздороветь. Помню, пошла к ручью

за тем домом, где тогда жила, кажется, у друзей миссис Уинтер, вымылась, расчесала волосы, подстригла ногти. Странно я себя чувствовала: когда кто-нибудь приходил, опять пачкалась грязью — боялась, что придется нести ответственность, но начала видеть и вырабатывать что-то вроде стратегии забвения. И однажды ушла оттуда, сняла номер в гостинице, купила одежду, сходила к парикмахеру, покрасила волосы, купила косметику — впервые в жизни, — села перед зеркалом и закрасила Тессу Шнайдеман. Тяжелая работенка, пришлось перепробовать столько возможностей. Форма бровей, очертания губ, цвет лица. Движения руки. Я сидела в ресторанах, наблюдая, как другие женщины упруго вышагивают на высоких каблуках, как жестикулируют, прямо-таки ужас брал смотреть, до чего почти все они были манерны, до чего изысканны. Сколько же существует ухищрений, чтобы спрятаться! Сколько истерики из-за трещинок в маске, как старательно их замазывают, зашпаклевывают, чтобы мрак не просочился наружу.

Госпиталю требовалось тогда много персонала, и я стала сестрой Тессой. Там и встретила Чарлза Блейка. Он лежал на спине, нога была подвешена на растяжке, я пощупала ему пульс, он

весь светился благодарностью, был совершенно неопасен. Обстоятельно рассказывал о Европе, о невинных поступках, внушавших ему чувство вины: как однажды он украл в заброшенном доме нож для бумаги, с перламутровой инкрустацией, как передушил цыплят в крестьянской усадьбе, потому что и сам он, и его товарищи вконец оголодали. Рассказывал о вересковых пустошах и сосняках, о скабрезностях неотесанной солдатни, о письмах домой, матери. Поспите, мистер Блейк, сказала я. Не принимайте близко к сердцу, не надо, война есть война. Но как же я мог поддаться соблазну воровства, сестра Тесса? Пусть даже считанные разы. Мистер Блейк, вас наверняка принудили к этому обстоятельства, но вы больше о них не думайте. Вы такая чуткая, сестра. Я так вам доверяю. Сестра, я должен рассказать вам одну вещь. Сегодня ночью я видел вас во сне. Надеюсь, сон был приятный, мистер Блейк. Зовите меня Чарлзом. Как вы смотрите на то, чтобы выйти за меня, сестра? Отвечать сразу необязательно.

Лежачий, он не мог пинать меня, и я молила Бога, чтобы нога у него никогда не поправилась. И ни разу он не затронул душу сестры Тессы, только поверхностную скорлупку.

Я, конечно, не самый интересный мужчина на свете, сестра. Но честный и верный.

А я думала: дотронься он до меня, и я, чего доброго, могу его убить. Вне всякого сомнения. На всю оставшуюся жизнь иметь объект для убийства. Это правда, Сиднер. В общем, я сказала «да» и просыпалась по утрам, крепко обхватив себя руками, подтянув к подбородку плотно сжатые колени. Тяжкое бремя — каждое утро поневоле просыпаться, машинально защищаясь локтем, отталкивая его ласковые руки. Я съеживалась, как лимон.

Меня страшно злило, что Роберт погиб прежде, чем я успела его убить. Сколько раз подле Чарлза я обнаруживала у себя давний жест, обращенный против Роберта, но защищаться от него приходилось Чарлзу! Бедняга! Мои язвительные реплики, когда он ищет моей близости! Как же я отрезвляю комнату, постель, все вокруг, когда он хочет ко мне прикоснуться. Вымой руки, Чарлз! — говорю я. У меня ужасно болит голова, говорю я. И он гаснет.

Качаясь на волнах меж двумя своими именами, качаясь на волнах меж верой и равнодушием, меж улыбкой и горькой гримасой губ, меж прошлым и настоящим, меж зноем и холодом, меж

долгими молчаниями и многословием, меж бодрствованием и сном, она прижималась к нему, ребенок и женщина, ее пальцы касались его груди, но без страсти, как бы отсутствуя, будто обнимал он ее мысли, будто голова под его рукой — из сверкающих кристаллов, которые с хрустом лопаются, как льдины далеко на морском горизонте студеной северной ночью, будто они в комнате на острове, в такой дали, что любой шаг, в каком угодно направлении, будет шагом к дому, к родине. Но, пока не побываешь вдали, домой не вернешься. Пока не отыщешь там, в «другом месте», улыбку, переживание, которое изменит тебя, а он еще не отыскал ничего, что могло бы упразднить его вечное ожидание причастности к миру. И вот оба они лежали у дверей друг друга, слушая крепчающий ветер, от которого дребезжали стекла и звезды за окнами мигали; каждый осторожно стучался в печали другого, но стены были еще слишком толстые, чтобы расслышать слова, уловить сигналы и открыться друг другу.

Потом он встал, принес брильянтовый кораблик и надел ей на шею.

— Вот теперь и начнется самое трудное, — сказала она.

VII

Главная улица была владениями солнца.

Проложили ее так, что солнце по утрам могло распоряжаться ею целиком и полностью. Оно светило точнехонько в пространство между низкими деревянными домами с их витринами, полными гладких, блестящих яблок, часов и дамского белья. От солнца манекены у Кана улыбались мимолетной улыбкой — за секунду до того, как народ выходил из своих дверей и, жмурясь, тоже встречал новый день. Главная улица берет начало в восточной части города, у Рыночной площади, а кончается на западе, у перекрестка с Длинной улицей. Без таких улиц, как Длинная, с ее густыми тенями, тоже не обойтись, люди волей-неволей живут и там, однако те, кому выпал сей удел, стремятся к свету Главной улицы, к ее теплу, к словам, какие можно унести к себе, в тень. Брусчатка мостовой блестела в голубой дымке и в эти первые рассветные минуты мерцала фиолетовым и зеленым, ведь здесь были и деревья, густые сады, пышные кроны, вскипающие над белыми штакетниками.

А еще это была улица павлинов. Не меньше

сотни их склевывали зернышки, принесенные из деревни на колесах молочных телег или нападавшие с тугих мешков, в которых на тряских повозках возили зерно к мельнице на Бадхусгатан; невозмутимо, ни дать ни взять церковные старосты, они прогуливались по улице, то и дело отвешивая поклоны, и чистили тротуары перед зданием банка, перед Замком, перед москательным магазином Вернера.

Иначе откуда бы здесь такая чистота? Как иначе объяснить эти нежные краски — бирюзу и ультрамарин, нефритовую зелень и лазурь, которые сохраняются здесь в утренние часы, пока Клас Лёфберг не открывал свой магазинчик и не опускал над витринами полосатые, зеленые с белым, маркизы, а из «Новой кондитерской» не наплывали запахи свежего хлеба и миндальных булок.

Павлины были там «вот только что». Просто скрылись с глаз долой, чтобы не привлекать внимания и не раздражать тех, кто не желал ничего видеть. Они были совсем рядом, и порой я чувствовал легкое прикосновение перьев к ноге, когда они веером разворачивали хвосты, а я с учебниками в руках спешил в школу на Омбергсбаккен и выбирал короткую дорогу мимо

сада губернского прокурора, чтобы полюбоваться, только полюбоваться на его золотисто-желтые сливы, прямо-таки источавшие сытную сладость.

Я знал, что Главная улица — улица богачей, но не потому, что у них были деньги, а потому, что они владели Солнцем. Хозяева магазинов объединились и построили улицу для его лучей, а ритуал, каким они чтили священные лучи, заключался вот в чем: заложив руки за спину, все они стояли у своих дверей и один за другим кивали головой, так что утренний привет пробегал от магазина «Нитки и пряжа» возле Рыночной площади до самых «Художественных промыслов» возле перекрестка. И это чистая правда.

Павлины всегда были тут «вот только что».

Мне совершенно все равно, что они прикидывались то голубями, то воробьями, я никогда на обман не поддавался.

А на балконах с изящными перилами и гнутыми решетками, на балконах, которые будто капли висели средь дикого винограда и ползучего ломоноса, сидели миниатюрные седовласые дамы, призывно махали руками и бросали вниз записочки, письма и сласти, завернутые в носовые платочки тончайшего шелка. Мне

совершенно все равно, что эта небесная манна сосредоточилась в одном-единственном письме, один-единственный раз, когда я как-то утром шел с мамой по улице, я тогда не знал, до чего одинока она стала из-за моего рождения, не знал, что это пригласительное письмо было первым знаком, что давние друзья снова приняли ее в свой круг, не знал, что они уже опоздали, а может, благовременья для этого не было вообще. Но я помню, как она глянула вверх, на балкон, и улыбнулась широкой улыбкой, которая слилась с ярким уличным светом, помню, как она подняла вверх руку, шевельнула тонкими, длинными пальцами: «Спасибо, это было бы замечательно, но у нас, к сожалению, нет времени». И мы пошли домой пить чай в красной гостиной.

Мы с мамой жили в облаке чая. У каждого было свое кресло красного плюша, с ажурными салфетками на подлокотниках и спинке, а на столе всегда стоял свежий букет цветов — из сада Халльд*и*на, что у реки. Хризантемы, розы, фрезии. Больше всего мне нравился тонкий аромат фрезий, она всегда давала мне понюхать их, когда подрезала стебли и ставила в вазу. Ее пальцы разглаживали дамастовую скатерть на столешнице из грушевого корня. Она приглашала меня сесть.

У нас было не принято ставить чашки на стол. Мы сервировали чай, любовались блестящими серебряными ложечками, тихонько помешивая в чашках с голубыми разводами в форме цветков. Мы вдыхали душистый пар и улыбались друг другу, больше не происходило ничего, ведь мы были Ожидателями. Бессобытийность была привилегией, ибо она верила, что это окупится: настанет день, и в почтовый ящик упадет золотое яйцо, пусть даже и под видом открытки от Сиднера, с экзотическими марками и изображением дымящегося вулкана или скалистых круч, уступами спускающихся к морю. Во всяком случае, я воображал, что она думает, как я. Ложечкой она легонько помешивала в чашке и время от времени роняла замечания о кофе, который пили «другие». «Как все-таки хорошо, мой мальчик, не быть приверженным к этакому пойлу». Я обожал слово «приверженный», оно возвышало нас двоих над хлебающей, чмокающей, звякающей чашками городской массой, с которой я по-настоящему никогда не сталкивался. Иногда она позволяла мне навестить Берил Пингель и даже Слейпнера, раз-другой я исхитрился прошмыгнуть в гостиничную кухню, к Царице Соусов, чтобы выпросить пирожок или бутерброд, но

заметил, что маме это не нравилось, а я был ребенком послушным, крепко опутанным ее заботами и суждениями. Слово «приверженный» делало нас особенными, и она многозначительно мне подмигивала — будто единомышленнику, который смотрит на окружающий мир так же, как она.

Чаевничая, мы находились в особом пространстве вне времени, в священном месте, а если, случалось, какой-нибудь клиент, какой-нибудь шапочный знакомец усаживался в третье кресло, мы двое каким-то образом перемещались в еще более сокровенное пространство, роняя там свои тайные пароли. «Чем будем нынче угощать, Виктор? Может быть, цейлонским? Тебе не кажется, что он весьма под стать сегодняшней погоде?» Или: «Подай-ка нам, пожалуй, пряного, Виктор». После, когда мы оставались одни, она пожимала плечами и смеялась: «Угощать таких людей чаем — все равно что метать бисер перед свиньями. Ты не находишь?» Как же много всего связано для меня с этими чаепитиями: рукава с буфами, что облачками колышутся вокруг плеч, стройная шея, белая и чистая. Покой и ожидание почты у окна, распахнутого на улицу.

Говорить, что мы пили чай, — значит опять-та-

ки вульгаризировать. Мы совершали церемонию. Это было магически повторяющееся действо, и подчинялось оно строгому ритуалу, который приводил нас в состояние приобщенности к чему-то незримому, но ею, с виду беспечно, призываемому — к самой жизни.

Держа одной рукой блюдечко, а другой поднося чашку к губам, еще трепещущим от красоты, она обыкновенно смотрела в сторону окна, я говорю «в сторону», поскольку часто сомневаюсь, видела ли она это близкое окно, и кусты шиповника перед ним, и клены через дорогу, — ей достаточно было видеть идею окна.

— Дивная нынче погода. Как по заказу для прогулки у озера.

Постепенно я научился выжидать, сдерживать желание воскликнуть «да», потому что она всякий раз продолжала:

— Если бы я не была сейчас так занята.

Когда же я, стало быть, научился не перебивать, она могла облегченно вздохнуть, обратиться к своим мечтам и уйти за ними в заросли нависшего над водой ивняка, могла ступить на воображаемый травянистый склон, где по весне белели цветочки камнеломки, могла погладить ладонями стволы берез возле Озерной хижины и

нарисовать по-настоящему красивый закатный пейзаж, описать, как мы вместе стояли там и обнимали весь мир.

— Если идти в том направлении, долго-долго, придешь в Новую Зеландию (чего я бы, конечно, делать не стала). Очутишься на другой стороне земного шара. Представляешь, мы едем туда и устраиваем… — Она улыбалась и только затем вступала во владение красивейшим своим словом: —…сюрприз!

Это был апофеоз чаепития, его кульминация. Устроить сюрприз — значило вырваться из серой реальности, отринуть связи, обновиться. Очень ли она боялась? Не знаю, в ту пору я еще не разбирался в ее натуре, помню только, что на секунду-другую нас охватывало огромное воодушевление и у обоих учащенно билось сердце при мысли о перспективе, какую открывало такое вот слово: мир разворачивался у наших ног веером обещаний, море зыбилось, сверкало, в волнах играли дельфины и летучие рыбы, а где-то среди тропических растений некто столбенел, увидев нас, и бросал свои дела, и, раскрыв объятия, устремлялся навстречу.

Но мы даже из дома не выходили. Не делали ни шагу, и чашка опускалась на блюдце, блюдце

— на стол, а стол стоял на ножках, и под ними был пол. Я жалкий, грешный человек.

— Он конечно же обрадуется. Я имею в виду: обрадуется тебе, но мне-то что там делать?

— Не говори так, мама!

— Почему? Нужно смотреть на вещи трезво, не увлекаясь беспочвенными мечтаниями.

Но я, завлеченный в мир мечтаний и неспособный защищаться, не мог оторвать взгляд от призрачного моря. А создала его она, из чая и тишины. Я прихлебывал из чашки и погружался в дремоту. Волны сверкали уже не так отчетливо, как только что. Холодный ветерок пробегал у меня перед глазами, в тропических дебрях шевелилась змея.

По молодости лет я не понимал, что и ей было нелегко отступать назад, возвращаться к рулонам тканей, к пуговицам и крючкам.

— Впрочем, у тебя хватит средств однажды там побывать. Сойдешь на берег и… Ну как, вкусный был чай?

— Да, мама.

— Пойди принеси «Скандинавский семейный альманах», посмотрим картинки.

Картинки мы смотрели много раз, но это было все равно что слушать музыку: открывая раздел

«Новая Зеландия», мы снова и снова проникали в тайну, ведь фотографии не утрачивали блеска, страницы неизменно были гладкие, как ее плечи.

— Смотри, это могучие горы Южного острова. Они больше трех тысяч метров высотой и покрыты вечными снегами. Там тебе не обойтись без теплой одежды, хоть остров и находится далеко на юге, ведь по ту сторону экватора юг — как у нас север.

Трудновато делать выводы из таких высказываний.

— Это там живет Сиднер?

— Нет, он на Северном острове. Наверное, вот здесь. — Поглаживая скользкую лощеную бумагу, ее пальцы слегка касаются моих. — Видишь, как много овечек.

Звукоподражательный этап мы переросли, поэтому я подумывал сказать: «Ты, мама, тоже их видишь. Значит, и тебе не обойтись без теплой одежды?»

Но я понимал, что, став взрослым, должен буду управляться там один, в этом, вероятно, и заключалось тайное послание священных воскресных часов.

Вот почему то, что другие зовут бессобытий-

ностью, видится мне иным, вспыхивает, словно парчовые нити, в ее платье, когда она кладет ногу на ногу, когда подносит руку к щеке и возле виска искрится перстень. И после, когда она просит меня убрать чайную посуду и я понимаю, что сейчас мы уйдем из комнаты, это не имеет для меня никакого значения — мы так и сидим в своих плюшевых креслах. Чашки курятся паром, а месяцы превращаются в годы.

— Когда же Сиднер вернется? — спросил я однажды, когда мы гуляли по Главной улице.

Я сказал «Сиднер», так как не знал, что он мой отец. Слово «отец» было для меня пустым звуком. Я еще только-только выпутывался из ее корсажей и кофточек, только-только увидел мир, и состоял он большей частью из прозрачной прохлады ее блузок, из переливчатых перламутровых пуговиц и янтарных бус, которые ярко искрились, когда я, сидя у нее на коленях, перебирал их пальцами. Он состоял из ароматов ее духов, какие она давала мне понюхать, склонив поближе свое ухо. Я был ее частью. И заводить вдобавок такую диковину, как «отец», представлялось совершенно излишним. Она была мое утро и мой вечер. Неспящая

сторона грез и грезящая сторона бодрствования, она держала сейчас мою руку в своей, а когда я поднял глаза, слегка повернула голову к манекенам в витрине «Модной лавки», и я заметил пренебрежительную складочку между бровей, возникшую при взгляде на оттопыренные пальцы этих манекенов и дешевые, на ее вкус, наряды, — впоследствии я понял, что пренебрежительностью она защищалась от нисхождения. Пренебрегая дешевым и мещанским, она возвышала себя и не видела, что и сама находилась в плену у всего этого, не умела собственными силами вырваться на свободу.

— Ах ты, малыш Телемах! — сказала она, глядя на меня.

Разумеется, она не имела понятия, на что меня обрекала, втискивая в форму этого мифа. Я был вроде как тесто, на которое наложили пряничную форму и крепко придавили сверху, — она отсекла меня от улицы, от домов, от всего близлежащего.

— Отчего ты так говоришь, мама?

— О-о! — воскликнула она в ответ, и уголки губ нервно затрепетали, словно легкая рябь прошла по воде.

Потом она отвела со лба выбившийся локон, сдержанным кивком поздоровалась с каким-то

прохожим, секунду-другую, изучая свое отражение, постояла у новой витрины «Художественных промыслов». Здесь мы повернули обратно, юбка всколыхнулась. Вокруг молчания, вокруг дара, обернутого этим «о-о!» как бумагой с ленточками, возник просвет. Или она просто забыла ответить и одиноко плыла дальше по волнам своих грез? Вероятно, так и было. Единственный простой вопрос удвоился, удесятерился, умножился до бескрайней вереницы вопросов, которым никогда не будет конца и в лабиринте которых я блуждаю по сей день. Дуновение ветра в липах, предощущение целого мира вне ее. Я крепче сжал ее руку, чтобы она не забылась.

— Это долгая история, — ответила она, не отвечая. — Давай-ка зайдем вот сюда и купим себе пирожных. Сам выберешь, какое понравится.

Помнится, в тот день да, пожалуй, и вообще на той неделе я ответа не получил: все время что-то мешало. Какие-то мелочи, отвлекавшие ее внимание.

Взрослый человек и ребенок воспринимают время неодинаково. Странное имя крепко застряло в моей душе. Пирожное «Принцесса», зеленое, обсыпанное сахарной пудрой, стояло на столе, чай в чашке курился паром, и я наверняка спро-

сил, почему Сиднер отсутствует так долго.

— О-о! — опять услышал я в ответ.

Все мое детство переполнено ее досадливыми «о-о». Этот возглас слетал с ее губ словно бы на распутье, где она никогда не могла решить, какое выбрать направление. Вероятно, не знала, что ответить. Вряд ли она хорошо разбиралась в выпавших Одиссею опасностях и скитаниях, пока я не заставил ее читать книгу. Отдельные имена и названия, конечно, были у нее на слуху: Навсикая, остров феакийцев, Скилла и Харибда, циклопы. Но я бы удивился, если бы она сама нашла время прочесть «Одиссею» или какую-нибудь другую книгу, вдумчиво, про себя. Ей очень хотелось побывать в чужих краях вроде греческого архипелага, недаром раньше она в восторженных мечтах скакала со Свеном Гедином по горам Памира, чем дальше, тем лучше. Ведь она жила далеким, которое неподвластно проверкам, черпала силы для жизни, веруя в свою сопричастность и милостиво одаривая этими сверкающими осколками восхищенный мир вокруг, пусть и состоящий всего-навсего из маленького ребенка. Однако терпением она не обладала. Ведь ей было страшно отвечать, не напуская тумана, поскольку чутье безошибочно

предупреждало ее, когда разговор подбирался к некой опасной для нее правде. Вот и теперь она уклончиво сказала:

— Он на пути домой, я совершенно уверена.

— Но почему же его нет так долго?

— Одиссей отсутствовал десять лет.

Она опять споткнулась о порог своих мечтаний и пожалела о сказанном.

У меня нет истории. Я вынужден создавать ее из фрагментов, из картин ярких воспоминаний, но мне необходимо целое. Возможно, она читала эту книгу. А возможно, я припутываю сюда собственные позднейшие воспоминания о чтении. Но одно я знаю: пока Сиднер-Одиссей рвался домой, пока был далеко, она любила его, любила так сильно, что порой опять становилась провидицей и с закрытыми глазами рассказывала мне, что он встречал в морях. Не знаю, подлинные ли видения обступали ее, когда она, шагнув под завесы своих глаз, голосом актрисы, ощупью блуждающей во тьме, подыскивала подходящий антураж. То Сиднер-Одиссей находился в дремучих горах, где лишь изредка попадались овцеводческие фермы, то она приводила меня на окаймленный пальмами берег, где Сиднер, не ведая о нашем присутствии, разводил огонь и

жарил кабанов или оленя. Ему постоянно грозила огромная опасность. В пещере жил одноглазый великан, циклоп. Он поймал Сиднера и хотел его съесть. А тот — Сиднер? Одиссей? — измыслил хитрый план, пронзил великану глаз деревянным колом и освободил себя и многих других. Ведьмы там тоже кишмя кишели, посмотришь спереди — красотки хоть куда, а, к примеру, сзади вовсе без спины либо с хвостом. Все они гонялись за ним, пели чудные песни, обвивали руками его шею. У меня дух захватывало от ее рассказов, и, когда мы взяли в библиотеке книгу, я поначалу решил, что Одиссей украл Сиднеровы приключения, а потом пришла догадка: именно такими приключения и бывают. Отправляясь в странствие, человек должен быть готов лицом к лицу встретиться с великанами, коварными женщинами, обольстительными напевами, и ничто, собственно говоря, эту теорию не опровергло.

Однако ж мало-помалу мне надоело, что она изо дня в день заканчивает свои рассказы уклончивым «О-о, я не знаю, как там было дальше» и потирает виски, будто у нее болит голова. Я хотел узнать, как все происходило на самом деле, за пределами немногословных открыток и писем, которые она получала и от которых мне

перепадали сущие крохи вроде «Сиднер передает привет» или «Сиднер ходил на рыбалку и поймал огромную рыбу». Я должен был узнать, кто такой я сам, Телемах.

Ах, какая сказка на сон грядущий! Она сидела на краешке моей постели и читала, сперва нерешительно, будто стараясь внушить мне, что это скучно, непонятно и чересчур перегружено трудными словами, но, поскольку я никогда не выказывал признаков усталости, ей оставалось продолжать чтение, до конца.

…Но теперь сокрушает мне сердце
Тяжкой своею судьбой Одиссей хитроумный;
давно он
Страждет, в разлуке с своими, на острове,
волнообъятом
Пупе широкого моря лесистом…[85]

Тут ее глаза наполнялись слезами, и мы держали друг друга за руки, меж тем как светлоокая богиня Афина легко, словно ветер, скользила над водами и беспредельной землею.

---

[85] Примечания: 85
Гомер. Одиссея. Песнь первая. Перевод В. А. Жуковского.

Бурно с вершины Олимпа в Итаку шагнула

богиня.

Там на дворе, у порога дверей Одиссеева дома

Стала она с медноострым копьем, облеченная

в образ

Гостя, тафийцев властителя, Ментеса;

собранных вместе

Всех женихов, многобуйных мужей, там богиня

узрела;

В кости играя, сидели они перед входом на кожах

Ими убитых быков; а глашатаи, стол учреждая,

Вместе с рабами проворными бегали: те наливали

Воду с вином в пировые кратеры; а те, ноздреватой

Губкой омывши столы, их сдвигали и, разного

мяса

Много нарезав, его разносили. Богиню Афину

Прежде других Телемах богоравный увидел.

Прискорбен

Сердцем, в кругу женихов он сидел, об одном

помышляя:

Где благородный отец и как, возвратяся в отчизну,

Хищников он по всему своему разгоняет жилищу,

Власть восприимет и будет опять у себя

господином.

В мыслях таких с женихами сидя, он увидел Афину;

Тотчас он встал и ко входу поспешно пошел,

негодуя

В сердце, что странник был ждать принужден

за порогом; приближась,

Взял он за правую руку пришельца, копье его

принял,

Голос потом свой возвысил и бросил крылатое

слово:

«Радуйся, странник; войди к нам, радушно тебя

угостим мы;

нужду ж свою нам объявишь, насытившись

нашею пищей».[86]

С какою же вестью явилась светлоокая богиня: Сиднер жив. Он на пути к дому, и она сказала, что я очень с ним сходен, а я, через Телемаха, рассудительного сына, отвечал:

Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину

ведать.

Мать уверяет, что сын я ему, но сам

---

[86] Примечания: 86
Там же.

я не знаю

Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам

невозможно.

Лучше б, однако, желал я, чтоб мне не такой

злополучный

Муж был отцом; во владеньях своих он до старости б

поздней

Дожил. Но если уж ты вопрошаешь, то он,

из живущих

Самый несчастливый ныне, отец мне, как думают

люди.[87]

Обои у меня в комнате были с оранжево-красным узором, и когда мама, уходя, оставляла дверь приоткрытой, так что на пол падала полоска света и я мог слышать, как она в гостиной садилась в кресло (что она там делала, я так и не узнал;

---

[87] Примечания: 87
Там же.

если я иной раз вставал пописать и видел ее, она сидела совершенно неподвижно, не читала и не вышивала), — так вот, когда она уходила, эти обои превращались в карту островов, проливов, морей. Там сражался Сиднер, который, возможно, был моим отцом, на сей счет мама согласно кивала, но как бы не придавая этому значения, а ведь если это правда, выходит, он — дар, и надо ждать его, когда бури утихнут. И если он — мой отец, тогда мама — моя мать, а если Сиднер — Одиссей, то Фанни — Пенелопа, и я засыпал,

«про себя размышляя о многом»[88].

— Где же все твои женихи, мама?

Я сидел в своем кресле у чайного столика, этакий сгусток любопытства средь тихих сумерек, из открытого окна доносился шорох грабель — сосед широкими мерными взмахами чистил свою дорожку, потом зазвонили воскресные колокола. Мама поправила штору, стерла пыль с подоконника, вытрясла за окно пыльную тряпку, переставила на рояль букет фрезий, которые

---

[88] Примечания: 88
Там же.

напоминают о себе нежным ароматом только в тишине, в размышлениях о минувшем и в ожидании, там она остановилась и взглянула на меня.

— О-о! Как ты можешь такое думать.

Я не понимал, как она может такое говорить. У настоящей Пенелопы должно быть множество женихов, буянящих в прихожей и в комнатах, здесь же всегда было пусто. До известной степени она увела меня в тот мир, где все занимает свое место, делается зримым, упорядоченным и обязательно придет к завершению, как только вернется Сиднер. Я был Телемахом, был сопричастен и конечно же стану Сиднеру помощником в последней битве. Но для начала битва должна состояться. И вот теперь Фанни рвала тонкую паутину мыслей, которой оплела меня, потому что черпала свои мысли из взрослого мира фальшивой добропорядочности и необъяснимо запретных пороков, для меня еще недоступного.

Устремилась в коридор собственной впечатлительности и заключила меня в объятия.

— Как ты можешь думать обо мне такое!

Когда видишь человека впервые? Когда он отделяется от наших представлений и становится независимой личностью?

Я ожидал совершенно другого, полагал, что

привычный шаблон не претерпит изменений. Она — верность и ожидание, я — испытуемый на зрелость. То-то было бы радости, если б она сказала: «О-о, они пробираются сюда по ночам. Ты разве не замечал?»

Я неотрывно глядел на рояль. С тех пор как Сиднер уехал, никто не сыграл на нем ни единой ноты, лишь мамина пыльная тряпка порой скользила по клавишам, от басовых низов к серебристым верхам, от серебристых верхов к басовым низам.

— Врешь ты, мама.

Мы смотрели друг на друга из двух разных земель, и с обеих сторон на перевалах и у мостов вышли из укрытий часовые и взяли на караул. Впервые мы не понимали друг друга, говорили на разных языках. В тот миг у нас не было ничего общего.

— Как ты можешь так говорить? — сказала она из своего далека.

А я ответил из своего, чуть не плача:

— У тебя *должны* быть женихи, мама. Как у Пенелопы.

— О-о, вот ты о чем.

Но было уже несколько поздновато.

Я весьма смутно представлял себе, что такое же-

них, однако, намереваясь теперь взяться за дело самостоятельно, независимо от ее воли и последствий, я понимал: чтобы вступить с Сиднером в схватку и потерпеть от него поражение, жених должен быть из таких, кто играет на фортепиано. Первой моей жертвой стал дядюшка Челльберг, который звонил в колокола и настраивал фортепиано. Мужчина преклонного возраста, с седыми усами, в очках, съехавших на кончик носа. Как-то раз, когда я встретил его после школы и он, по обыкновению, попросил передать маме поклон, я сказал, что она хотела бы настроить рояль.

— Вот как? Ты, что ли, начал играть?

— Думаю начать, — ответил я. — В следующую субботу вам удобно? Надо настроить к возвращению Сиднера.

Дядюшка Челльберг почесал нос.

— Понятно. И когда же настанет великий день?

— Пока что неясно, — сказал я, будто решение этого вопроса зависело и от меня.

Когда он пришел, я сидел на стуле возле дверей. Маме я сказал, что дядюшка Челльберг спрашивал, не стоит ли ему зайти к нам и настроить рояль, мама слегка удивилась, но возражать не стала. С палаческой усмешкой я указал на

безмолвные клавиши, причем так, чтобы он заметил и чайные чашки, и блюдо с пирожными. Мы были одни в гостиной, Фанни закрывала магазин, а я внимательно наблюдал, как он копается в открытом рояле, руки у него были старые, морщинистые. В последней великой битве, когда дойдет до стрельбы из лука либо до игры на фортепиано, он будет легкой добычей. Потом они с мамой пили чай, я же нетерпеливо ждал, чтобы он исхитрился совершить какой-нибудь поступок, который позволит отнести его к разряду женихов, например положил руку ей на колено или шепнул что-то на ухо, — словом, поступок, который мне не понравится, отрежет меня от них, но ничего такого не происходило. Челльберг рассказывал, как донимают его жену больные ноги, а мама ему сочувствовала. Пирожные, поставленные мною на стол, он тоже попробовал, хотя ел, увы, без всякой жадности, — я потерпел фиаско, но вовсе не думал сдаваться.

— Может, устроим праздник, мама?

— Гм… С чего это ты надумал?

— У нас ведь… так замечательно, — пробормотал я, вместо того чтобы сказать, что безмолвие стало мне невмоготу.

— Но я же никого не знаю.

Возможно, это соответствовало истине, и тогда я воззвал к легендарному прошлому, когда Сиднер сидел за роялем.

— Ты, мама, можешь приготовить «искушение Янссона»[89] и мясные фрикадельки, ну, маленькие такие. Как раньше. А гостей позовем, которые умеют играть. Кантора Янке, например.

— Что ж, он довольно образован.

— И Хагегордов.

— Пожалуй. У них ведь есть дети, тебе будет с кем поиграть.

Я фыркнул. Игры меня не интересовали. В школе я обычно держался особняком и не находил совершенно ничего веселого ни в беготне за мячом, ни в классиках, зато украдкой приносил книги, прятал их в парте, а на переменках читал, и мир книг был намного фантастичнее реального, Фаннина отрава уже начала действовать.

— Ты наденешь красное платье. Мы заранее решим, кого где усадить и разложим возле приборов именные карточки, ты будешь сидеть посередине, чтобы все видели, какая ты красивая.

— Кого еще ты хочешь пригласить?

— Я подумаю над этим.

---

[89] Примечания: 89

Блюдо шведской кухни: род запеканки из анчоусов с луком, ломтиками картофеля и сливками.

Я бродил по городу, «рассудительно» заглядывая в окна магазинов на Главной улице, чтобы выискать достойные жертвы. Весь Сунне неожиданно изменился, люди выступали в новых ролях и выглядели по-новому. Подвергались оценке, отбору, одобрению, выбраковке. В стремлении добраться до претендентов я был бесстрашен и изобретателен. Так, я смело открыл дверь и вошел в магазин Класа Лёфберга. А когда он наконец обратился ко мне, я спросил, не видел ли он маму. Наведался я и к Калле Эстербергу, которому пришлось отпереть для меня туалет в подсобке. У дядюшки Кана, здоровяка с орлиным носом, кустистыми бровями и пышной шевелюрой, я попросил взаймы велосипедный насос, но такового у него не нашлось. Затем пришел черед парикмахера Ёнссона, уроженца Сконе. Этот слыл любителем вкусно поесть, что могло оказаться весьма кстати. Был он круглый как шар, загривок в складках, подбородок тройной, а то и четверной, руки короткие, вялые. В белом халате он вперевалку сновал по своей парикмахерской, разглагольствуя на сконском диалекте. К тому же вторых таких усов во всем Сунне не сыщешь — подлинно чужеземные, короткие, заостренные и, вероятно, крашеные, потому что отливали

каким-то странным красным цветом. О, я прямо воочию видел, как он сидит за нашим столом, смакует наше вино и всякие разносолы, а месть наша будет ужасна. Вообще-то я сожалел о его горькой участи, ведь поход в парикмахерскую был для меня настоящим праздником: синие и зеленые флаконы пахли так приятно, на столах лежали кипы журналов, и я всегда надеялся застать большую очередь, потому что это означало ожидание, а в ожидании можно полистать «Пигге и Гнидде» и вволю надышаться сладкими запахами из флаконов и тюбиков. «Одиссею» мы еще не дочитали, поэтому я не был уверен, должен ли он вправду умереть или все ограничится легкой царапиной и устрашающим взглядом. Мама изумилась, когда я представил его как возможного гостя: почему именно он? Мы же не общаемся, и жена у него очень больная. Что у Ёнссона есть жена, мне даже в голову не пришло, но я не видел в женщинах прямого препятствия. Ужасную правду моего замысла я открыть не мог, а потому сказал, что, по-моему, он очень забавно смеется. Мне хотелось, чтобы гости были как нельзя более разные, подобно богам-олимпийцам, олицетворявшим разные жизненные позиции и темпераменты. В список вошел и один учитель,

который жил недалеко от нас и о котором мама сказала, что он «страшно одинок». Звали его Бергман, и в тот день, когда мама обронила эту фразу, я увидел его совсем другими глазами. Долговязая, худая фигура в безупречно отутюженной одежде, руки в черных блестящих перчатках заложены за спину. При встречах с прохожими он учтиво, но без улыбки приподнимал шляпу. Этот Бергман преподавал математику и физику в реальном училище, и по отрывочным фразам, слышанным от мамы раньше, я заключил, что, как все одинокие бездетные люди, он был опасен. Пока мама не сказала, что он «страшно одинок», я считал его этаким кусочком мозаичной головоломки взрослой жизни, который безусловно занимает вполне определенное место, теперь же я просто не мог не ходить за ним по пятам, изучая его привычки. И вот, пожалуйста! Я видел это «страшное одиночество» во всех его чертах. Вычитывал в серьезных глазах, в морщинах на лбу, в горько опущенных уголках губ. Видел одиночество в перчатках, в шляпе, в наглаженных стрелках брюк. Сущий кошмар. Уже издалека я чувствовал приближение «страшного одиночества» — словно холодный ветер в жаркий летний день. Когда Бергман исчезал в своей квартире,

над сестрами Седерблад, и за шторами вспыхивали желтые лампы, все желтые лампы в городе становились «лампами одиночества». Обедал он в гостинице, и зал ресторана, где прежде все сверкало под хрустальной люстрой и красочная симфония холодных закусок, приготовленных Царицей Соусов, тотчас задевала мои самые деликатные струны, — этот зал сделался теперь обителью одиноких. «Страшное одиночество» отсекало учителя от массы, обособляло, так люди, один за другим, обособляются, когда узнаешь их поближе.

Я замечаю, что благодаря маме у меня развилось классовое сознание: я не то чтобы очень уж косо смотрел на людей за пределами мира среднего сословия да и не понимал, что мы принадлежим к этому миру. Однако мои гости не должны были ни носить рабочие комбинезоны, ни иметь помятые лица, ни говорить на вермландском диалекте — ведь им предстояло беседовать с мамой. Я не морщил нос, глядя на этих «других», однако встречался с ними исключительно в условиях, когда они выполняли свою работу. Вне работы они не существовали. Ходить за молоком на арендаторский хутор — огромная радость, там пахло сеном и парным молоком, там

гремели цепи, а мычание коров и кудахтанье кур вызывали ощущение чуть ли не греховного восторга, не менее приятно было поболтать с Янссоном, послушать матросские песни про моря-океаны, о которых он мечтал всю жизнь, — да, мне очень там нравилось. Но те, кто работал на ферме, только там и были на месте, вытаскивать их оттуда нельзя. Мыслимое ли дело — конфузить их нашими манерами, нашими запахами, нашими словами. Вдобавок я понятия не имею, каким виделся им, когда приходил с пустым молочным бидоном, в невероятно опрятном костюмчике, который опасался испачкать, понятия не имею, как они воспринимали мой страх перед животными и мои не по годам взрослые реплики, падавшие в коровий навоз, будто кусочки сахара. Тамошние ребятишки при моем появлении всегда затихали, разбегались и наверняка даже замечаний по моему адресу не отпускали — молчали обо мне, потому что я был другой породы.

А вот в пределах среднего сословия я, как мне казалось, имел свободу выбора: до поры до времени я воображал, что если человек умеет произнести слово «изысканный» так, как его произносила мама, то, значит, он тебе ровня, значит, все границы открыты. Но я ошибался.

Стоило мне будто невзначай назвать несколько имен — и я вдруг услышал, что есть еще и верхняя граница. С настоящими богачами и с теми, кто слыл таковыми, она знаться отказалась. «Такая аристократичная публика, — сказала она и отвернулась. — Нам нечего им предложить». И мой мир разом съежился до узенькой щелки. У Валентина, заместителя директора банка, изъян был в том, что он часто ездил в Стокгольм, в Оперу, а его жена закупала провизию в Карлстаде. Еще один мой кандидат летал на самолете в Италию и с тех пор обожал лазанью. Мир съеживался, но разочарования я не чувствовал, ведь разочарования рождаются из обманов, а меня никто не обманывал. Удивление — вот что я чувствовал, телесная оболочка сомкнулась вокруг меня еще теснее. Изолированность. Обособленность.

Мама, возвышенная до истинной Пенелопы, мыла посуду, а я вызвался вытирать бокалы, которым предстояло стать оружием в борьбе, но не против кого-то или чего-то, а за Сиднера.

— Ты не отказался от мысли устроить праздник?

— Нет, мама.

Мне хотелось видеть сверкающее оружие, решительные движения — в противовес всей той

женственности, которая меня окружала, но как раз об этом я заикнуться не смел, потому что видел ее хрупкость и одиночество и не мог, не мог уличить ее в несостоятельности.

— Но мы, наверное, можем подождать до Пасхи?

— Главное, чтобы праздник вообще состоялся.

Вдруг к тому времени на пороге появится Сиднер?

Но Одиссею, с намереньем хитрым в уме,

на пороге

Двери широкой велел Телемах поместиться;

подвинув

К ней небольшую, простую скамейку и низенький

столик,

Часть потрохов он принес, золотой благовонным

наполнил

Кубок вином и, его подавая, сказал Одиссею:

«Здесь ты сиди и вином утешайся с мо-

ими гостями,

Новых обид не страшася; рукам женихов я не дам уж

Воли; мой дом не гостиница, где произвольно

пирует

Всякая сволочь, а дом Одиссеев, царево жилище.

Вы ж, женихи, воздержите язык свой от слов

непристойных,

Также и воли рукам не давайте; иль будет здесь

ссо-

ра».[90]

Ей стоило огромных усилий решиться на этот шаг. Она робела куда больше, чем я думал, ведь ее манера держаться отличалась удивительным изяществом, а в улыбке сквозила редкостная мечтательная прелесть, к которой женихи должны были тянуться, как пчелы к летку. Но ничто не могло подступить к ней слишком близко, навер-

---

[90] Примечания: 90

Гомер. Одиссея. Песнь двадцатая. Перевод В. А. Жуковского.

ное, кто-то причинил ей некогда мучительную боль.

Праздник все-таки состоялся, и не один, а три и даже четыре. Никто из моих гостей — они остались моими, сама она так никого и не предложила — приблизиться к ней не дерзнул. Я сидел на стуле у дверц, в тщеславной надежде, что моим мечтам достанет сил заманить Сиднера домой. Я придавал этому очень большое значение, возможно из-за одной-единственной фразы. С течением времени память о наших с ним прогулках, конечно, поблекла, в войну он подолгу бывал в отлучках, но одно я помню: мы шли вдоль кладбищенской стены. Стояло лето, цвели липы. Дул легкий ветерок, и я сказал: «Можно я спрячусь от ветра у тебя за спиной, Сиднер?» По дороге ползет колонна тягачей. На платформах прицепов — танки, желтого цвета. Там же солдаты сидят, машут руками. «Я тоже иногда ношу такую форму, — говорит Сиднер. — Потому что война. А в войну все границы перекрыты. За рубеж выехать нельзя. В войну все не так, как рассчитывал». И вдруг он в моей памяти говорит: «Архитектура

— застывшая музыка[91]. — На коленях у Сиднера книга. — Так сказал человек по имени Гёте». И мы оба смеемся. Потом Сиднер добавляет: «Наша речь — тоже застывшая музыка. Но знаем об этом только мы с тобой». — «Мама тоже не знает?» — «Думаю, нет. Это наш с тобой секрет». Я продолжил ассоциации: «А вдруг все, что люди произносят, это буквы, которые обретаются во рту. Как сосульки. При разговоре они высыпаются изо рта, заполоняют все вокруг». — «Коли так, — заметил Сиднер, — надо соблюдать осторожность и не сорить словами». Затем Сиднер из памяти исчез, а я продолжил размышлять об этом. Как выглядят мысли, когда выходят наружу? И слова, произнесенные едва внятно? И солдатская брань? И в конце концов все это оттает и станет музыкой! Потому-то я решил, что мысли и слова должны быть красивыми. Завел привычку гулять в одиночестве и сочинять *музыку*. Сидел, прислонясь к кладбищенской стене, и произносил что-нибудь красивое — «Фанни» и «Сиднер», «земляника» и «Ева-Лиса». Звучание должно быть таким же прекрасным, как игра Сиднера. Кстати, Сиднер

[91] Примечания: 91

Эти слова Гёте (разговор с Эккерманом от 23 марта 1829 г.) представляют собой перефразированное изречение греческого поэта Симонида Кеосского (556–469 до Р. Х.): «Живопись — немая музыка».

сказал еще вот что: «Возможно, пройдет очень много времени, прежде чем произнесенное оттает. Иногда надо стать взрослым, только тогда возникнет музыка». — «Почему?» — «Потому что человек внутри застывший. Хотя сам об этом не знает. Но однажды, когда вправду грустишь или тоскуешь о чем-то в полном одиночестве, ты замечаешь, как твои давние слова вдруг становятся музыкой». Вид у меня, наверное, был грустный, и он добавил: «Хотя иной раз все происходит очень быстро. Главное — постоянно надеяться, что это будет. Верить в это». Вот я и сидел, и верил во все, что только можно, и мечтал о музыке, которая никак не приходила. Из-за Сиднера. А в конечном счете из-за того, что он не возвращался.

Я плохо помню те праздники. Помню, что Фанни ловко отвлекала от себя внимание гостей, попросив кантора Янке что-нибудь сыграть на рояле, а это было отнюдь не весело. Помню, как Фанни заставляла меня показывать мои рисунки. А гости гладили меня по волосам и рассуждали о том, какой я способный.

Рисовать я начал нечаянно, по стечению обстоятельств.

Иду я как-то раз на хутор за молоком. Сумерки взбудоражены поединком еще длящегося света и наплывающей тьмы, которые стремятся побороть друг друга в листве кленов, косые лучи тусклого золота скользят меж деревьев. После дождя глинистая дорога размокла, ботинки у меня тонкие, а идти надо мимо выгона, где на привязи пасется бык. Цепь кольцами змеится в траве, я не знаю, какова ее длина, а глаза быка ни о чем не говорят. Неожиданно бык вскачь устремляется ко мне. И я вдруг — один-одинешенек на целом свете, лица, мелькавшие в окошках скотного двора, исчезли, где-то сдергивают простыни-занавески, и небесный свод накрывает выгон непроглядной тьмой. Я припускаю бегом, падаю и замираю в траве, исполинская туша проскакивает мимо. Мне хочется, чтобы все поскорее кончилось, и, неподвижно лежа в траве, я жду, но вскоре замечаю, что бык стоит на краю выгона, трясет головой, дергает — оказывается, рога застряли в небесном куполе, глубоко увязли, не вытащить. Небо скрипит и потрескивает, боги в такой ярости, что пена хлопьями падает наземь из больших трещин, в вышине слышен громовой скрежет, небесный купол вот-вот разобьется вдребезги, рухнет на землю и раздавит ее,

я успеваю подумать: как быстро летит молитва? И все-таки поднимаюсь на ноги и во весь дух мчусь к скотному двору, вбегаю внутрь, а там стоят они оба, Бергстрём и Янссон, глядят в окно на небо, на землю, на быка, который, покрепче упершись копытами, наконец-то высвобождает рога. В небе большущая дыра, и из этой дыры на быка льется тьма.

— Ох и ненастье, пропади оно пропадом, — говорит Бергстрём, и меня охватывает чувство благодарности: ведь он даже виду не подает, что видел, как все было.

Мама ничего в моем рассказе не понимает, вот и говорит:

— Нарисуй, а я посмотрю.

Пастельными карандашами я рисую быка, и дыру, и текучую тьму. Ярко-желтыми штрихами изображаю небесные прорехи, фиолетовым — тьму, коричневым — быка, себя же представляю голым, будто электрическая лампочка в траве. Мама долго молчит, глядя на рисунок, наконец поднимает глаза и говорит:

— Ты художник, Виктор.

Сию же минуту жизнь ее обрела цель, и отныне она развивает необычайно бурную деятельность. Первым делом идет к багетчику, заказывает для

моего рисунка раму со стеклом, а после вешает на стену в гостиной, направляет на него лампу. Сам я очень доволен и лишь много позже осознай, что дал себя поймать в сети ее восхищения. Когда я прихожу из школы, на чайном столике меня неизменно ждут бумага и карандаши, она с улыбкой спрашивает, что произошло за день, и я наивно рассказываю про сливы у губернского прокурора.

— Какой они были величины? — допытывается она. — Какого цвета? Нарисуй для меня.

Я рисую. Раскрашиваю. А она ловко мною руководит:

— Ты знаешь, я совершенно забыла, как выглядит губернский прокурор. Кажется, он маленький и толстый?

Вот уж ничего подобного. Я рисую его длинным, худым, очкастым, с густой шевелюрой. Он стоит за сливовым деревом, пристально глядит на меня, чтобы я ничего не украл. Стоит в багряных отблесках осеннего света, держа на ладони сливу. Слива сияет и растет от рисунка к рисунку, ведь скоро зима, и в памяти все плоды увеличиваются в размерах. Я рисую голубей на Главной улице — плотную массу сизо-фиолетовых бугорков, облитых утренним солнцем, рисую себя и маму

на прогулке. Мамины юбки — словно зеленые и синие паруса вокруг ребенка, захлестывают его, как волны, порой только мое лицо и выглядывает из складок ткани, и то не целиком, одни глаза. Да, тканей на моих рисунках полным-полно, потому что их вправду полным-полно, когда она, сидя у швейного столика, подшивает бархатное или шелковое платье и просит нарисовать ее лицо, ее фигуру. Ткань колышется волнами, живет, так весело и приятно прослеживать причудливую игру линий. Мы безудержно восхищаемся друг другом, мы суть отражение и реальность.

— Ты прекрасно рисуешь, Виктор.

— Ты — прекрасная натура, мама.

Я иллюстрирую приключения Одиссея на море, а поскольку видел море только в книгах, привлекаю на помощь ткани, беру в магазине рулон и расстилаю на полу поверх книг и коробок, чтоб было похоже на волны, и, если ткань красная, море у меня тоже красное. Высокие валы, маленькая лодка — черная борода Сиднера, его очки. Одиссей встречает Навсикаю. Сотни воздушных шариков в небе, и солнце — всего лишь один из них. Камни на берегу. Настоящие камни, я собираю их на дорогах, и в конце концов у меня в комнате образуется изрядная коллекция. Циклоп

в тот миг, когда ему в глаз вонзается деревянный кол. Телемах и Афина Паллада. Мама помогает, выстраивает композиции для моих натюрмортов и декораций, наполняя тем свои одинокие дни, взор ее устремлен к моему будущему.

И она спешит.

В один прекрасный день она показывает мне сшитый собственными руками халат, длинный, белый, такие носят художники, но меня он делает похожим на врача-лилипута.

— В таком халате принц Евгений[92] пишет свои картины.

Я обзавожусь мольбертом и масляными красками, заочно осваиваю практический курс живописи в Хермодсе[93], где для начала предлагается рисовать еловые шишки и лодки, так сказать, анфас. Мне нравится писать маленькие плоскодонки с кругами на воде возле носа. И птиц — то вылетающих из гнезд, то ныряющих. Мама аккуратно отсылает в Мальмё конверты с моими этюдами, которые возвращаются к нам с удивленными пометками учителя, наверняка

---

[92] Примечания: 92

Евгений (1865–1947) — шведский принц, сын Густава II; художник, известный своими пейзажами и монументальными полотнами.

[93] Примечания: 93

Хермодс — училище в Мальмё, основано в 1898 г.

она писала ему письма и рассказывала обо мне, со всеми подробностями.

— Когда ты поступишь в Академию, мы переедем в Стокгольм… А когда закончишь Академию, думаю, мы поедем во Францию, на Ривьеру. Там писал Ван Гог. И Сезанн.

Нам шлют книги. Сокровища, которые мы вместе листаем за чаем. Главное — не загибать страницы и как следует мыть руки. Мама тоже узнает много нового, читает о художниках и рассказывает потом душераздирающие истории о нищете и страданиях, какие были их уделом, прежде чем они прославились. Она покупает фотоаппарат и фотографирует меня перед мольбертом, в белом халате живописца. Выгляжу я в самом деле забавно — этакий уродец, гибрид изысканной просвещенности и спесивой благовоспитанности; однако я был ребенком и даже не подозревал, как крепко держит меня в плену мир ее фантазий; один из снимков вообще ужасный: чуть склонив голову набок, я высоко поднимаю кисть и примериваюсь нанести мазок на пейзаж с парусами и морем, которого никогда не видел своими глазами и не иначе как украл у кого-то из импрессионистов.

Я в жизни не восставал против происходящего

дома, но когда она стала приобщать других людей к нашим живописным опытам и я слышал, как она хвастает в магазине перед покупателями, отводит в сторону тяжелые портьеры и приглашает всех в гостиную посмотреть на меня, в глубинах моего сознания зашевелилось растущее недовольство. Ведь по-настоящему она ничего в искусстве не смыслила: собственные мечты о славе — вот что побуждало ее энергично и поспешно, не давая мне самому сделать выбор, подталкивать меня вперед, чтобы в конечном счете, как подстреленного лосенка, тащить за санями своих представлений.

— Вот он, мой маленький импрессионист! — восторженно восклицала она, предлагая какой-нибудь старушке, которая зашла купить трико, присесть и полюбоваться большим искусством. Но Сунне был слишком мал и тесен для подобных заявлений, они катились за мной по пятам, в школе и по дороге домой.

— У тебя, слышно, халат есть, как у доктора!

— Когда во Францию-то двинешь за славой? Вместе со своей воображулей мамашей!

Выслушивать такое было ужасно больно. Я убегал прочь, и плакал, и видел, как моя «мамаша дерет кверху нос»; защититься мне было нечем,

никаким оружием она меня не обеспечивала. Поэтому я спешил домой и прятался в ее красоте.

— La France a quatre grands fleuves. La Garonne, La Loire, La Seine et le Rhône, повторяй за мной, Виктор! Les murs sont blancs. La maison est grande. Le ciel est bleu[94].

— Les murs sont grands. Le ciel est bleu[95].

Еще одна глава, и я закрою этот мир детства, если детство — именно такое время, когда копишь на своей палитре краски, какими будешь позднее пользоваться. Был август, и фруктовые сады истекали густыми ароматами спелых яблок, осенних флоксов и смородинных кустов, отяжелевших от ягод. После ночного дождя улицы дышали чистотой, а высунувшись из окна, я увидел ноги рабочего, который снимал вывеску Фаннина магазина: мы переезжали в Стокгольм, чтобы я находился «поближе к искусству».

Прощаться — значит подводить итоги, а под-

---

[94] Примечания: 94

Во Франции четыре большие реки. Гаронна, Луара, Сена и Рона… Стены белые. Дом большой. Небо голубое *(фр.)*.

[95] Примечания: 95

Стены большие. Небо голубое *(фр.)*.

ведение итогов сродни прощанию. Мне уже исполнилось пятнадцать, и в радиусе трех километров я был знаменит своими насыщенными светом экзотическими пейзажами, которые представил публике на выставке в Народном доме, но я носил скобку на зубах и отличался неуклюжестью, что не давало мне самодовольно усмехаться по этому поводу. Летом мы съездили во Францию, и слова Марка Шагала до сих пор саднили в душе. В своем смешном халате а-ля принц Евгений я стоял у мольберта, писал вид из окна. Это будет моя «прощальная картина», сказала Фанни, и я нехотя подчинился. Паруса в контурном освещении, фигуры под сенью листвы, лошади на пастбищах! Какой свет, какие тени! Какая заученность, какая фальшь! Но противопоставить этому мне пока было нечего. Вокруг громоздились упаковочные ящики. Мои ужасные картины, которые Фанни упорно помещала в золоченые рамы с подсветкой, лежали в этих ящиках, среди рулонов бархата, чехлов и скатертей. На стенах от картин остались желтые прямоугольники, дыры от крючьев зияли как раны. Прощаться мне было не с кем: я никогда не участвовал ни в разговорах, ни в играх одноклассников, и лишь скрепя сердце она позволила

мне месяц поработать на кладбище, чтобы я имел немного собственных денег; ничего удивительного — она боялась, как бы ко мне не пристала зараза мирского языка, и, похоже, боялась не зря. С ощущением огромной свободы я чистил и ровнял граблями дорожки меж могил, слушал разговоры в обеденный перерыв, но дома меня каждый раз ждала расплата: словно обиженная тем, что не сама давала мне деньги, она сразу же отправляла меня в ванну отмывать «запах», не знаю уж какой, а потом наблюдала, как я хожу по квартире, в белой рубашке, отутюженных брюках, при галстуке, удавкой накинутом на шею. Теперь она порхала по городку, со всеми прощалась и отчаянно задирала нос, изображая важную даму, а заодно, вероятно, рассказывала про лето во Франции, про мою будущность Художника и про успехи, ожидающие за поворотом. Все это я вижу теперь, задним числом, ведь тогда мир только-только начал теребить меня, и я отнюдь не уверен, что поддался бы его влиянию, если бы именно в тот миг моей жизни не раздался стук в дверь.

Мне кажется, я сразу понял, кто он. Высокий, крепкий мужчина с черной, коротко подстриженной бородкой. В очках, с усталым лицом.

Секунду-другую он стоял на пороге, не говоря ни слова. Потом улыбнулся, шагнул ко мне, обнял: «Виктор, сынок!» — а я не успел отложить кисть и украсил его светлый костюм длинной синей полосой. Вот почему первым моим словом было: «Извини!»

В моем сознании есть река. Когда я впервые сидел и наблюдал за ее течением, мне было понятно, что я уже видел ее. Она возникает из джунглей в нескольких сотнях метров от дерева, где я отдыхаю, раздваивается, обтекая равнинный островок, поросший сухой слоновой травой, которая временами клонится к земле от буйства носорогов; тогда в зарослях слышно сопение и фырканье, а слоны, купающиеся у меня за спиной в утреннем свете, вскидывают вверх хоботы, принюхиваются и опять возвращаются к еде. Река бежит мимо желтых песчаных пляжей, сильное течение упруго давит на ноги, голубые зимородки кружат над водой, ярко взблескивают на солнце, ныряют. Огромное небо, где вершины Гималаев парят свободные от земли, как на картине Магрита. Позади цветут горчичные поля, белые волы со скрипучими телегами нет-нет да и проходят мимо, по пути на север, а на противоположном берегу природа исполняет свой птичий концерт:

кричат павлины, крякают красноголовые нырки, трубят серые цапли, курлычут журавли, трещат клювами аисты. То тенью мелькнет крокодил, то зашуршит опадающая с деревьев листва. Но важно не это. Важно, что КАК РАЗ ТУТ РЕКА РАСШИРЯЕТСЯ. Как раз тут течение успокаивается, отсюда можно плыть на корабле далеко, до самого моря.

И я, оставив на отцовской спине синюю полосу, говорю «извини!», и как раз тут река расширяется, течет спокойно, и мне уже не просто пятнадцать лет, мне пятнадцать плюс его тридцать четыре, моя история раздвигается вспять и вперед, хотя пройдет время, прежде чем я пойму, чт***о*** пережил. Сиднер осматривается в комнате: стулья, на которых должны бы сидеть женихи, стоят пустые. Пенелопа постарела и не рискует быть объектом домогательств.

— Вот, значит, какой ты, Виктор! И ведь ни одной открытки не прислал, а я столько раз просил тебя об этом. Сердишься, что я пропал?

— Не понимаю. Я никаких писем не получал, — говорю я.

Вероятно, Фанни любила Сиднера, как любят ночь и отсутствие. Но не могла подпустить его к себе слишком близко. В тот день, войдя в кварти-

ру и увидев его, она упала в обморок. И очнуться рискнула далеко не сразу. По совету Сиднера, я убрался с глаз долой, понимая, что ей будет трудно объяснить, зачем она меня обманывала, пусть они сами в этом разберутся. Я вышел из дома, бродил по берегу озера, смятенный, слабый, но здоровый: неожиданно у меня появился отец, а с отцом — целая история.

— Ты часто видался со Слейпнером и Викторией? С Турином?

Я покачал головой. В глазах Фанни они были недостаточно «культурны» и скоро оставили попытки приглашать меня к себе; случайно встретив их где-нибудь, я здоровался, вот и все. А Турина, говорила она, мне вообще надо остерегаться. Ну а Евы-Лисы? Родной тети? Ты хоть раз их проведал? Нет. По телефону звонил? Нет. А на фортепиано хотя бы играл?

— После твоего отъезда, папа, здесь всегда была тишина.

Я был птицей в клетке, на бархатной жердочке. Вернувшись под вечер домой, я прошел прямиком к мольберту и сорвал с подрамника холст. Изрезал его на куски у нее на глазах. Они с Сиднером сидели на ящиках, каждый на своем. Впервые я увидел «жизнь без прикрас»: лицо, всегда тща-

тельно «сделанное», утратило ясность и блеск, краска сбежала, на меня смотрели огромные, отчаянные глаза. Она потеряла над собой контроль, плакала и старела. И происходило это очень быстро, чуть ли не на виду. По привычке я приласкал ее, но человек, к которому я прикасался, ничем не походил на мою «изысканно-утонченную» маму. Никогда больше ей не удастся «сделать» себе то, прежнее лицо.

Первые дни я робел и боялся Сиднера, но ведь так много всего нужно было обсудить. Он рассчитывал пробыть в Швеции три месяца, навестить Еву-Лису и Сплендида, которые жили в Арвике. Еще он хотел как-нибудь сходить за брусникой, так он говорил. И вот мы повесили на велосипеды ведра, сложили в сумки термосы и бутерброды и покатили к Стёпафорсу.

Сиднер теперь был женат. Служил кантором в одной из веллингтонских церквей. Богатства не нажил, потому что жена его долго хворала тяжелой нервной болезнью, но сейчас чувствовала себя вполне хорошо, оттого он и рискнул отлучиться. Детей они не имели. Поэтому, сказал он, было бы замечательно, если б я нашел время приехать и погостить у них.

Бок о бок мы катили по щебеночным дорогам.

Паутина мифа облетела, Сиднер стал просто человеком. Но для меня это не имело значения; ведь и сам я перестал быть птицей в клетке, возвысился до человека. Он сказал, что хочет научить меня играть на фортепиано. Передать мне толику своего «я». Мы наполнили ведра и шли все дальше в глубь леса.

— Я написал тебе так много писем. Лежат, наверно, где-нибудь у нее в ящике. Еще я вел дневник. Своего рода разъяснение.

Все эти арии, изъятые из прямолинейного, неумолимого хода событий, желавшие соединиться и взять в оборот незримую корневую систему моих представлений! Я родился в сетях образов, которым надлежало хранить верность. Улицы Сунне — мембраны, отсекающие тьму. Музыкальная шкатулка, приводившая в движение мою речь. Но откуда берется эта жажда сгустить краски, насытить яркостью каждый миллиметр, каждую секунду моего становления, начавшегося задолго до того, как я родился? Почему я так одержим Мистерией Начал? Почему так жажду составить карту, казалось бы, несущественных мгновений, что сонно мурлычут глубоко в минувшем и вдруг, будто хищные кошки, выскакивают наверх и метят когтями именно этот день, — по-

чему? Я же не боюсь умереть, ведь жизнь сама отведет смерти надлежащее место, точно так же, как смерть некогда сотворила мою жизнь.

Наша история настигает нас, и меня она настигла в тот день в лесу, когда я, к превеликому своему удивлению, обнаружил, что уже рожден, хоть и не давал согласия и ничего для этого не делал, не вслушивался, не стал одним из звуков. Я уже был рожден и не заметил этого. Жизнь шла не только те пятнадцать лет, что были моими, но двадцать, и тридцать лет назад, когда Сульвейг погибла у поворота дороги, другим летом, в другом пространстве. Там я родился. Там начался мой путь. Сила, сотворенная смертью, забросила меня сюда, в лесную глушь. Я ожидал, что жизнь будет в каком-то другом месте. Что ее придется разыскивать, как принято в моей семье. И теперь, столько времени спустя, у меня частенько голова кругом идет при мысли, как случайны были шаги, что выводили нас на правильную дорогу, вели меня вперед. Но такое же головокружение всегда одолевает меня и звездными ночами, когда я выхожу во тьму, смотрю ввысь, и чувствую, как Земля движется в своей исполинской Вселенной, и осознаю, что еще некоторое время должен цепляться за эту землю. И пробуждать к звучанию

музыку, которая дарит нам надежду.

А среди деревьев явилось своего рода откровение. Я знаю, человек проходит мимо великого множества знаков, знаю грехи невнимательности, силки безразличия. Но тут было неизбежное: Сиднер шевельнул пальцами, и из этого беспомощного жеста, казалось, хлынула музыка, мы вдруг услышали сильный и громкий голос:

> And there were in the same country shepherds abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone about them: and they were sore afraid[96].

Лес наполнился инструментами, деревья закружились волчком, обернулись скрипками, контрабасами, фаготами, и грянул хорал:

> *Break through, oh lovely light of morn*
> *and let the heavens dawn!*
> *You shepherd folk, be not afeared,*

---

[96] Примечания: 96

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим (Лк., 2, 8; *англ.*).

because the angel tells you:
that this weak babe
shall be our comfort and joy,
thereto subdue the devil
and bring peace at last.[97]

Музыка сплетала сеть вокруг меня, становилась стенами и кровлей огромного здания, опоясанного строительными лесами, по которым я карабкался, а недостроенный этот собор устремлялся все дальше ввысь. И меж досками подмостьев я видел — сосны, лесное озерцо. Слышал птиц поодаль и поблизости, Сиднер стоял совершенно неподвижно и улыбался двум неуклюжим старикам на берегу озерца, прямо перед нами: по сторонам дорожного патефона сидели, оба в чем мать родила, Турин и Краса-

---

[97] Примечания: 97

Явись, прекрасный утра свет,
и небеса зажги денницей!
Народ пастуший, не страшись,
ведь Ангел Божий молвит вам,
что это слабое дитя
отрадой будет вам и утешеньем,
и беса посрамит,
и принесет желанный мир.

(англ.)

вица Биргитта. Маленький костерок теплился под кофейником. Красавица Биргитта писала акварели. Нагибалась вперед, окунала кисточку в банку с водой, наносила несколько мазков и выпрямлялась, склонив голову набок. Плоды ее трудов были пришпилены к стволам окрестных сосен — банальные зарисовки озерца и голого Турина, читающего книгу, названия которой я не видел. Биргитта сверкала золотым зубом, и мне хотелось сделать эти несколько шагов, подойти к ним: значит, вот оно, то самое место.

Вот где он пропадал. В зеленой палатке, спрятанной под сенью деревьев. Деревянные башмаки у входа, одежда на веревке. Водомерки плясали на спокойной воде, плеснула рыба, а музыка все крепла. Когда я шевельнулся, намереваясь выйти из-за каменной глыбы, за которой стоял, Сиднер потянул меня за руку. Приложил палец к губам и знаком показал, что нам лучше уйти.

Да, он увлек меня в безмолвие леса.

— Виктор, никогда не говори ни Турину, ни кому другому о том, что ты видел! В этом уголке любви им никто больше не нужен. Будь доволен, что знаешь. Что мы с тобой знаем. Будь доволен, что видел это один-единственный раз. И помни, на земле случается и такое.